

Карина Демина

ЛИСА В КУРЯТНИКЕ

ГЛАВА 1

Алексей, великий князь Гормовский, будущий царь всей Арсийской империи, а ныне единственный наследник трона и надежда всей династии, оттопырил мизинчик и осторожненько ткнул им в бюст княгини. В оправдание его можно было лишь сказать, что бюст этот был на диво привлекателен. Поговаривали, что именно благодаря ему княгиня, собственно, княгиней и стала: выдающиеся достоинства ее затмили разум шестидесятисемилетнего князя, почтенного вдовца и человека строгого нрава.

Увы, нрав перед бюстом не устоял.

А сердце князя, оказавшегося изрядным ревнивцем, не выдержало семейной жизни, остановившись на третий год ее. Наследники, само собой, попытались избавиться от молодой вдовы, но та завязала несколько успешных знакомств, благодаря которым сумела сохранить и часть состояния, и титул.

Да и то поговаривали, что франки весьма щедры к своим... сотрудникам.

— Вы так... впечатляюще! — вздохнула она.

Бюст заколыхался, грозя выйти из атласных берегов декольте. Черная мушка на нем, показалось, подмигнула весьма кокетливо. А вдова тронула рыжеватые волосы — крашенные, ибо на той неделе была она блондинкой, но ровным счетом до того момента, как Лешек обмолвился, что от блондинок устал, — и громко вздохнула:

— Могу ли я рассчитывать на милость великого князя...

И реснички опустила.

Ишь ты, выдрессировали.

— Ах, конечно, можете. Великий князь ко всем милосерден... невзирая на происхождение. — Томная красавица, работавшая на бриттов, не смогла упустить момента.

— И возраст, — отозвалась княгиня, раскрывая веер из страусиных перьев.

Тот затрепетал, и Лешек окатило душной волной парфюма, щедро одобренного приворотными средствами. А это уж ни в какие ворота не лезет. Так что чихнул он весьма искренне и еще более искренне поинтересовался:

— Чем это тут завоняло?

Фыркнула смуглокожая бриттка, которая, между прочим, являлась подданной Арсийской империи и к роду принадлежала древнему, но, по несчастью, обедневшему, чем коварные бритты и воспользовались, смутив разум юной наследницы золотом и обещаниями будущей спокойной жизни в предместьях Лондиниума.

Чем ей Лондиниум глянулся, Лешек не понимал.

Помнил он этот городишко: тесный, грязный и вонючий. Не то что родной Арсинор.

— Это... — княгиня слегка зарозовела, — горничная перестаралась.

— А гоните ее, — посоветовал Лешек и окинул взглядом зал.

Прием шел. И шел себе...

Еще часа два — и можно будет удалиться, не вызвав особых пересудов. А до того... Он бросил тоскливый взгляд на часы и подал руку княгине, вызвав приступ злости у ее соперницы.

— Вы позволите?

Танцевала она для бывшей торговки весьма и весьма неплохо. Правда, слишком часто вздыхала, отчего бюст приходил в волнение, вызывая оное же в кавалерах иных, с

которыми приходилось сталкиваться. Вот споткнулся, едва не растянувшись на глянцевого полу, поручик Ржевин, шею вытянул, разом позабывши про приличия и невесту, которую, собственно говоря, и выгуливал. Вот икнул, подавившись вином, престарелый генерал-майор Визовский, вот две почтенные дамы склонились друг к другу — стало быть, разнесется завтра по городу новая старая сплетня.

— Ах, — княгиня осторожно коснулась щеки наследника, — Лешенька, я так по вам соскучилась, вы не представляете. Без вас мне тоскливо...

Тоску княгини разгоняли двое любовников, но, судя по докладам, держала она их исключительно здоровья ради. И соблюдала притом похвальную осторожность в отличие от соперницы, которая позволила себе чрезмерно увлечься неким чиновником низкого ранга.

— Простите, — отозвался Лешек. — Не мог. Дела... Папенька, знаете ли, работать велел.

— Ах, как жестоко! — почти искренне возмутилась княгиня. — И что вы?

— Работаю.

— Кем?

— Наследником! — Он позволил себе слегка споткнуться и даже наступить на розовую туфельку. Жаль, подола платьев укоротили по новой моде, на подола наступать всяко сподручней было бы. — Велел придумать развлечение, чтоб для народа... Я ему ярмарку предложил. На ярмарке хорошо...

Правда, после предыдущего покушения самого Лешака на ярмарки не пускали, да и матушка слово взяла, что и он сбежать не станет. Слово пришлось держать, отчего жизнь сделалась вовсе уж тоскливой.

— А он?

Княгиня не забывала демонстрировать искреннейший интерес.

— А чего он? Он сказал, что ярмарки, они каждый год приключаются. Надо иное. Чтоб интересное... новое... принципиально.

Самое отвратительное, что именно сейчас Алексей, князь Гормовский, не лгал. Вот что вздумалось батюшке отвлечься от дел иных, куда более серьезных, ради этого? Мол, репутация династии, престиж, влияние на умы и сердца... А Алексею думай, как на эти умы влиять.

С сердцами вместе.

Будто ему мороки с пошлинами на дерево мало — купцы воют, мол, разорятся, если будут возить не рубленое, а доску. Иноземные тоже воют, что разорятся, эту доску по завышенным ценам покупая, доску, у них своих лесопилок хватает.

Это верно, хватает.

Но и продавать строевой лес по цене щепы совесть не позволяет. И здравый смысл, который Лешек уважал куда больше совести.

А еще соляной промысл, который вдруг оказался не в тех руках. И заговорщики эти, чтоб им икалось всякий раз, как о них Тайный приход подумает.

— Принципиально... — Княгиня призадумалась, на долю мгновенья утратив маску легкомысленной дурочки. А ведь не только бюстом она мужа зацепила, не только. И как это наши-то подобное богатство проглядели? Недорабатывают. Как есть недорабатывают. — А знаете, князь, слышала я, что в прошлом году бритты провели конкурс красоты — сперва на местах, а после уж столичный. И каждая девица, независимо от сословия, могла принять участие.

Конкурс, стало быть?

— А что, — княгиня лукаво улыбнулась, правда, веер открывать не рискнула, — случись

мне там побывать, как полагаете, был бы шанс?

— Не шанс, — Лешек покорно уставился на резную бархатную мушку, — полагаю, вы бы заслуженно победили.

— Вы мне льстите.

И не только ей, но что поделаешь: положение обязывает.

Тремя часами позже он излагал почти свою, но вполне удачную придумку батюшке.

Милостью Божью его императорское величество Александр IV, самодержавный властитель всея Арсийской империи, а также земель Ближних и Дальних, островов Венейских и трех морей, слушал, подперши щеку кулаком. Слушал, следовало сказать, превнимательно, пусть и во всей фигуре его наблюдалась некоторая вялость.

— Конкурс красоты, говоришь, — презадумчиво произнес он, зацепившись за волосок на седой бороде, — а это, может статься, весьма перспективно, весьма...

Волосок он выдернул.

Поморщился.

И испепелил тут же.

— Чешется, зараза, — пожаловался Александр IV, прозванный в народе — не без подсказки, само собою, — Блюстителем. — Я уж его просил, чтоб поаккуратней, а все одно чешется.

Седая бородка, аккуратно стриженная, придавала несколько простецкому обличью монарха нужную утонченность, которая, правда, несколько дисгармонировала с лысиной и крупной серьгой в ухе, из тех, что носит морской народец. Но императору позволительны некоторые малые странности.

Тем паче такому. Престарелому и капризному. А еще больному, иначе для чего держать при дворе целый сонм целителей. Уж не для дамских мигреней, ясное дело.

— Только я подумал, что разделить надо будет. — Лешек вздохнул.

Притомился он.

Приемы и без того сил требовали нечеловеческих, ибо маска так и норовила сползти, а делать сего было нельзя, так еще ныне и княгиня, уловившая неким звериным чутьем своим, что оказалась полезна, вознамерилась развить успех.

Благодарить ее пришлось тут же, в алькове.

— У нас не поймут, если всех в одну кучу... Купчихи с дворянками перегрызутся, а если ненароком победит кто из простых, так и вовсе скандал выйдет.

— Не победит.

Царь запустил всю пятерню в бороду и поскребся, по обещав:

— Сбрею.

— Народ не поймет, — покачал головою наследник и продолжил: — А если не победит, то и того хуже, поползут слухи, что все куплено. Нет, сперва среди аристократов проведем, а купцы уже и сами придут.

С поклоном и беседою, выгодною для обеих сторон. С мастеровыми и иным людом и того проще.

Царь-батюшка смачно потянулся и дозволил:

— Действуй!

А Лешек вздохнул: вот меньше всего ему хотелось с этим конкурсом, от которого пользы никакой, возиться. У него, между прочим, гильдейские мастера попереки горла стоят, требуя исконные привилегии восстановить, не понимая, что в новом мире им не место.

На землях Дальних неспокойно, тукры, сменивши очередного владыку, воспряли и возжелали если не войны победоносной — тут они более-менее здраво собственные силы оценивали, — то хотя бы возрождения древней же традиции набегов на земли соседские. А там только-только спокойно жить начали.

Бритты со своими претензиями по заморским колониям наседают, мол, монополия торговая у них, а что колонии эти в монополиях задыхаются и того и гляди восстанут, так оно ж разве по уму?

Франкам нейдет.

Одни австры сидят спокойно, в дружбу играют, но и то с дальним умыслом. У них принцесс с дюжину, придет срок... И ведь придет. И кроме австрийских принцесс, положи руку на сердце, выбрать-то некого, а союз нужен.

Уж больно непрочен мир в империи.

Многие помнят смуту, всколыхнувшую ее пару десятков лет тому.

Идеи крамольные, что разнеслись моровым поветрием... Равенство, братство... Мятежи и мятежников, заставивших царя от престола отречься. Гибель всего царского семейства, а там помимо наследника хилого еще пятеро царевен имелось...

Тогда империю спасло чудо, не иначе.

И вера.

И верность. И люди, многие из которых ныне уже отошли от дел, ибо война силы забирает даже у одаренных. Первей всего у одаренных. А мир... мир всем сперва кажется благом, но к благам привыкают, и вот уж хочется большего.

— Матушку проведай, — велел царь, думая о своем. У него тоже забот хватало. Министры там, советники, каждый из которых на словах за благо империи радеет, а на деле половина франкам продана, а другая — бриттам. А есть и такие, что на всех работать горазды, платили бы побольше. — И дружка своего возьми. Нехай развлечется.

Лешек крепко сомневался, что молочный брат его, наперсник и единственный, пожалуй, помимо родителей человек, которому цесаревич верил, желает таких поручений.

Но с батюшкой спорить...

— И это, посетуй там, что я совсем плох стал, гневлив без меры и вообще тебя женить задумал.

— Что?!

Вот только этого Лешеку не хватало.

— Хоть бы что, — передразнил батюшка. — Сам подумай, тут конкурс, а там слух.

Одно к другому. И ведь в чем препоганая сила слухов? Какие бы здравые доводы ни приводились в опровержение — не поможет.

— Но...

— Мальчик мой, — царь прикрыл глаза, — мы оба знаем, что от меня желают избавиться, а вот ты им нужен. Во всяком случае, пока наследник не появится, шапка Мономахова слабую кровь не примет. А стало быть...

Ищи, кому выгодно.

И получалось... получалось, что им с Димитрием немалое развлечение выпало.

Ее императорское величество, в свои годы сохранившая и статью, и красоту, жаловалась на жизнь. Окруженная двумя дюжинами боярынь, фрейлинами и гофмейстринами, она громко и слезливо причитала, порой заламывала унизанные перстнями ручки, касалась пальчиками напудренного личика.

Вздыхала.

И один раз даже слезу выдавила.

Боярыни слушали. Качали головами, сочувствуя, и перстеньки пересчитывали. А заодно уж подмечали мелочишки нехорошие, навроде нездорового блеска в глазах, бледности кожи и синеватых ногтей.

И уж точно не остались незамеченными три целителя, денно и нощно оберегающие покой императрицы. Вот один одну скляночку подал, и по палатам поплыл характерный сладковатый запах валерианового корня. Вот другой с поклоном поднес кубок, в который черных капель накапал. Вот третий бутылю с пиявками потряс и часы извлек, солидные, луковичкой.

Мол, время для процедур.

И поднялись статс-дамы, подавая знак прочим, что окончена аудиенция.

— Красота, — неискренне сказала императрица, прикрывши очи, — требует жертв.

И взмахом руки боярынек отпустила.

А сама растянулась в кресле.

— Лешечек, останься с матушкой, — дребезжащий, усталый голос ее был слышен в коридоре, и лишь когда дверь закрылась, императрица вздохнула: — Когда ж это закончится-то?

Она отерла лицо, стирая пудру.

От пиявок отмахнулась, правда, велела на свиньях покормить. А вот валериановые капли выпила: нервы, они небесконечны.

— Представляешь, третьего дня пудру отравленную поднесли, и главное, яд хороший, трехкомпонентный. — Императрица вздохнула с немалым сожалением. — Сработал бы только в контакте с серебром.

Она повернула узенький серебряный перстенок, который носила не снимая.

— У нас такие не варят.

— Кто? — У Лешека в глазах потемнело. Ладно батюшка — что на царя покушаются, это привычно, обыкновенно даже, ибо государство без смутьянов что дворовый кобель без блох.

— Так разве ж выявишь? Подсунули Заточным, но они точно непричастны. Мелкое дворянство. Явились дочку при дворе пристроить. Кстати, довольно смышленная особа. На редкость здравомыслящая и не без толики таланта.

— Мама!

— Что мама? Между прочим, мой отец в твои-то годы трех детей имел.

— Ага, а после еще с дюжину народил, только каждого от другой жены.

Мамину оплеуху цесаревич принял со всею возможной сыновней покорностью.

— Бестолочь...

Лешек вздохнул, признавая истинную правоту матушки: как есть бестолочь. Редкостнейшая. И в извинение он налил вина, не забыв прикоснуться к кубку перстнем. Правда, если яд многокомпонентный...

— Успокойся, — императрица Веревия усмехнулась, — змеевна я али нет? Меня отравить — постараться надобно. Но утомляет, да... А ты с чем явился?

Пришлось рассказывать и стараться, чтоб сие на жалобу не походило.

— Конкурс, стало быть. В этом есть здравый смысл. — Императрица прошлась по комнате, остановилась у окна, правда, открывать ставни, нарушая защитный контур, не стала. — Заодно и приглядишься, вдруг кто по сердцу придется?

— А австры как?

— Никак. Нам с ними связываться особого резону нет. У них свои дрязги. Потребуют поддержки, втянут, а после и виноватыми сделают. Так что лучше уж кого своего взять.

Лешек кивнул: спорить с матушкой, вздумавшей его женить, себе дороже.

— Стало быть, пиши: девицы от восемнадцати до... до двадцати пяти. Старше смысла нет, а моложе — еще дети, в голове пусто, а сердце что море в ветреный день, куда ветер подует, туда и скачет. С даром непременно...

Лешек вытащил из секретера лист.

— Не сговоренные... Ни к чему нам те, кто обещания легко рвет. Разве что сговор распался не менее нежели за три месяца до... Придумаешь, как это красиво подать. Девицы... Проверять девичество будет целитель. Пусть напишут большими буквами, дабы скандалов после не вышло.

Она постучала ноготочком по расписному блюдцу.

— Что еще? С собой хороши, манерам обучены. Норовом мягки. И пусть там уж Митюшенька постарается. У него есть специалисты, которые чего хочешь напишут.

Императрица задумалась.

— А наградой... наградой будет звание первой красавицы Арсийской империи. И в доказательство того — венец драгоценный из моих рук. Той, что второе место, — ожерелье. Ну и за третье — серьги. Так оно интересней будет. Найдете в сокровищнице что-нибудь подходящее. Ах да, и еще напишите, что все три девушки получают место при дворе.

Лешек кивнул.

И кляксу попытался стереть, да не вышло.

— А почерк у тебя по-прежнему отвратительный, — со вздохом констатировала императрица. — И вообще бестолочь ты...

Пусть так. Зато свободная.

Во всяком случае, пока.

ГЛАВА 2

Ныне, разложивши снимки по порядку, Лизавета Гнёздина, девица совершенно неприличных для девичества своего двадцати четырех с половиной лет, благородного сословия, вынуждена была признать, что особенно хорошо вышла задница. Оно, конечно, радости с того немного, поелику цензура заднице, пусть и чиновничьей, и снятой не без толики художественного таланту, не обрадуется. Да и не увидит, ибо Соломон Вихстахович при всей низости своей натуры, по мнению многих, обусловленной исключительно принадлежностью к подлому сословию, склонности к эпатажу и любви к деньгам был человеком весьма осторожным. И пусть подцензурному дьяку он исправно кланялся что окороками, что гусями, что обыкновенными конвертиками, которым дьяк радовался куда больше, нежели окорокам с гусями, однако вот...

Нет.

Не напечатает.

А жаль, ибо задница и вправду хороша. Кругленькая, аккуратная, степенная где-то даже. И выразительности в ней куда поболее, чем в ее, так сказать, обладателе. Вон даже любовника своего целует с физией преравнодушнейшей, будто не к живому человеку, но к знамени прикладывается.

Лизавета со вздохом убрала снимочек.

Ничего, ей и прочих довольно.

А уж сударю Бжизикову, коллежскому асессору, отмеченному двумя медальками и одним орденом, и тем более хватит.

Она разложила снимки.

Вот первый, который публиковали в свадебной газетенке. Не забыть бы на нее сослаться. Здесь жених, еще в чинах малых состоящий, хмур и несчастен, а вот невеста прехорошенькая.

Беленькая, кучерявенькая.

Губки бантиком.

Бровки треугольничками. На личике — величайшее удивление, будто бы не в состоянии она была понять, как позволила соединить себя со столь скучным типом.

А вот еще один снимочек, из семейного архива.

Пришлось заплатить горничной целых пять рублей, и эта трата до сих пор отзывалась у Лизаветы болью. Но что поделать, месть — дело дорогое. Да и за статью ей заплатят. Заплатят-заплатят, никуда не денутся. А снимочек своих денег стоил.

Сударыня Бжизикова с сыном и супругом, на которого сын похож примерно как скаковой жеребец на старого осла, зато весьма похож на троюродного братца Бжизиковой, человека подлого сословия и невысоких моральных качеств. Подвизался он в личных помощниках некой состоятельной вдовы, за что имел неплохой оклад, который с легкостью спускал за игорным столом.

Мальчик взял от него огромные очи весьма характерного разреза и пепельный оттенок волос.

Лизавета почесала пером кончик носа.

Писать?

Или сами догадаются? Нет, навряд ли. Уж сколько она работает, успела усвоить, что, может, кто и догадается, да вовсе не о том, о чем следовало. Стало быть, легонько, намеком-с... И снимок счастливого семейства, дабы каждый имел возможность убедиться, что Бжизиков-младший — истинно копия своего отца. Да не того, с которым матушка венчана.

Сделалось немного совестно, все ж вьюноше всего-то пятнадцать...

Но совесть привычно утихла, стоило напомнить, что Марьяшка с Ульянкой и помладше будут. Их-то небось не пожалели.

Гнев нахлынул.

И сгинул.

Дальше что? Тайное любовное гнездышко, снятое в доходном доме некой вдовы Путетиной. Снимок одного дома. В нем, подсказывало чутье, скрывалось немало тайн. Но другие Лизавете были без надобности. Во всяком случае — пока.

Молодой человек, выходящий из кареты. И многоуважаемый чиновник, не удержавшийся и прикоснувшийся губами к розовенькой щечке.

Этот снимок и сам по себе скандальным вышел.

А дальше...

Вдова Путетина отличалась на редкость вздорным нравом, а еще была скупа и подловата, но при всем том искренне удивлялась, отчего ж в доме ее не задерживается прислуга. Сама Лизавета с трудом две недельки вынесла.

Пока выяснила...

Пока ключики подобрала...

Пока кристаллы установила, чтоб вокруг кровати. Ее тоже сняла, отдельно, так сказать, позволяя читателям оценить всю роскошь этого огромного деревянного чудовища, под бархатный покров убранного.

Она вздохнула. И вывела следующую строку.

Ах, до чего кстати пришлось обличительная речь, зачитанная Бжизиковым при открытии новой гимназии. Мол, надобно поддерживать старинные устои и семейные ценности, а не разлагаться морально.

Хорошо, не поленилась, записала пару цитат.

Лизавета была девушкой престарательной. Да и памятью обладала хорошей.

Первый поцелуй, совершенно не допускающий иного толкования. И любовник Бжизикова выглядит просто-таки неприлично юным, хотя ему, Антошке Свердюкову, некогда помощнику приказчика в лавке свейского купца, давно уже исполнилось двадцать годочков.

И в любовники он пошел отнюдь не по принуждению.

Но людям того знать не надобно.

И Лизавета выбрала еще один снимок. Почти приличный, этот, пожалуй, и пропустят. А задница... задница пусть будет, на случай, так сказать, суда, про который ее клиенты кричать горазды.

Да и вообще пригодится.

Она вздохнула, отложила перо. Перечитала статейку, которая получилась весьма неплохой, хотя Соломон Вихстахович вновь ворчать станет, что эмоциональности маловато, и все поправит. Но то уже его заботы. Лизавета же сыпанула на бумагу песок и, дождавшись, когда чернила высохнут, положила статью и снимки в обыкновенный почтовый конверт.

Его убрала в сумку. Вот так...

До встречи с главным редактором и владельцем премерзкой с точки зрения людей приличных газетенки «Сплетник» оставалось два часа.

Она все успела. И это хорошо.

Лизавета закрыла глаза: в ее списке осталось лишь два имени. А потом... Она не слишком представляла, что делать дальше, но не сомневалась: что-нибудь да придумает.

Соломон Вихстахович был человеком опытным. Батюшка его, переживший три погрома и одну революцию, частенько повторял:

— Тише живешь, дольше проживешь.

И во всем следовал собственной заповеди, которая, правда, не спасла, когда охочая до крови толпа добралась до кривобокого домишки, где обретался уездный целитель с семейством.

Матушка, чудом уцелевшая, прожила недолго. А оставшись один, Соломон принял непростое решение. Он продал родительский дом за смешную, к слову, сумму, ибо в городке их понимали положение, в котором оказался шестнадцатилетний юноша, и пользовались оным беззастенчиво. Соломон отправился в столицу, где и начал новую, весьма и весьма насыщенную жизнь. Случилось побывать ему и полотором, и в лакеях походить, правда, недолго, ибо сия роль оказалась куда тяжелее, нежели Моня представлял. Как бы то ни было, однако лихая судьба привела его в некую газетенку, где сперва он исполнял черную работу, а после...

Ложь, чистой воды ложь, что единственную дочь владельца газеты он соблазнил. Нашлись и до него желавшие получить наследство коротким путем, а Монежка... Монежке, может, приглянулась дебеловатая и тихая девица.

Она была пуглива и, обожженная первой неудачной любовью, скромна.

А что еще надобно?

Отцовское благословение? Обошлись и без него. Пару лет, конечно, пришлось тяжеленько, но Софочка безропотно сносила невзгоды, а Моня... он старался.

Уже за двоих.

А там и за троих. Он с легкостью сменил работу и, имея за плечами хорошее домашнее образование, но не имея такой ненужности, как совесть с приличиями, пошел по газетной стезе. Глаз у него был наметан, нюх остер, а чувство момента, как и другое, более важное, — осторожность, присутствовали в полной мере. Писал он, само собою, под псевдонимом, ибо понимал, что не всякому его статейки придутся по нраву, и успел прогреметь по всей столице, пока папенька Софочки спохватился и потребовал предъявить ему блудную дочь вместе с внуком.

Внука он благословил.

На Монежку плюнул, обозвав прохиндеем, но простил, да... и к делу приставил. И после, годиков этак через пять, убедившись, что Монежка не собирается кровиночку обижать, но напротив, души в ней не чает, с легким сердцем переписал газетенку на зятя.

— Никогда-то этого дела не любил, — признался он, будучи слегка нетрезв по случаю рождения на свет долгожданной внучки. — Да вот пришлось возиться. Ничего, теперича заживем. Ты вот смотри только, в политику не лезь. Уж больно дело грязное.

Грязное, тут Монежка был всецело согласен. И куда грязнее всех адюльтеров с прочими мелкими грешками, которые в верхах случались, на репортерское счастье, регулярно.

Газету он переименовал и, как модно ныне выражаться, полностью сменил профиль. И пусть прежние конкуренты шипели, что пал Монежка в своей любви к деньгам до невозможности низко, но...

Тиражи росли.

Доходы тоже, к счастью, не падали, позволяя Софочке покупать наряды, а деток возить

на моря, ибо очень это полезительная вещь — морской воздух. Да и на прочие мелочи оставалось.

За годы прошедшие Монежка успел утвердиться в новой для себя ипостаси, изучить и дело, и людишек, с которыми он это дело вел, ибо именно от них, как ни странно, зависело Монежкино благосостояние. А еще и судьба газеты, которую многие рады были бы прикрыть, да...

Как бы странно сие ни звучало, но Монежка строго следил, чтобы подопечные его — а вольную газетную братию он полагал именно подопечными — в приливе вдохновения соблюдали и рамки закона, и от правды не слишком отрывались, а то ведь чревато.

И знал он их пречудесно.

И теперь вот, глядя на худенькую девицу в мешковатом платье, слегка мучился совестью, а может, и несварением.

— А, Лисонька, — сказал он, дверь прикрывши. И камешек достал особый, который в столе держал для разговоров приватных. Что поделать, ежели братия тут прелюбопытная и с фантазией... приходится изворачиваться. — Несказанно рад видеть вас. Чем старика потешите?

На стол лег копеечный конверт из рыхлой ноздреватой бумаги.

Его Лизавета пальчиком подвинула и потупилась, скромницу играя. Выходило у нее не особо, как и у собственной Мониной младшенькой, пусть голову и склонила, но взгляд-то, взгляда не спрячешь.

— Превосходно, просто чудесно... — Он пробежался взглядом по статейке, придерживав обычное свое замечание. Пусть себе, найдется кому поправить, сделать душевней, понятней для простого народу, который на «Сплетникъ» тратиться готов. Текст-то отредактировать большого ума не надобно, а содержание... ох, горячее, и главное, писано-то так, что законнику прикормленному лишь слезу умиления смахнуть останется.

Никаких прямых обвинений, которые фактами не подтверждены.

Никакого политического подтекста.

Одна лишь обыкновенная история чиновничьей жизни. А почему бы и нет? «Обыкновенная история»... Отличнейшее названьице. Монежка сделал себе пометку и, вытащив кошель, протянул Лизавете. Ах ты, золотая его девочка.

Обидно будет, если откажется... испугается...

Впрочем, пугливой Лизавета не была. Пугливые не лезут в дела столь сомнительного свойства, а что писала она сама, в том Монежка не сомневался. Другим пусть сказки рассказывает о таинственном Никаноре Справедливом, народном защитнике и разоблачителе, героя и любителя подглядывать в замочные скважины.

— Лисонька, — Монежка решился, хотя решение далось ему нелегко, — я понимаю, что вы у нас девушка безмерно талантливая, потому и хочу предложить вам одно дело.

— Мне?

Хлопнули рыжие ресницы.

А веснушки побледнели.

Испугалась?

Если и так, то ненадолго.

— Вам, Лисонька, вам. Мы... как бы это выразиться, давно с вами сотрудничаем...

С того самого первого дня, когда в редакцию явилась худенькая девица в дрянном платье и потребовала немедленно принять ее в штат.

Монечка на девицу поглядел.

И принял.

А что, о цветочных выставках и собачках тоже кому-то писать надобно, раз уж прочая братия, избалованная свободой, полагала сие оскорбительным. Девицы не бывают репортерами?

Окститесь, может, и не бывают, но куда еще сиротке податься?

В гувернантки?

Не с ее происхождением. И не с ее характером.

А тут... Девица оказалась ответственной, выставки посещала, собачек разглядывала. Порой писала в рубрику дамских советов, причем делала сие бойко, без лишнего занудства. Ей же чуть позже поручили вычитку статей, ибо не все в редакции обладали должною грамотой, а заодно и разбор корреспонденции. Однако Монечка не удивился, когда спустя полгода девица принесла серый конверт и робко поинтересовалась:

— Глянете?

Монечка глянул и зажмурился. Нет, «Сплетникъ» имел определенную репутацию и случилось ему писывать о всяком, но вот подобное случилось редко.

Помнится, история некоего чиновника, который вел прием приглянувшихся девиц на своей квартире, обещая по результатам положительное решение вопроса, много шуму наделала. И тогда снимки, иные весьма откровенного свойства, изъяла жандармерия для разбирательства. И она весьма интересовалась настоящим именем Никанора Справедливого, однако...

Лизавета моргала.

Вздыхала.

И каялась, мол, был у нее знакомец старинный, который очень к несправедливости неравнодушен, вот он и присылает ей стенограммы со снимками. Она же лишь пишет, оформляет должным образом, а ей за то платят. Немного. Пятьдесят копеек за страницу.

Ей поверили.

Но не Монечка, нет. Он, конечно, подыграл, потому как чуял, что историйка, поднявшая тираж едва ли не вдвое, первая ласточка. А потому к чему смущать девочку неудобными догадками? Премию он ей выплатил чин чином, пусть и из собственного кармана, а заодно уж сказал, что когда ее знакомец вновь справедливость учинять решит, то пусть обращается без стеснения.

И не ошибся.

Лизавета поерзала, вцепившись в ридикюль. А он почесал лысинку и произнес:

— Лисонька, душенька моя светлая, мы с вами не один год друг друга знаем, а потому вы можете быть спокойны. — Монечка вытащил из стола белый круглый камень, а заодно и коробку с освященною иконой. — Кровью своей клянусь, что не выдам вашу тайну, и бумаги подпишем, само собой.

Она напряглась.

А Монечка уколол палец иглой и к камню прижал.

— Я...

— Вы пишете, и пишете хорошо, — махнул он рукой, — и я вовсе не про ежегодную выставку георгинов говорю, хотя, конечно, ваша правда, как-то это подозрительно, что первое место из года в год занимает сад главы попечительского совета. Однако это мелочи-с...

ГЛАВА 3

Лизавета вздохнула.

Мелочи? Знал бы он, какие страсти кипят на этой выставке! Как же, первая лента значит не только почет, но и контракт с городом на поставку цветов.

Казенные деньги сладки.

А средства хороши все. Вот и травят друг другу цветы что ядами, что магией. Вот и изыскивают способы обойти условия магического вмешательства при росте. Подкупают судей. Учиняют истерики. Чудо, что еще до убийства дело не доходит.

В прошлом году, помнится, одна престарелая княгиня, весьма рассчитывавшая поразить комиссию необычным небесным цветом своих георгинов, не чинясь, вцепилась в волосы другой престарелой княгине, которая якобы эти самые небесные цветы загубила. Тогда статейка вышла живой.

Ныне аристократия вела себя с поразительным спокойствием, хотя магией все одно пользовались. Лизавете ли не слышать ее отголоски, и оттого престранно было, что услышала их лишь она одна.

Но да, не о георгинах речь.

— Я многое успел о вас узнать, Лисонька. Еще с той первой статьи... — Глаза Соломона Вихстаховича были светлы и поразительно безмятежны. — Вы сирота... круглая... с двумя сестрами на попечении. Живете в домике двоюродной тетушки, особы весьма сердобольной в силу одиночества, но здоровьем тяжелой... сестер вы любите, аки и тетку, тратитесь на целителей, хотя подобные траты весьма болезненно отзываются на вашей семье.

— Предлагаете дать ей умереть? — Таких разговоров Лизавета не любила.

Подымалась в груди знакомая глухая ярость.

— Отнюдь. Вам двадцать четыре...

— Почти двадцать пять.

— Вы не замужем.

— Не берут. — Вот не нравился ей нынешний разговор. Совершенно не нравился.

Но Соломон Вихстахович рученькой махнул и продолжил:

— Вы проучились три года в Арсийском имени его императорского величества Николая II университете и были весьма на неплохом счету. Какая специализация? Прикладная флористика? Вам прочили светлое будущее, поскольку пусть дар ваш не так уж и ярок, но голова... голова, Лисонька, она куда важнее силы.

О да, ей это уже говорили.

И даже стипендию предлагали в три рубля ежемесячно. На три рубля она бы прожила... одна... как-нибудь... Но вот что стало бы с сестрами?

Тетушка бы не справилась. Она уже тогда...

— О вас до сих пор вспоминают с сожалением и, если случится вернуться, примут с радостью.

Вернуться?

Об этом Лизавета запретила себе думать. Некуда возвращаться. Да и незачем. Она нашла свое место в жизни, плохое или хорошее — как знать? Главное, она привыкла и, чего уж говорить, ее работа ей нравилась.

— Но о том вы, полагаю, не думаете, хотя зря. — Соломон Вихстахович сложил снимочки в конверт, а статейку перечитал еще раз. — Вам было девятнадцать, когда ваш батюшка преставился. После это назвали несчастным случаем.

— Назвали, — эхом откликнулась Лизавета.

Потому что иначе надо было бы судить ублюдка, который в пьяном дурмане магией баловаться начал. А что стационарный защитный амулет против родовой-то силы?

Отца хоронили в закрытом гробу.

И матушка не плакала.

Она стояла, держала Лизавету за руку и не плакала. А после вернулась, легла и закрыла глаза, тело не удержало раненую душу, и... Вторые похороны прошли легче первых.

— Хуже, что вашему батюшке не хватило выслуги...

Трех дней.

Всего трех дней.

— ...Потому как на Севере, где ваше семейство жило ранее, он не был оформлен должным образом...

На Севере многие значатся вольными охотниками, потому как ведомство мест не имеет, а порядок блюсти надо. Сейчас, поговаривали, многое изменилось, но тогда...

— ...И вас с сестрами выставили из квартиры. А заодно уж пенсию по утрате кормильца вы получаете в неполном объеме...

Пять рублей вместо двадцати пяти. «И будьте благодарны, девушка, что я вошел в ваше положение. Это дело слишком спорно, многим кажется, что ваш отец значительно превысил полномочия, и если откроют следствие...»

— Вам повезло, что у вас нашлась старшая родственница, иначе ваших сестер отправили бы в приют. — Соломон Вихстахович протянул платочек.

— Зачем...

Она приняла.

— Зачем вы...

— Затем, чтобы вы, заигравшись, не решили, что слишком умны, что никто-то ничего не поймет. У вас много врагов, Лисонька. И дознайся кто... — Он выразительно замолчал.

О да, воображением, что бы там ни говорили, Лизавета обладала преизряднейшим, а потому сглотнула. Она ведь и вправду... В первый раз, конечно, боялась, да что там боялась — бессонницу заработала, все вслушивалась, не поднимается ли кто по старой скрипучей лестнице. Не останавливается ли, спрашивая про Лизавету. Не...

А после страх ослаб. Помогли ли тетушкины капли, которые Лизавета таскала тайком, либо же сама собой успокоилась, но во второй раз было легче, а там как-то вовсе попривыкло. Более того, появился престранный кураж.

— Вот-вот. — Соломон Вихстахович покачал крупной своею головой. Из-за обширной лысины, выставлявшей на всеобщее обозрение неровную, бугристую какую-то поверхность черепа, смуглой кожей обтянутого, эта голова гляделась еще крупнее обычного, что странным делом внушало подчиненным уважение. Мол, раз голова велика, то и разума в ней изрядно будет. С последним утверждением Лизавета могла бы поспорить, но, помилуйте, кто в здравом уме будет спорить с барышнею?

— С того все и начинается... Головокружение от успехов. — Соломон Вихстахович сцепил на груди пухлые пальчики. Пальчики были малы и аккуратны, а грудь необъятна, и жилет в тонкую полосочку облегал ее столь плотно, что, казалось, того и гляди треснет. — Ваши статьи, безусловно, преталантливые... и весьма необходимые, ибо и

властям стоит напоминать, что они далеко не всеведущи. Но главное, они взволновали общественность. А с нею и некие конторы, привлекать внимание которых себе дороже.

О конторах, упоминать которые вслух считалось признаком крайне дурного тона, особенно среди газетной братии, по душевному складу всегда пребывавшей к оним конторам в оппозиции, Лизавета как-то и не подумала.

Но она же...

Да, иногда приходилось нарушать закон. По малости. Где взятку дать, где чужим именем представиться, дабы место получить, где установить кристаллы фиксации без дозволения, но, право слово, преступления сии были малы и совершенно незначительны по сравнению...

А будут ли сравнивать?

— Прошлым разом за редакцией два месяца наблюдали... не бледнейте, вы тогда аккуратно, — Соломон Вихстахович постучал по конверту пальчиком, — открытием модного дома заниматься изволили, после вовсе в отпуск ушли, а потому на глаза не попадались. И, на счастье ваше, ищут мужчину...

Он чуть закашлялся, а Лизавета кивнула.

Мужчину.

Конечно, разве ж женщина способна на этакое? Наблюдать. Следить и выслеживать. Ковыряться в мусоре чужих жизней, выискивая намеки на... Неважно.

И разве женщина способна писать о чем-то помимо шляпок? Или вот того самого модного дома, в котором Лизавете случилось побывать. Ах, кто бы знал, какие бои кипят среди кружев и атласов! Но разве ж сие кому интересно!

— Но сейчас... не хотелось бы вас пугать, однако госпожа Бжизикова не так давно сделала весьма примечательный заказ у Апраксиной. — Соломон Вихстахович, редко покидая кабинет, непостижимым образом умел оставаться в курсе всех мало-мальски важных слухов. И более того, делая из оных слухов удивительные выводы, редко ошибался. — А сами знаете, ее шляпный салон...

Открывает двери лишь для избранных, тех, кто способен выложить сто двадцать рублей за простенькую шляпку.

Доход у Бжизикова, конечно, имелся, но вот чтобы такой... Хотя, может, женщина нашла себе любовника состоятельного? Все ж о супружеской верности в этой семье речи не шло.

— И потому, полагаю, слухи, что в самом скором времени господина Бжизикова ждало повышение, не лишены основания.

Повышение?

Для этого? Хотя, конечно, с точки зрения властей Бжизиков был удобен: спокоен, относительно честен, взятки и то он брал редко — то ли из страха, то ли стесняясь.

Лизавета вздохнула.

— Более того, есть основания предположить, что повысили бы его не просто так, а по личному пожеланию князя Навойского.

Лизавета прикрыла глаза.

Если так...

Это ощущение оглушающей беспомощности было хорошо ей известно. Более того, оно казалось всецело изжитым. А поди ж ты, вернулось вместе со слабостью в руках, позорной дрожью в коленях и слезами, что навернулись на глаза. Моргни — и прольются, полетят по щекам таким ярчайшим признаком женской слабости и полной ее, Лизаветы, никчемности.

— Буде вам, дорогая, — с упреком произнес Соломон Вихстахович, платочек прокуренный протянув. — Это слухи, и только. А даже если нет, то у властей свой интерес, а у нас, как говорится, свой. И в завтрашний выпуск, вечерний полагаю, вставить успеем. Однако же вам, Лисонька, придется...

— В-выставкой г-георгинов заняться? — У Лизаветы все же получилось не расплакаться. Стоило ли благодарить за это платок, от которого терпко пахло табаком и мятными конфетами, которыми Соломон Вихстахович заедал горькие сигарки, или же собственную выдержку, она не знала.

— Выставкой? Ах, помилуйте, кому они ныне интересны? Есть дельце иное. Скажите, вам ведь титул отошел?

— Титул? — Лизавета моргнула.

— Титул, — повторил Соломон Вихстахович. — Вашей бабки. Помнится, она баронессой была.

— Мы не были знакомы.

— Конечно, не были. Ваша матушка, помнится, изволила покинуть отчий дом в некоторой спешке, тем самым расстроив помолвку. А после и вовсе вышла замуж за человека крайне неподходящего, чем весьма огорчила вашу бабу.

Про старуху Лизавета знала лишь, что та в принципе существовала.

— Полагаю, отношения между ними окончательно испортились. Однако после смерти вашей бабушки...

Скончалась она через месяц после матери.

— ...вам достался титул.

А остальное имущество, к слову весьма немалое, отошло храму. И ладно бы дом, на него Лизавета не стала бы претендовать, как и на поместье, и на прядильную мануфактуру, но... Она написала письмо. Наступила гордости на горло и написала треклятое письмо, прося выделить малую сумму на содержание сестер. Что такое сто рублей, когда храму отошла без малого сотня тысяч?

Ей же ответили.

Любезно так. Мол, сочувствуем вам в вашем горе, однако же не смеем нарушить волю покойной, а потому обойдитесь благословением, и если уж совсем тягостно станет, то двери монастырей всегда открыты для новых трудниц.

Сволочи.

Небось, если бы бабушка и титул могла храму передать, она бы так и сделала. Однако...

— С юридической точки зрения вы, безусловно, баронесса.

— И что?

— А то, дорогая... — Соломон Вихстахович извлек из ящика стола еще одну бумажку. — Извольте ознакомиться. Это появится в утрешних газетах. Во всех утрешних газетах.

Лизавета пробежалась взглядом по тексту.

Серьезно?

Конкурс красоты? Общеимперский. И приглашаются все девицы благородного сословия в возрасте...

— Вы... — она все же, несмотря на волнение, была сообразительна, — хотите, чтобы я...

— Хочу, Лисонька. И не просто хочу. Я прямо-таки жажду. — Соломон Вихстахович извлек из кармана жилета крупные часы. — Сами посудите, этакое мероприятие —

благостное... и с немалым профитом. Для многих особ сие будет единственным шансом не только оказаться при дворе, где может, как понимаете, произойти всякое, но поговаривают, что его императорское высочество вошел в тот несчастливый возраст, который именуют брачным.

Лизавета сглотнула.

Вот во дворец ей хотелось меньше всего.

— А подходящей невесты во всей Европе не сыскалось. Вот и решил обратить высочайший взор на красавиц земли родной.

Соломон Вихстахович замолчал. Правда, ненадолго.

— Но это, дорогая моя, слухи, и только слухи. Правда, вам ли не знать, сколь живучи они бывают. Так что, чую, будет интересно.

— Меня не допустят.

Лизавета давно уж не отличалась прежней наивностью.

— Отчего ж? Вам двадцати пяти нет. Титул имеется, дар тоже. Девичество свое...

Лизавета густо покраснела.

— ...вы, смею надеяться, не утратили.

— Но вы же понимаете...

— Я понимаю, что власти желают показать себя с наилучшей стороны, а то в последнее время как-то чересчур уж много расплодилось нехороших слухов. И за конкурсом, который проводится под патронажем ее императорского величества, будут наблюдать весьма пристально. А потому отказать вам в первом туре не посмеют. Что до остального, то всецело уповаю на ваш ум.

Лстыть Соломон Вихстахович умел и любил, здраво полагая, что куда большего от человека можно добиться словами лести, нежели угрозами.

— И способности, которые вы явили в прочих делах. Главное, Лизавета, в политику не суньтесь, грязь там презряднейшая. А вот скандалы, как понимаете, публику нашу заинтересуют.

А скандалы будут.

Если уж выставка несчастных георгинов не обошлась без оных, что говорить об этаким конкурсе? Лизавета сглотнула. Отказаться? Соломон Вихстахович не выдаст. Отправит куда-нибудь, в творческую командировку например, но не выдаст... Пересидеть, а там и вовсе заняться делом иным.

Каким?

Лизавета не знала.

Пока.

Она подвинула листочек поближе.

— Нужен будет приличный гардероб.

— Этим займется модный дом Ламановой, — отмахнулся Соломон Вихстахович. — Особое распоряжение. Все ж там, — он ткнул пальцем в потолок, — понимают, что возможности у людей разные, и не желают превращать конкурс в демонстрацию чьего-то семейного состояния.

— И что от меня потребуется?

— Ничего особенного, деточка. Смотреть, примечать. Писать. Тем, полагаю, будет

преизрядно. Я дам вам почтовую шкатулку. И подумайте вот еще над чем, Лисонька. Газетчиком быть, оно, конечно, преинтереснейшее занятие, но все ж...

— Не женское?

— Небезопасное. Вам ли рассказывать, что порой с нашими утворяют. А вы все ж девица, вам ли в этой грязи ковыряться? А там... поосмотритесь, глядишь, и найдете себе новое занятие.

— Или жениха, — мрачно произнесла Лизавета.

— Или жениха, тоже неплохо. Там ведь соберутся многие, да... Раз уж цесаревич желание изъявил расстаться с вольною жизнью, то и другие найдутся.

В полупрозрачных глазах Соломона Вихстаховича виделось Лизавете плохо скрываемое сочувствие. Правда, с чего бы ей сочувствовать, когда с долгами она, почитай, расплатилась. И конечно, если бы еще заработать на учебу... Дар у сестер имелся, не чета Лизаветиному, вот только одного дара маловато. Небось места, государством оплаченные, на годы вперед расписаны.

На столе появился плотный кошель.

— Если согласитесь, я вам двести рублей выплачу. Авансом, так сказать. — Соломон Вихстахович кошель подвинул к Лизавете. — Кажется, этого хватит на первоначальный взнос?

И все-то он о ней знает. И это неприятно.

Однако двести рублей... Год обучения стоит почти пятьсот, а заем девице не дадут без мужского поручительства или имущества. Их же квартирка, купленная тетушкиным супругом покойным, едва ли на пять сотен потянет.

Для Ульянки хватило бы. Есть еще кое-что, накопленное. И если пойти не в банк...

— Коль вас примут, а я надеюсь, дорогая, что вас все ж примут, я заплачу еще триста. Пройдете первый тур, передам вашей тетушке пятьсот.

Два года для Марьяшки.

И этого хватит, чтобы после претендовать на стипендию государственную или хотя бы малую подработку найти. Небось целителям с подработкой проще, нежели флористам-недочкам.

— Пройдете два, получите еще пятьсот. И учтите, что все конкурсантки, добравшиеся до финала, получают ценные призы из рук ее величества, а вам ли рассказывать, сколько будет стоить подобный знак внимания в денежном, так сказать, эквиваленте.

Лизавета закрыла глаза.

Если так... Она ведь не будет делать ничего дурного, и в политику не полезет, и...

— А вам, — сглотнув, Лизавета решила-таки задать вопрос, — какая с того выгода?

— Обыкновенная. — Соломон Вихстахович вопрос сей понимал, как и Лизаветины суматошные мысли, и всю ее видел, как она есть, вместе с искушениями, сомнениями и неуверенностью, которую Лизавета тщательно скрывала, притворяясь кем-то совершенно иным. — С одного проданного номера я имею копейку прибыли. Обычно номеров продаю двести тысяч.

Это... это получается, с одного выпуска Соломон Вихстахович имеет почти две тысячи рублей? Если Лизавета верно посчитала.

А номера выходят через день.

И если так...

— Полагаю, что в ближайшем будущем тема конкурса станет самой главной, а потому

на хорошем материале продажи можно поднять вдвое, если не втрое.

Лизавета прикрыла глаза.

И это получается... А она своим сорока рублям радовалась!

— И за каждую статью сто рублей. Коль сильно интересная, то и двести, — великодушно предложил Соломон Вихстахович. — Подумайте, Лизавета, всего-то какой-то месяцок, и вы разрешите многие свои проблемы.

Лизавета подумала.

Еще раз подумала.

Вздыхнула — и согласилась. Видит Бог, она сочинять не станет, а напишет как оно есть. Хотелось бы знать, как оно вообще будет...

ГЛАВА 4

Доверенное лицо, приятель и молочный брат его императорского высочества цесаревича Алексея Димитрий, князь Навойский, предавался меланхолии, причем делал сие с немалым удобством. Он занял креслице, обитое красною лайковой кожей, в которой утонули золотые гвоздики, возложил ноги на стол, инкрустированный перламутром и янтарем, но хотя бы сапоги снял, а потому имел редчайшую возможность полюбоваться собственными носками.

Левый был зелен.

Правый полосат, причем синяя полоска в нем чередовалась с желтой, а на пятке полосы закручивались спиралькой, что придавало носку вид вовсе уж вызывающий. Над большим пальцем появилась дырочка, в которую оный палец стыдливо выглядывал.

В руках князь держал трубку, которую, правда, не курил, а так, пожевывал мундштук.

Следовало заметить, что нынешнее состояние было нехарактерно для обычно живого и, по мнению многих, чересчур уж живого человека. Он, пребывавший в вечном движении, ныне казался куда более тусклым и невзрачным, нежели обычно. Князь вздохнул и, потянувшись, поднял со стола премежку газетенку, испортившую не только утро, но и весь последний месяц работы.

Он щелкнул пальцами, выпуская язычок огня, и с немалым наслаждением подпалил угол. Желтоватая дешевая бумага вспыхнула моментально. Черное пятно расплзлось, сжирая и строки статейки — следовало сказать, весьма убедительной, — и испорченные низкого качества типографией, но все ж узнаваемые лица...

— Страдаешь? — Дверь отворилась без стука, и в кабинете запахло кофеом.

— А то...

Князь перехватил газетку за уголок и сунул в графин с водою. Графин вообще-то поставлен был для нужд посетителей, которые через одного отличались слабым здоровьем и повышенной нервозностью. То ли в кабинете было дело, то ли в самом князе, то ли в конторе его, славу определенную сыскавшей, однако графин частенько приходилось использовать.

Цесаревич поднял очередной выпуск «Сплетника» — подчиненные, зная норы и трепетное отношение начальства к сей газетенке, благоразумно приобретали сразу пачку — и, скрутивши трубочкой, стукнул князя по макушке.

Тот лишь поморщился.

— Я ночей не спал...

— Не ты один. — Цесаревич уселся на стол, проигнорировавши креслице для посетителей — а и верно, вид оно имело премежнейший, ибо сбито было из толстого бруса, покрашенного явно наспех бурою краской, и тем навевало весьма печальные мысли о местах не столь отдаленных.

— Думаешь, легко среди всей этой кофлы отыскать человека хоть сколько бы то ни было порядочного? — Князь пошевелил пальцем ноги, который от этого движения взял и вовсе выскользнул в дырку. — А чтоб еще и не полный дурак...

Цесаревич вздохнул.

— И кого мне теперь на его место ставить? — спросил князь.

— А его и поставь. — Цесаревич вновь шлепнул князя газеткою по лбу, но теперь тот высочайшего самоуправства терпеть не стал, отмахнулся. — А что? Эти дела у нас, чай, не под запретом... полюбовница, любовник... какая разница? Лишь бы казне не в ущерб.

Казна-то в данном случае не пострадала, оно и верно, ибо любовника — редчайший случай — Бжизиков содержал за собственные деньги, но...

— Не выйдет. — Про этот вариант князь и сам думал. — Какой из него теперь... в лицо смеяться станут, а про уважение и вовсе забыть можно.

Он потянулся и кое-как зачихал палец в носок. Оглядел оба. Вновь вздохнул, пригрозивши:

— Выгоню.

— Кого? — поинтересовался цесаревич, которого занимали проблемы иные, казавшиеся ему куда более важными.

Вот кто бы сказал, с чего бы купеческая гильдия вдруг стала этакой сговорчивой? И пошлины повысить согласилась без спора, и вложиться в строительство новой железной дороги, которая шла бы через всю Сибирь... нет, дорога — затея выгодная, и большею частью в гильдии не дураки сидят, понимают, что тамошние земли изрядно богаты что мягкой рухлядью драгоценной, что деревом, что металлами, а может, еще чем неизведанным. Заселены-то они мало, освоены и того меньше, уж больно суровы тамошние зимы.

Маги-погодники с ними и то справиться не способны.

Дорога многие проблемы решит, а уж выгоды в далекой перспективе и вовсе сулит немереные. И понимают, шельмы, понимают... и все ж не в характере купеческом вот так просто взять и уступить, без раскланиваний, без драных бород и уверений в скором разорении, которое всему миру грозит, коль государю в малой просьбе его почтенные люди уступят.

А еще девицы были, которых во дворце стало как-то слишком уж много.

— Всех выгоню. — Князь наклонился за обувкой. — И тех, кто это вот... — в газетенку он ткнул мизинчиком, — проворонил. Это, если подумать, неплохой рычаг давления. Почему пропустили? Ведь проверяли. Я не могу человека в министерство путей сообщения рекомендовать, когда он непроверенный, а значит, должны были найти...

И сообщить.

А там уж, глядишь, и состоялась бы приватного характера беседа, в которой Бжизикову разъяснили бы, что, конечно, приватность жизни — дело хорошее, но тогда надобно, чтоб она приватность совсем уж полной была. Ибо найдется немало желающих воспользоваться столь откровенной слабостью человека чиновного.

— А они промолчали — ни слова, ни словечка... или хочешь сказать, мои людишки работают хуже, чем этот репортеришка?

Во гневе князь становился... забавен.

Впрочем, так сказать мог бы лишь цесаревич, люди прочие, знакомые со вспыльчивым норовом князя Навойского куда как похуже, отчего-то в подобные моменты терялись.

Бледнели.

Краснели.

Хватались за сердце... все ж с репутацией у князя было так себе, и не сказать, чтобы вовсе беспричинно.

— Вот. — Князь скомкал очередную газетенку, а бумажный шар отправил прямым в мусорную корзину. — Стало быть, что? Стало быть, не просто так проворонили и уже не в первый раз... Ничего, вот найду...

— Кого? — уточнил цесаревич.

— Всех найду.

— И наградишь.

— А то... еще как награжу... — Глаза князя нехорошо блеснули. — Никто не уйдет

обиженным...

Заявку на участие в конкурсе Лизавета подавала с тайной надеждой, что она заявка вовсе рассмотрена не будет. В конце концов, возраст ее давно уж далек от девичьего, а титул и вовсе происхождение имеет пресомнительного свойства. А потому вся затея, безусловно, заманчивая — деньги, как ни крути, нужны, — рискует остаться невоплощенной. И если уж на то пошло, Лизавета с куда большею охотой устроилась бы в прислуги дворцовые.

Однако, к преогромному Лизаветы удивлению, ее пригласили.

На беседу.

А стало быть...

Простое платьице в тонкую полоску, перешитое из маменькиного, благо шить тетушка умела изрядно, а полоска ныне вновь вошла в моду, как и крохотные, перламутром отделанные пуговички, ставшие единственным украшением одного платья.

— Ох, Лизка. — Тетушка самолично расправила складочки и головой покачала. — Опять ты непотребное задумала.

— Почему непотребное?

Непотребной свою работу Лизавета как раз не считала. Она ж писала правду, и только правду, а что эта правда столь неприглядна получалась, так... не Лизаветы же в том, право слово, вина!

— Вышла бы ты замуж, — вновь вздохнула тетушка.

Лизавета, может, и вышла бы, да за кого?

Нельзя в деле столь серьезном и вправду всерьез рассматривать кандидатуру Фомы Ильича, почтенного купца второй гильдии пятидесяти трех лет от роду, дважды овдовевшего, причем при обстоятельствах, по мнению Лизаветы, весьма подозрительного толку.

И да, Фома Ильич был весьма состоятелен и намекать изволил, что, ставши его супругой, Лизавета ни в чем нужды знать не будет, да только не в одних деньгах счастье. Как-то не хотелось Лизавете остаток дней провести в отдаленном поместье, где Фома Ильич и хозяин, и царь, и жрец, и все-то в полной его власти. А властвовать он привык, да...

Помнится, того мальчишку-газетчика, которому вздумалось перед почтенным купцом дорогу перебежать, от души плетью перетянул не задумываясь и дурного в том не видел.

Лизавета покачала головой.

Уж лучше в старых девах, чем этакий муженек.

Жаль, всецело отвалить Фому Ильича не выходило. Он, здраво рассудивши, что коль не одна сестрица, так другая созреет, а там и третья...

Лизавета поправила ленты на шляпке.

Ридикюль подхватила.

Маменькин, выходной, а потому и вид сохранивший. А что уголки слегка пообтерлись, так ныне оно тоже премодно, вон писали, что некоторые дамы самолично ветошью уголки кожаных ридикюлей обтирают, дабы соответствовать.

Из дома Лизавета выходила с беспокойным сердцем.

Одно дело — охота, там оно как-то все иначе, а ныне... день ясный, солнечный. Дамы при зонтиках, кавалеры с тросточками, девицы юные хихикают, малышня у витрин толпится, на крендели сахарные глаза. Позевывает городской, но взгляд его хмур, цепок.

Скользит по публике почтенной, выискивая того, кто оной публике помешать способен. И рученька этак на сабле возлежит, показывая готовность защищать покой общественный любой ценой.

Городовому Лизавета улыбнулась. И он, взбодрившись, оторвал руку от сабельки, провел по пышным усам.

Пролетку получилось взять сразу.

И Лизавета поморщилась: точно рубль запросит. Но Соломон Вихстахович обещался всецело компенсировать расходы, а стало быть...

— В Мясников переулок давай, — велела она.

— Ко Вдовьему дому, что ль? Конкурсантка? — Извозчик кривовато усмехнулся. — Ишь...

Хотел он, человек вида явно простого, добавить пару слов иных, да сдержался: а ну как возьмет барынька и нажалуется. Вона, начальство и без того спит да видит, как выпереть Гришку с белых кварталов на окраины, только повода он не дает.

И не даст.

Гришка отвернулся, свистнул, лошадку погоняя.

И полетела та, понеслась, голубей распугивая...

Вдовый дом некогда числился резиденцией советника Селыпина, того самого, который земельную реформу провел и народец заложный из крепости вывел. За что, как водится, и пострадал: проклятье, оно не разбирает чинов и званий, защиту пробило — и осталась от человека горсточка пепла. Правда, случилось сие без малого сотню лет тому, но память человеческая на этакие штуки дюже крепка. Дом, во дворе которого случилась волшба, моментально прозвали проклятым, и скорая смерть вдовы, дюже, по слухам, мужа любившей, лишь укрепила народишко во мнении.

А потому удивительно ли, что наследники от опасного наследства поспешили избавиться, передавши дом сперва в крепкие руки состоятельного купца, который не то чтобы в проклятия не верил, просто полагал, что состояние его позволит нанять наилучших специалистов.

Состояние позволило.

Дом почистили, о чем выдали соответствующую бумагу, скрепленную ажно четырьмя печатями. Но то ли лгали, то ли судьба так сложилась, года не прошло, как купец преставился.

Сердце не выдюжило.

Нет, смерть сию расследовали весьма обстоятельно, однако ничего-то не нашли. А купеческая вдова поспешила дом продать. И так переходил он из рук в руки, теряя в цене, зато обрастая новой дурною славой. Сказывали, что в подвалах его и крысы не селятся, а они твари дюже разумные.

В разумность крыс Лизавета не слишком верила, но к громадине Вдовьего дома — в миру он ныне именовался реальной женской гимназией госпожи Игерьиной — отнеслась с некоторой опаской. Огромное мрачное строение, которое вечно будто бы находилось в тени. Сложенное из желтого кирпича, оно, удивительнейшее дело, смотрелось черным. И черноту эту не способны были развеять ни зелень бриттского газона, ни белизна мраморных скульптур, сработанных под антику, однако же отличавшихся от оригиналов куда большей степенью одетости.

Цвели розы.

Кружили над розами пчелы, и все же...

Мраморная лестница... взгляд в спину, внимательный такой, настороженный. Лизавета

оглянулась. Никого и ничего, пролетка и та убралась.

Она вздохнула и, прижавши ридикюль к животу — от волнения, не иначе, в оном началось вовсе неприличное бурчание, — решительно ступила на мраморную ступеньку.

Ничего не случилось.

Ни грома, ни молнии, ни иных божественных знамений, предупреждающих Лизавету о совершаемой ошибке. Мраморные львы и те не ожили, так и продолжали греть на солнышке пыльные бока. За тяжелой дверью обнаружился темноватый холл, в котором белым пятном выделялся портрет его императорского величества, причем белел парадный мундир, а лицо словно бы стерлось.

Жуть.

Лизавета огляделась.

И дальше куда? Впрочем, затруднения ее разрешились: из полутьмы выступила девица в сером гимназическом платье.

Белый воротничок. Черный передник с карманами. Пухлые губки и взгляд, преисполненный холодного презрения, будто само свое нахождение здесь в этот час девица полагала унизительным.

— Вас ожидают, — сказала она, лишь бросив взгляд на конверт. Куда большего внимания удостоилась сама Лизавета. И показалось, что девица эта, чересчур уж взрослая для гимназистки, знает и о происхождении платья, и о том, что перламутровые пуговички были спороты с другого, а после восстанавливались в особом масляном растворе, ибо только так можно было скрыть трещинки на перламутре... и о трещинках.

И о том, что не место Лизавете среди людей приличных.

Лизавета дернула плечиком, отгоняя непонятное желание немедленно покинуть Вдовый дом. Не хватало еще... можно подумать, прежде на нее не смотрели.

Смотрели.

По-всякому.

И брезгливо. И с удивлением, мол, как это вышло, что у девицы столько наглости сыскалось — людей занятых от дел отвлекать прошениями своими. И оценивающе... и... нет уж, она не отступится.

— Где ожидают? — Лизавета стиснула ридикюль, борясь с желанием немедленно бежать.

Что-то нашептывало: отступись.

И вправду, куда тебе в цесаревичевы невесты? На конкурс? Тебе уж двадцать пять скоро... самое время снять полосатое платьице, отдать сестрам, авось у них жизнь сложится, а твой удел — наряды бумазейные, скучного строгого кроя.

Вышивка.

И...

Лизавета моргнула: она ненавидела вышивать. Тетушку вот занятие это успокаивало, а у самой Лизаветы спустя десять минут страданий над пальцами появлялось неизъяснимое желание ткнуть кому-нибудь иголкой в глаз.

Титул махонький.

Собой невзрачная... красавица...

«Хватит», — сказала себе Лизавета, найдя силы взглянуть девице в глаза.

Снулые.

Серые.

Спокойные, как воды Невры-реки. И этакая характерная безмятежность, сколь помнила Лизавета, свойственна была лишь одному типу людей.

— Что ж. — Девушка моргнула, и глаза стали обычными.

Почти.

— Я рада приветствовать вас... Елизавета Гнёздина, если не ошибаюсь?

— Нет.

— Прошу, — менталистка — уровень пятый, если не шестой, что само по себе подозрительно, — указала на лестницу. — Полагаю, нам стоит продолжить беседу в более удобном месте.

— А стоит ли?

— Если вы хотите уйти...

Уйти Лизавета хотела, и даже очень, однако врожденное упрямство — ох, может, права тетушка, что мало Лизавету пороли, — не позволило ретироваться именно сейчас.

ГЛАВА 5

Ветер здесь пах черемухой. И аромат ее, теплый, летний, проникая сквозь приоткрытое окно директорского кабинета, будто приправлял собою чай.

Нет, чай был хорош.

Кабинет в меру роскошен — Лизавета сполна оценила эту кажущуюся скромность убранства. А владелица его внимательна.

Чересчур уж внимательна. Она сидела, удерживая хрупкую фарфоровую чашечку на раскрытой ладони, и разглядывала Лизавету. И ныне взгляд ее, пусть и живой, и лишенный былого презрения, был преисполнен самого искреннего любопытства, которое, к слову, пугало куда сильнее.

— Значит, всех так собеседуют? Зачем? — Молчание стало для Лизаветы невыносимым.

Госпожа Игерына — при свете дневном стало очевидно, что лет ей куда больше, чем показалось Лизавете внизу, — ответила:

— К нашему превеликому сожалению, оказалось, что некоторые... конкурсантки весьма легко внушаемы. А сами понимаете, в нынешних обстоятельствах мы не можем позволить себе победительницу... со столь явным недостатком.

Лизавета слегка наклонила голову.

В подобных обстоятельствах?

Это она... нет, конечно, слушок пошел сразу и как-то так даже окреп, утвердился... но получить подтверждение... почти прямое...

В работе своей она привыкла иметь дело с намеками, отчетливо понимая, что от собственно доказательств они весьма существенно отличаются. И сейчас... еще одно испытание?

Конкурс, кажется, будет не таким уж простым делом.

— И я прошла? — Хлопнуть ресницами, но не переигрывать. Обмануть менталиста подобного уровня невозможно, но... кто говорит о лжи?

Лизавета давно научилась играть с правдой.

И нет, она не дурочка.

И не наивна.

Она... обыкновенна. Главное, себя в этом убедить. Просто девушка, решившая попробовать силы. Почему бы и нет? Она ведь имеет право... по условиям конкурса... она...

Менталистка улыбнулась.

И подмигнула: мол, мне понятны твои игры, но я смотрю на них сквозь пальцы. Лизавета провела пальчиком по гладкому фарфоровому боку чашки: не стоит поддаваться.

Прием известный и при толике везения...

Их ведь учили держать ментальные щиты.

— Значит, вы решили попробовать свои силы? — Госпожа Игерына провела ноготочком по фарфору, и тот издал премерзейший звук.

— Я, конечно, понимаю... — Лизавета заставила себя сидеть спокойно.

Подобные шуточки менталисты частенько используют, чтобы разрушить спокойствие собеседника.

— ...что я, верно, не совсем соответствую образу... и, может, не так чтобы красива... но это ведь шанс...

Искренность.

И только она... это действительно шанс, и не только для Лизаветы — сама она давно уж смирилась с участью неприкаянной старой девы, — но и для сестер. Ульянка уже заявление подала. А как сияла, узнав... Тетка, конечно, заподозрила неладное, однако промолчала.

— Что вы. — Госпожа Игерына прищурилась. — Вы слишком строги к себе. Но я хотела бы знать, что вы всецело отдаете себе отчет... конкурс потребует от вас немалых сил, что душевных — это ведь не просто, что физических.

И вновь внимательный взгляд.

— Я готова. — Лизавета осознала, что она и вправду готова.

И не только ради денег, хотя они нужны, конечно, ведь, кроме Ульянки, и Марьяша подрастает. И тоже надеется, и никак нельзя ее этой надежды лишать.

А значит...

Ради них.

И еще отца, который верой и правдой служил отечеству. И ради матушки, верившей, что Лизавета обо всех позаботится, и ради себя самой.

Не юная?

Пускай.

Далеко не красавица?

Не важно.

Она сделает все, чтобы в конкурсе этом задержаться как можно дольше.

— Ваше настроение мне нравится, — сказала госпожа Игерына, доставая из стола пакет бумаг. — Будьте добры прочесть. Если что-то непонятно, спрашивайте. Как только подпишете...

Читала Лизавета быстро.

И подпись поставила недрогнувшей рукой.

Паковала чемодан — ужасающего великолепия вещь — под тетушкины причитания.

Ефросинья Аникеевна была, безусловно, женщиной предобрейшей, иная не стала бы возиться с сиротами, но при всем том совершенно обыкновенной, далекой от мира магического, и полагающей, будто истинное счастье порядочной девицы — удачное замужество.

И степень удачности определялась исключительно состоянием жениха.

Потому ей, смиренной и тихой, жизнь свою прожившей с мужем, родителями выбранным, были непонятны ни Лизаветины терзания, ни тем паче стремление ее отправить сестер на учебу. Учеба для девиц вовсе излишество, а уж денег стоит таких, на которых отличное приданое справить можно.

— Фома Ильич вновь заглядывать изволил, — со вздохом произнесла она, изгибаясь и заглядывая в глаза Лизаветы с непонятной робостью. — Спрашивал, не передумала ли ты...

— Не передумала.

В данный момент Лизавету куда больше беспокоили платья, коих набралось целых пять. Одно — полосатенькое, быстро приведенное в порядок, другое из темной плотной ткани, более подходящее для осени, летом такое не носят. Еще пара повседневных, прямого кроя и украшенных единственно теми же перламутровыми пуговицами. А последнее — с кружавчиками, совершенно легкомысленное и сшитое тетушкой в тайной надежде, что кружавчики эти смягчат неудобный Лизаветин характер, склонят сердце ее к жениху столь выгодному.

— Лизонька!

— Тетушка! — Лизавета тетушку обняла. — Мы уже говорили. Нехороший он человек, недобрый. И мысли у него поганные, и устремления от светлых далеки. И не надобно нам такого счастья, сами справимся.

— Он Ульянке пряничка принес, — пожаловалась тетушка, то ли ревность надеясь вызвать, то ли предупреждая.

— Скажи Ульянке, что такие пряники поперек горла встать могут. И вообще, ей не о пряниках думать надобно, а об учебе...

Тетушка вновь вздохнула, но перечить не посмела.

Она и супругу-то покойному, человеку военной выучки и привычек казарменных, никогда-то не возражала, полагая, что он-то знает лучше. А как не стало его, так и растерялась, и в растерянности этой прилепилась к братову семейству.

Ее не гоняли.

Не обижали.

Не полагали никчемною, каковою она сама себя считала втайне, — ни хозяйства не сберегла, ни детей народить не сумела, — но обходились со всем уважением. А что уж после приключилось... добрейшая Ефросинья Аникеевна втайне осознала, что сама она не справилась бы.

Лизавета...

Ах, такой крепкая рука нужна, и только где ж ее взять-то? И может, оно к лучшему? Пусть при дворе окажется, оглядится, небось там женихов — не то что в пригороде, один кривой, один хромой и два пропойцы горькие. Нет, авось найдет кого по душе...

Ефросинья Аникеевна постановила себе сходить в храм и свечку поставить.

За здоровье.

А еще к бабке одной заглянуть, про которую в околице сказывали, будто бы она на куриных яйцах гадать умеет, и так ловко, что все сказанное всенепременно сбывается. Что же до соседущки, то, положа руку на сердце, он и самой Ефросинье Аникеевне доверия не внушал, однако же... разве в Лизаветином возрасте перебираются?

Какой ни дюж, а все муж...

Но раз уж так...

— Ох, тетушка, как вы тут без меня? — Лизавета села на кровать и руки сложила. Накатило вдруг — сердечко застучало, забилося пойманной птицей, голова кругом пошла.

И рукам стало холодно.

А если... она никогда не оставляла свою семью надолго, да что там... стоило уйти, как поселялось недоброе чувство, что, вернувшись, кого-то да не застанет, что уйдет вдруг тетушка — она слаба здоровьем и сердечные настойки пьет, да только помогают они слабо.

Или сестрицы.

Или...

Страх был необъясним, и справляться с ним получалось, пусть и требовались для того немалые усилия.

— Справимся. — Тетушка села рядышком и по руке погладила. — А ты не бойся... ты у нас разумница... и красавица редкостная...

В том Лизавета крепко сомневалась и до сих пор, признаться, пребывала в немалом изумлении, что ее вообще к конкурсу допустили. Была она... да обыкновенна. Не слишком высока, но и не мала ростом. В меру изящна, пусть и не без некоторой угловатости, которую нынешние платья не скрывали, но будто подчеркивали. Тот же Фома Ильич не единожды выговаривал, что Лизавета себя не бережет, питается скудно, а оттого тоща без меры.

Плевать.

А вот лицо у нее чистое, хоть и рыжа волосом, но без веснушек. Веснушки-то обыкновенно через два сезона на третий в моду входят, но все знают — это лишь отговорки, никому не охота рябую жену...

Лизавета потрогала щеки.

Лицо ее остренькое, с чертами правильными, но не сказать, чтобы особенной красотой отличалось — вот губы пухловаты, а глаза округлы, и потому кажется, что она вечно чем-то удивлена.

Ресницы хороши, темные, пушистые. А вот сами глаза карие, темные, что вишня.

Но там, при дворе, красавиц соберется бессчетно... и куда ей тягаться с ними?

А хоть куда.

Она просто так не отступится.

Его императорское высочество цесаревич Алексей изволил скрываться и делал сие достаточно умело. Ему удалось пересечь Малую бальную залу, добраться до аркады и даже свернуть в западное крыло, оставшись незамеченным. А ныне в переполненном людьми дворце сие было немалым достижением. Право слово, знал бы, какой ажиотаж вызовет объявление о конкурсе, язык бы себе откусил, а не позволил бы...

— Ах, бабушка, право слово, я не знаю. — Княжна Одовецкая, до того дворцовой жизни избегавшая, остановилась у ближайшей колонны и туфельку сняла. — Меня это все изрядно утомляет... на охоту похоже, только вместо несчастного оленя — цесаревич.

— Перестаньте глупости говорить. — Бабушка княжны сама пребывала в годах, которые заставляли восхититься умением целителей.

Она и сама была не из последних.

И дочери сила передалась, правда, ее и сгубила, когда моровое поветрие случилось и молодая княгиня не сочла возможным отсиживаться в родовом поместье. Супруг ее, тоже целитель известный, перечить не стал.

Старшая княгиня вернулась лишь к похоронам.

Поговаривали, тогда она разом постарела на десяток лет.

Велела поместье сжечь, а со внучкой перебралась в какую-то северную глушь, едва ли не на хутор, то ли грехи неведомые замаливать, то ли искать средство от мора.

Вернулись, стало быть.

— Если бы короне это было не нужно, поверьте, никто не стал бы возиться. А что утомляет, так, дорогая, не думали же вы, что все в вашей жизни будет безумительно?

Девушка вздохнула.

— Понимаю, просто...

— Просто не будет. — Княгиня нежно погладила внучку по руке. — Но, Аглаюшка, подумай... когда еще такой шанс выпадет?

Лешек прижался к колонне, надеясь, что полога его отвращающего хватит, дабы остаться незамеченным. Не то чтобы он чем-то дурным занимался, но выходило неудобно, будто нарочно подслушивал.

— Таровицких я видела... они точно своего не упустят.

А при чем тут Таровицкие?

Что не упустят, верно сказано... давеча явились — и сразу к матушке, почтение, стало быть, засвидетельствовать. А заодно уж поднести драгоценных чернобурок, чаш малахитовых да прочего добра, дескать, чем богаты...

А богаты.

Старый род, хваткий, и Смута давешняя им будто бы на пользу пошла. Не только уцелели, но и добром обросли, большею частью соседским. Многие-то с мест насиженных срывались, бежали, опасаясь растерзанными быть, а Таровицкие сумели удержаться.

Маги они.

Огневики.

А там уж, после Смуты, и оказалось, что много усадебок ничейных или с наследниками малолетними, под вдовьими руками, а то и вовсе родственникам дальним отошедших — род Таровицких невелик был, но нашлось в нем место и вдовам, и сиротам...

Сироты повыврастали, но узы созданные не разорвались. Оттого лишь прибыло силы.

— А если мы ошибаемся? — тихо спросила Аглая, поправляя неудобную тужельку. — Если все было не так, как вы полагаете?

Княгиня вздохнула.

Сцепила тонкие полупрозрачные пальцы и тихо сказала:

— Я тоже не хочу ошибиться, дорогая. А потому просто смотрим. Ждем. И... ныне они всякую осторожность утратили, возомнили себя неподсудными, позабыли, что помимо человеческого и иной суд имеется...

А вот это уже было интересно.

И Лешек дал себе зарок затребовать с архива то самое старое дело. Не может такого быть, чтобы старая княгиня на пустом месте интриги развела...

ГЛАВА 6

— А ведь знаешь, — матушка приняховивалась к ароматной пудре, — в этом и вправду что-то да есть. Я помню Властимиру распрекрасно... Говоря по правде, не хотела ее отпускать — она одна меня встретила пусть без особой любви, но с уважением... а после уж... Сильная женщина.

Пудру из отделанной драгоценными камнями коробки матушка пересыпала в обыкновенную. Она была исключительно рачительной женщиной и в хозяйстве ее превеликом всему находилось применение, даже ядам, составленным столь хитро.

Мало ли как оно в жизни повернется...

— И историю ту помню, она меня изрядно удивила. Моровое поветрие, конечно, беда, но вот для двоих целителей высшего уровня...

Коробку она протерла шелковым платочком, который спрятала в рукаве.

Змеевне ли ядов бояться...

Мелкие чешуйки, проступившие было сквозь кожу, в нее и ушли. А императрица коснулась бледной щеки:

— Может, представиться больною?

— А конкурс?

— Твоя правда... позже, когда начнем, значит. Все равно не сразу подействует. А ведь тогда именно Дубыня Таровицкий разбирательство учинял. Ходили слухи, что поветрие не просто так началось. Дубыня к младшей Одовецкой сватался, только она отказала, выбрала мальчишку из простых, но с даром сильным. Одовецкие кровь всегда берегли. Они, чтоб ты знал, мужей в род предпочитали принимать, и не помню, чтобы слышала, что кто-то да не согласился.

Императрица похлопала себя по щекам.

— Дубыня и отписался, что оба преставились — магическое истощение, мор уж больно силен был. Я тогда не слишком в людях разбиралась, чтобы понять... Теперь вот, значит, и у нее сомнения. Скажи Митеньке, чтобы встречу мне с княгиней устроил, только тихую. И девочке надо будет защиту сделать... К слову, присмотришься...

— Мама!

— Мама, мама... — Императрица-матушка поправила роскошное ожерелье, в котором скрыто было с полдюжины амулетов. — Я тебе, охламону, добра желаю... исключительно.

В Царское Село, которое давным-давно собственно селом не являлось, Лизавета добиралась на конке. По ранешнему времени она была приятно пуста. Дремал на первом сиденье лохотный господин в слегка мятом костюме приятного желтого колеру. Сидели, взявшись за руки, гимназисточки, глазели на потрепанный Лизаветин чемодан и громко обсуждали классную даму, которая, однако, чересчур уж строга.

Ей самой удалось еще поучиться в приличного свойства гимназии, и воспоминания об этом времени сохранились у Лизаветы самые светлые, а вот сестры...

Гимназии стоят денег.

Но и при должном старании рекомендации дать могут для поступления, а там один шаг до государственной стипендии. С Ульянкой, конечно, поздно, но если получится, младшенькую можно будет устроить куда... в тот же Вдовый дом, к примеру.

Она вышла.

Поправила слегка сбившуюся шляпку, украшенную ленточками и атласными розочками, из старых лент крученными. Шляпки у тетушки выходили преочаровательные, однако Лизавету не отпускало чувство, что одного этого будет недостаточно.

Но разве легче было тогда, когда она горничной устраивалась? Стояла на коленях от рассвета до заката за сущие гроши?

Или тот раз, когда — страшно и подумать — в публичный дом проскользнула, правда, модисткою, но все же... Узнай кто, и Лизаветиной репутации придет конец. Хотя ее так и подмывало написать статейку о том мире, что скрывается за узорчатыми дверями. Сводни и мамочки.

Бланкетки, иной жизни не выдавшие.

И девицы почти приличные, скромно именовавшиеся камелиями. Стареющие смотрительницы домов, отчаянно боящиеся нищеты и старости. И уличные «билетницы», которые сгорали рано...

Не пропускают.

Даже Соломон Вихстахович с его любовью к скандалам поостережется затрагивать неприятную эту тему. Однако, может быть, когда-нибудь...

Лизавета отмахнулась от глупых мыслей и подхватила чемодан: о настоящем думать надобно. О том, что писать, ведь ждут же и вовсе не этих почти непристойных откровений, услышанных ею словно бы между делом. А как быть, если клиент уж больно охоч был до дармового — кто ж с санитарного смотрителя денег затребует? — молодого тела.

И, к счастью Лизаветы, тело предпочитал столь молодое, что это прямо нарушало царский указ.

Она остановилась у ограды.

А дальше куда?

Нет, ей велено явиться, она и явилась к назначенному времени, но кто встречает? Или... очередное испытание? Лизавета окинула взглядом чугунную ограду, оценив и немалую красоту ее, и высоту, и остроту шпилей. При нужде, конечно, она обошла бы... правда, тут идти пришлось бы долго, ибо Царское Село огромно, но что поделаешь... не может такого быть, чтобы в ограде этой не сыскалось махонькой калиточки.

Она для интересу поднесла конверт к воротам, но те остались закрыты. Контур охранный тоже не дрогнул, будто бы и не было тут Лизаветы. И что делать?

Охраны не видно.

И вообще никого, к кому можно было бы за помощью обратиться.

— Посторонись! — Крик заставил вздрогнуть и отскочить.

Вовремя — по дороге летел изящного вида экипаж, запряженный четвериком вороных. Стоило коням приблизиться, и ворота сами собой распахнулись, пропуская гостей.

И Лизавету.

Почему бы и нет? Приглашение у нее наличествовало, а что ворота не открылись... мало ли, бывает. Зато она мстительно усмехнулась: вот и тема есть для первой статейки, о гостеприимстве высочайшем.

Карета унеслась.

Ворота закрылись, благо закрывались они неспешно: Лизавета не только сама вошла, но и чемодан прихватить успела. Она уж не единожды пожалела, что согласилась принять такую монстру. Да, некогда, в счастливые времена тетушкиной молодости, чемодан, безусловно, был хорош.

Вместителен.

Надежен.

Рама из прочного дерева была обтянута темной кожей. Массивные замки блестели, да и сам вид такого чемодана — огромного, солидного — внушал безусловное почтение к хозяину его. И что с того, что кожа протерлась и потрескалась местами, а рама и вовсе слегка покривилась? Замки тетушка от ржавчины очистила и маслом натерла.

Весила эта монстра и сама по себе изрядно, а уж вместе с вещами...

Лизавета с тоской посмотрела на мощеную дорогу, уходившую куда-то вдаль. По обочинам ее росли каштаны, за ними простирались зеленые поля, где-то там, дальше, начинался парк, а уж за парком и дворец обнаружится... должен, во всяком случае.

— Тыфу на вас всех, — пробормотала Лизавета, подхватывая монстру.

Она прошла с десятков шагов и остановилась. Этак она и до вечера не доберется, а ведь ей обещали, что встретят, что ей главное — прибыть...

Точно напишет.

И похоже, с нужной толикой эмоциональности.

Споткнувшись, Лизавета едва не упала вместе с треклятым чемоданом. Эх, приделать бы к нему колесики... Она попробовала было монстру тащить, но та скрипела, скрежетала и грозила развалиться.

Дорога же по-прежнему была пустынна.

И...

Ах, дорогие мои читательницы!

Добравшись до заветных каштанов, Лизавета вздохнула, присела — благо для этой цели чемодан подошел как нельзя лучше — и смахнула пот со лба. Хороша она будет... красавица... растрепанная, взопревшая...

Если у вас есть экипаж и чин батюшкин, открывающий ворота Царского Села, то на конкурс вы придете в виде наилучшем. Тем же, кому не повезло, придется искать способ проникнуть за ворота, ибо обещанная встреча...

Чирикали птички.

Благоухали розы, правда, где-то вдали, но ветерок доносил чудесный аромат их. Место дышало покоем и безмятежностью.

Однако, памятуя, что труд всякий человека облагораживает, следует надеяться, что счастливицы, которым все же удастся преодолеть Каштановую аллею и добраться до дворца, изменятся к лучшему и получают...

Лизавета задумалась.

А что, собственно говоря, получают, помимо мозолей на руках и больной спины, ибо странно думать, что какая-нибудь несчастная конкурсантка явится сюда вовсе без багажа?

— Что вы тут делаете? — резкий голос заставил ее очнуться, и она поморщилась: еще и мысль преудачную спугнули.

— Отдыхаю. — Она развязала ленты и шляпку стянула.

Тетушка пришла бы в ужас, но проблема в том, что день выдался жарким, а Лизаветин веер, к слову, единственный, скрывался где-то внутри монстры.

Она помахала шляпкой.

— Здесь? — поинтересовался неизвестный, а Лизавета, положив шляпку на колени, юбку приподняла. Конечно, Царское Село — место такое... особенное, но она за свою жизнь насмотрелась всякого, а уж наслушалась... Не будет нормальный человек по кустам шариться.

— А нельзя?

— Отчего же... — В кустах зашебуршалось, а Лизавете удалось-таки подцепить ножичек.

Простенький.

Махонький.

Такой спрятать легко. Девки сказывали, что даже при полицейском досмотре при должном умении его сокрыть можно. Правда, места называли такие, что Лизавета краснела, чем вызывала у оных девок приступы смеха, мол, наивная.

Зато пользоваться научили.

Малафья, которая прежде в циркачках ходила, да сбегла с любовником лучшей жизни искать, с ножом обращалась, как иные благородные девицы с иглой. Всему не научила, но кое-что показала.

— Дурная ты, — сказала она снисходительно. — Пригодится...

И ножик она же подарила.

А Лизавета взамен платочек принесла, алыми розами расписанный.

Напишет.

Когда-нибудь. И про нее, и про других девиц, которых общество полагает отверженными, отказывая им не только в праве на маломальскую защиту, но и вообще на разум и чувства.

— Можно... — Мужчина выбрался на дорогу и отряхнулся. — Только здесь беседки имеются... в беседках отдыхать сподручней.

Прятаться в кустах — недостойно особы положения столь высокого. Так сказала бы матушка, немало гордившаяся титулом, хотя все знали, что получен он исключительно потому, что невозможно представить, чтобы царская кормилица к подлому сословию принадлежала.

Нет, она была хорошей женщиной.

Доброй.

Ласковой.

И обоих мальчишек любила той искренней любовью, за которую прощалось если не все, то многое. Она и умерла-то, защищая цесаревича, и отнюдь не из долга перед родиной, но лишь потому, что в голове ее не укладывалось, как это дитяtko тронуть можно.

Бесчеловечно.

И что с того, что дитяtko два десятка лет уж разменяло.

Князь вздохнул и затаился.

Матушка еще тогда, будучи живой, начала ему невесту подыскивать, перебирая девок придиричивей, нежели иной купец товар. Обычно робкая, стеснительная даже, она вдруг становилась иной, когда речь заходила о собственном ребенке. И нынешних девиц с их напористой наглостью, порой выходящей за рамки приличий, она бы точно не одобрила.

Девицы, заполонившие дворец, были милы.

Очаровательны.

Прелестны.

И порой глупы несказанно. Однако, что гораздо хуже, все до одной одержимы безумной мыслью выйти замуж. Лучше всего за цесаревича, потому как всем известно, вот-вот он шапку Мономахову примерит. А супруга его, стало быть, будет императрицей. Однако цесаревич один, а потому...

Впервые, пожалуй, ни репутация, ни происхождение низкое — а о нем, несмотря на титул и высочайшее расположение, помнили, — ни собственный дурной характер не отпугнули потенциальных невест.

— Ах, князь, — графиня Кизлявская закатывала очи и прижимала руки к груди, — вы та-а-акой умный...

— А вы такая красивая...

Девиц стало не просто много, как-то очень вдруг много.

Они терялись в коридорах дворца, умоляя о спасении. Словно случайно бы обнаруживались в местах, где им и находиться бы не положено. Падали в обмороки, жаловались на шебурушание и призраков. Многозначительно вздыхали или и вовсе норовили уцепиться за руку, будто бы предъявляя некие одним им известные права на свободу Навойского. И впервые, пожалуй, князь растерялся.

Не в подземелья ж их отправлять, право слово.

От графини ему удалось избавиться, перепоручив ее заботам какого-то дворцового бездельника, которых ныне тоже развелось больше обыкновенного: среди девиц имелись и неплохие, большей частью размером приданого, варианты. Однако на месте графини тотчас возникли княгиня... баронесса, и даже две, ревниво поглядывавшие друг на дружку...

И честно говоря, князь и сам не мог понять, каким таким расчудесным образом он оказался в зарослях шиповника. А шиповник здесь рос самого обыкновенного дикого сорту и потому был ветвист, шипаст и на редкость цепок. Зато девицы остались где-то позади, предпочитая держаться аллей и зеленых лабиринтов, где по чистой случайности — как иначе-то? — можно встретить подходящего жениха. А при должной толике смекалки и везении, без него-то в брачных делах и вовсе нечего искать, и вовсе обзавестись заветным колечком.

Колечек дарить князю не хотелось.

И ничего не хотелось, кроме как выбраться из зарослей, чем он, собственно говоря, и занялся, дав себе зарок более с девицами в беседы не вступать. И вовсе сообщить о своем отбытии, а самому личиной обзавестись... или нет, личина не пойдет. Девицы-то одаренные, а матушки их с нянюшками вкупе и вовсе опытные, мигом почуют неладное.

А вот если по стариночке? Усы приклеить. Паричок. Одежку победнее.

Князь мигом набросал портрет будущего себя: обыкновенного чиновника низшего класса. В меру подбострастного, слегка туповатого и, что куда хуже для чиновничьей карьеры, лишенного покровителя...

Такой точно интересен не будет.

Правда, додумать он не успел, ибо кусты вдруг поредели, и князь увидел выездную аллею, а на ней — очередную девицу, на сей раз сидящую. Сидела она на уродливого вида чемодане, явно знававшем лучшие времена, и мечтала.

Или думала.

Нет, эту мысль князь отбросил, редкая особа слабого полу к подобному приспособлена. А вот мечтать — это иное...

И что делать? Обратно в кусты лезть?

Во-первых, сие крепко ниже княжеского достоинства. Во-вторых, шиповник менее колючим не станет, а наряд его и без того изрядный ущерб претерпел. В-третьих... в конце концов, может, ей действительно помощь нужна.

Девушка почесала кончик носа и нахмурилась.

Была она не сказать чтобы совсем уж юна.

Мила, но не более того, а еще напрочь лишена того особого лоска, который возникает на девушках после тесного общения с дворцовыми мастерами красоты. Рыжая коса ее слегка растрепалась, и из-под шляпки торчали тонкие прядочки.

Одна к щеке прилипла.

Князь моргнул и покашлял, давая знать о своем присутствии. Но девушка даже не шелохнулась. Ногой качнула, рученькой махнула, осу назойливую отгоняя... Вот что она тут делает? На аллее?

Конкурсантка, что ли? А почему одна? Где мамка там или еще какая престарелая родственница, приставленная следить за моральным обликом? Или хотя бы компаньонка... и вообще кто-нибудь живой?

Князь нахмурился.

Одинокая девушка выглядела на редкость подозрительной. И потому, откашлявшись — в горле запершило по-настоящему, — поинтересовался:

— Что вы тут делаете?

Девушка подскочила, то ли от неожиданности, то ли эту неожиданность показывая, едва при том не сверзилась с чемодана.

— Отдыхаю, — сказала она, не скрывая своего раздражения.

— Здесь? — Нет, эта аллея, следовало признать, была ни чем-то не хуже предыдущих. В меру тениста, в меру очаровательна. Цвели каштаны, гудели шмели. Камни на мостовой поблескивали, будто намащенные.

— А нельзя? — Девушка сжала кулачок.

Она вглядывалась в заросли с на редкость воинственным видом.

— Отчего же, — вынужден был признать князь, выбираясь из зарослей. — Можно... Только здесь беседки имеются... в беседках отдыхать сподручней. А собственно говоря, вы кто?

— Лизавета. — Теперь девушка смотрела на него хмуро, явно не слишком радуясь знакомству.

— Димитрий, — представился князь, слегка поклонившись. — Вам не стоит опасаться, я...

Не причину вреда?

Как-то пошловато звучит. Впрочем, девушка тряхнула рыжею гривой и заявила:

— Я не опасаюсь. Я просто... — Она вздохнула и указала на чемодан: — На конкурс вот... сказали быть, я явилась... а никто не встречает...

Она стукнула по чемодану пяткою, будто желая пришпорить, но тот остался недвижим.

— Позвольте взглянуть на ваше приглашение?

Ситуация была по меньшей мере неоднозначной. А главное, приглашение девушка протянула. Настоящее. На гербовой бумаге, сдобренное печатью и личной подписью

княгини Игерьиной, которая была наилучшею рекомендацией.

— Гм, — сказал князь.

А девица вновь вздохнула и, убравши приглашение в ридикюль, произнесла этак задумчиво:

— Сдается, мне здесь не слишком рады...

ГЛАВА 7

Самый страшный человек в империи — а Лизавета сразу узнала князя Навойского — выглядел утомленным и несколько помятым. Оставалось лишь догадываться, что понадобилось князю в кустах — Лизавета отчаянно гнала прочь трусливую мыслишку, что он следил именно за нею, неким прехитрым способом догадавшись о ее с Соломоном Вихстаховичем планах.

Тогда ее просто не пустили бы...

И... целого князя для какой-то газетчицы... нет, это чересчур.

Но князь был.

Стоял вот, разглядывая Лизавету. И выражение лица такое непонятненькое, на нем и скука, и легкая брезгливость, и раздражение... а сам-то вовсе не так уж и грозен.

Тошеват, конечно.

Угловат.

Грубоват с лица. Оно вовсе какое-то неправильное, будто наспех сделано. Нос массивен, и переносица дважды искривлена, отчего нос глядится размазанным по лицу. Нависает он клювом над узкими губами. Щеки впалые.

Скулы острые.

А подбородок и вовсе тяжелый, будто у другого человека украденный. Вот глаза светлые у него, добрые... Лизавета моргнула, избавляясь от морока.

Добрые?

Какая доброта у этого... этого... опричника? Помнится, в прошлом году он самолично княгиню Михайловскую задерживал и препроводил не в Белый стан, куда издревле помещали особ дворянского звания, а в самую обыкновенную тюрьму.

Скандал был страшный...

После, сказывали, лично и удавил Михайловскую. А состояние ее немалое реквизирует в пользу казны.

И бунт на Воложке он усмирят, а бунтовщиков, сказывали, лично казнил, хотя мог бы перед расстрельной командой поставить.

И еще...

— Гм... — Князь потер подбородок, на котором проступила темная щетина. Вот ведь, сам мастью светлый, а щетина темная... может, красится?

Мысль определенно была прекрамольнейшей.

— Интересно, — приглашение Лизавете он вернул и, окинувши взглядом аллею — а взгляд переменялся, сделался цепким, превнимательным, — сказал: — Позвольте вас проводить?

Лизавета кивнула и, вспомнив тетушкины наставления, ответила:

— Буду вам премного благодарна.

И слезла с чемодана. А князь его подхватил, и этак с легкостью, которая заставила Лизавету взглянуть на него по-новому. Это ж откуда подобная силища? И главное, росту в нем не сказать чтобы много. Лизавета с ним вровень, а это еще каблук низкий, если туфли другие взять и прическу сделать, то и повыше будет.

— Прошу. — Князь указал на аллею, которая уводила куда-то вдаль. — И приношу свои извинения за это... недоразумение. Виновные будут наказаны.

И произнес он это так, что воображение мигом нарисовало вереницу лакеев, выстроившихся на эшафоте. Правда, Лизавета мигом себя одернула: сатрап или нет, но в просвещенном двадцатом веке за такие малости не казнят.

Наверное.

Идти пришлось долго.

Аллея, видать, все ж предназначалась для экипажей, а не пеших прогулок. И князь притомился. Нет, виду он не показывал, но сопел, а на лбу проступила испарина. Монстра, мало того что тяжела была, так — Лизавете ли не знать — жуть до чего неудобна.

— Ох, — она вздохнула и остановилась. — Простите... у меня туфли натирают... позвольте немного...

Князь позволил.

И чемодан оставил. И поинтересовался даже:

— Зачем вам конкурс?

Над ответом — а Лизавета точно знала, что кто-нибудь да задаст неудобный этот вопрос, — она думала. И не придумала ничего лучше:

— Жениха найти. — Она хлопнула ресницами и доверительно этак продолжила: — Понимаете... мне скоро двадцать пять, а для девушки это возраст, когда пора всерьез задуматься о будущем...

И главное, тут взгляд опущен.

Реснички трепещут.

И румянца хорошо бы стыдливого, но с румянцем у Лизаветы никогда не ладилось. Вот такая она уродилась... безрумяная.

— Я сирота... и приданого нет...

Князь слушал.

— И все-таки я надеюсь, что здесь... быть может... сыщется кто-то, кто... понимаете?

Князь кивнул.

Ага... а теперь вздохнуть горестно.

— Я должна была попробовать...

И снова кивнул. И, подхватив чемодан, предложил:

— Идемте? Здесь уже недалеко.

Передав рыженькую девицу — все-таки менее подозрительной она не стала, и князь дал себе слово всенепременно связаться с Игерьиной и поинтересоваться о личных ее впечатлениях — на руки Магдалине Францевне, старшей камер-юнгфере ее императорского величества, с наказом устроить, князь решил заняться другим делом. И пусть выглядело оно пустяковым, но репутацию могло изрядно подпортить.

Вызвав камер-фурьера, он затребовал журнал.

А заодно и побеседовал, ласково, само собой. И как ожидалось, новость почтеннейшему Илье Лаврентьевичу пришлась крепко не по душе. Стоило отпустить его, как зычный бас понесся по дворцовым коридорам, заставляя многочисленную прислугу замереть. Дело свое Илье Лаврентьевич знал, а потому не прошло и часа, как пред князем предстала пара лакеев.

— Из новых, паразиты этикие! — Илья Лаврентьевич, дюже оскорбленный неуважением, которое новенькие оказали императорским гостям, весь испереживался. Белая борода его, разделенная надвое, топорщилась. Блестели очки и многочисленные награды. А стек похлопывал по коленке. — А ведь братъ не хотел... как чуял... скажите матушке, что конкурсы — дело хорошее, но упреждать же надобно... челядь достойную поди-ка подыщи. Тут же никого не хватает... одних ламповщиков надобно еще с десятка два, а кроме них и ездовые, и вестовые... и комнатные девки...

Он продолжал перечислять, загибая и разгибая толстые пальцы, жалуясь и на гостей, не желавших войти в положение и требовавших внимания, порой чересчур уж требовавших, полагавших, будто весь дворец существует едино для их нужды. И на слуг нерасторопных...

Или вот продажных.

— Пятьдесят целковых, — произнес Илья Лаврентьевич, падая в креслице. — Я ж их... за пятьдесят целковых... а мне доложил, что не явилась барышня... и вчера... и третьего дня... мне бы, старому, подумать, с чего вдруг ни одна не явилась...

Князь закрыл глаза.

Началось.

И надобно будет свериться со списком, выяснить, кто не явился и по какой причине.

— Вы уж разберитесь, пожалуйста. — Илья Лаврентьевич отер испарину платочком. — И матушке... матушке я сам доложусь... повинюсь как есть... пусть отставку...

Не дадут ему отставки, о чем старый шельмец распрекрасно знает. Может, кроме него и есть при дворце камер-фурьеры, да те младшие, всех хитросплетений местной жизни не ведающие. А без Ильи Лаврентьевича с гостями нынешними не справиться.

Да и вовсе...

— Успокойтесь, — велел Дмитрий, руки потирая. — Этих двух мне оставьте, а матушку... ни к чему ее беспокоить. Сами разберемся. Вы только...

— Не повторится! — Илья Лаврентьевич тяжело поднялся. Остановился в дверях, будто задумавшись, и произнес: — Оно-то, конечно, не моего ума дело... вы уж не серчайте, если что... однако, мнится, вам знать не помешает... ходит слух, что вы в немилости у батюшки нашего...

В немилости?

Собственно говоря, почему бы и нет? С планом Дмитрия это вполне увязывалось. И князь кивнул, позволяя слуху этому обрести жизнь, а с нею и подробности.

Сам же лакеями занялся.

Получилось простенько и мерзенько. Всего-то и надобно было, что встретить девицу, пусть сословия благородного, но чинов небольших, и забрать приглашение, ответивши, что, мол, ошибка вышла.

Или и вовсе не встретить.

Но тут уж и вправду ошибка вышла, не поделили между собою рубли, зазевались...

— Кто платил? — ласково поинтересовался князь.

Лакеи переглянулись.

Так оно разве ж упомнишь... дамочка, но при маске, при плаще... им-то оно в лицо вглядываться ни к чему, им бы свой интерес соблюсти.

— На каторге сгною. — Без особого вдохновения получилось, но поверили. Упали на колени, каяться стали, божиться, что, мол, бес попутал, а больше-то они ни в жизнь так не будут...

Конечно, не будут.

Илья Лаврентьевич проследит, чтобы красавцы эти ни в один приличный дом не устроились. Что ж... старик был памятливым, злоязычен, а уж игр за своей спиной и вовсе не терпел.

В матушкиных покоях, несмотря на летний денек, было натоплено. Полыхал огонь в печи, гудел, грея воздух, и без того раскаленный.

Лешек чихнул.

А императрица взмахнула рученькой, отпуская взопревших дам, которые скоренько удалились. Были они одинаково краснолицы и потны, одна и вовсе едва не сомлела в дверях, но была подхвачена фрейлинами. Те-то пообвыклись и от жары не то чтобы не страдали, скорее уж обзавелись правильными амулетами.

— Проходи, Лешенька, — слабым голосочком произнесла императрица, — порадуй матушку...

— Все ж прихворнуть решили? — Лешек с удовольствием открыл бы окно, пусть свежий ветер выметет из покоев матушкиных эту удушающую смесь благовоний, притираний, ароматных вод и чужого пота. Императрица же, присевши на перинах, потянулась.

Зевнула.

Зажмурилась.

Она-то аккурат жару не то чтобы любила, но переносила куда проще, чем обыкновенные люди.

— Присядь куда... и что с Одовецкими?

— Я взял на себя труд, руководствуясь единственно заботой о вашем, матушка, здоровье...

Она отмахнулась, уточнив:

— Когда?

— Да ныне же вечером... она, как мне показалось, не слишком рада была.

— Старшая?

— И младшая тоже... нет, глазки в пол, лепечет какие-то глупости, но опыта не хватает. Любопытство выдает. И что-то еще есть. — Лешек пальцами щелкнул. — Не могу понять...

— Плохо, что не можешь. — Матушка отобрала у него кубок с водой, которую выплеснула в горшок с волчьецветом.

Что сказать, вкусы у императрицы-матушки были преспецифические.

Ягодку вызревшую сняла.

В рот отправила.

Зажмурилась.

— Кисло, — пожаловалась позже. — Что-то меня вовсе приворотными перестали жаловать. Аль подурнела?

— Матушка!

Нет, он знал, что на матушку время от времени пытались воздействовать, но приворотное...

— Что? — Она тронула тяжелые косы, которые ныне обрели оттенок белого золота. — Лешек, ты же большой мальчик, понимаешь, на что способна влюбленная женщина...

Оно-то верно, его и самого время от времени опоить пытались.

— Нет, дорогой. — Императрица ущипнула его за щеку. — И ядов больше не шлют, и чары попридерживают. Затаились, а это нехорошо...

Он вздохнул и пожаловался:

— Женить хотят...

— Ироды какие, — посочувствовала императрица. А глаза смеялись. И сама она будто сияла, такая хрупкая, такая легкая... обманчиво легкая. Лешек, еще будучи дитем горьким, развлекался, пытаясь поднять золотые косы. И что у батюшки выходило просто, ему не давалось.

— Матушка... они все будто сговорились... только войду куда, одна половина ахает, другая охает. Кто-то всенепременно сомлеет и так, чтобы в ноги рухнуть... я уже притомился их ловить.

— Не лови, — разрешила матушка.

— А скажут что?

— Дурачку простительно.

Лешек засопел. Оно-то верно, и придумка эта, с царевичем ума недалекого, которым вертеть легко, его была, но ему мнилось, что поиграет месяцок-другой, а после...

Третий год пошел.

Уже и сам привык.

— Ты лучше к Таровицким присмотришься. — Матушка сорвала вторую ягодку, облизала пальчики и сказала: — И к Вышнятам... они давненько при дворе не показывались, еще когда батюшка твой меня привез, крепко обиделись. Прочили свою Гориславу ему в жены...

Эту историю Лешек тоже знал.

И про верного Гостомысла, некогда стоявшего еще при комнатах покойного государя камер-казаком. Происходивший из рода древнего, но обедневшего, он сам дослужился до высокого звания. Гостомysl Вышнята был горд.

Беден.

Храбр до безумия.

И беззаветно предан его императорскому величеству. Однако одной преданности оказалось недостаточно.

Лешек знал, что Гостомysl и иные люди предлагали дядюшке побег, готовили его, уговаривали, однако... почему он отказался?

Поверил бунтовщикам, что отречения довольно?

Или, напротив, не поверил, что казнят всех?

Как же... императрица-то невиновна, наследник мал и слаб, а цесаревны и вовсе от политики далеки. За что их стрелять было? Ах, батюшка сказывал, что братец его старшенький был хоть и государственного ума, но слаб, и доверчив, и боязлив, что уж вовсе царю немощно. И чуялось, что до сих пор не простил его, такого бестолкового, расплатившегося за ошибки жизнью, и не только своей.

Больная была тема.

Живая.

Что язва.

Как бы то ни было, узнав о казни царского семейства — а бунтовщики и не думали скрывать злодеяние, видя в том бессмысленном кровопролитии некое извращенное подобие подвига, — Гостомысл взъярился.

Он сумел каким-то чудом собрать вокруг себя гвардию.

Поднять казачество, оставшееся без головы, а потому еще более опасное, нежели бунтовщики. Он усмирив купцов и взяв в руки армейских. Карающим мечом пронесся по Везнейскому тракту, осадил Северполь и Кустарск. Устроил взрывы на пороховых складах бунтовщиков и сровнял с землею заводы купца Османникова, прослышавши, что тот вздумал задружиться с новой властью.

Он жег.

Вешал.

Стрелял. Он оставлял за собой вереницы мертвецов, движимый лишь яростью, и только бледная его сестра, сопровождавшая брата во всех походах, невзирая на тяготы, — отпустить Гориславу он не решался, уж больно много попадалось на пути его разоренных усадеб, — обладала удивительной способностью умирять крутой нрав брата.

Ее-то и пророчили в жены батюшке, когда тот объявился.

Лешек знал, что корону предлагали и самому Гостомыслу, но он этакий подарочек отверг с гневом: мол, государству служит и царю, а стало быть...

Обиделся.

Как есть обиделся, ибо батюшка, еще молодым будучи, на Гориславу поглядывал с нежностью и того не чурался признавать. Сказывал, уж больно хрупкою она была, что цветок весенний, такую хочется оберегать и лелеять.

И женился бы, тут думать нечего, когда б судьбу свою не встретил.

И говоря о том, на матушку поглядывал, а она розовелась совсем по-девичьи...

А Вышнята не простил.

На свадьбе был, оно и верно.

И титул княжеский из рук новопровозглашенного царя принял с благодарностью. И от земель отказываться не стал. А вот на прежнее место не пошел. Отговорился, что, мол, плохим он был камер-казаком, раз не уберег своего императора...

Да и притомился.

Пусть другие служат... неволить Гостомысла не стали.

Отбыл он поместье сожженное восстанавливать и сестрицу с собою забрал. Сказывали, что женился в самом скором времени, причем не на княжне или графинюшке, которых ему сватали во множестве, спеша заручиться через него царскою милостью, но на девице вовсе худородной.

А Горислава... что с нею стало, Лешек не знал.

Дочку Вышняты он приметил и без матушкиного намеку. Уж больно та выделялась среди прочих девиц вовсе не девичьею статью. Была высока. Стройна, едва ль не до прозрачности худощава. Да и во всем облике ее имелось нечто инаковое, заставлявшее прочих девиц в стороне держаться.

Надо будет познакомиться поближе...

— Надо, надо, — поддержала императрица. Выходит, вновь заговорил вслух? А матушка знай усмехается, только взгляд презадумчивый. И о чем думает, Лешек понимает распрекрасно: такими людьми, как Гостомysl Вышнята, не бросаются.

И раз решил он с царем замириться — а иначе б и дальше в глуши своей сидел, — так тому и быть... Может, сестра не стала императрицею, так хоть дочка корону примерит?

Лешек вздохнул.

И ягодку принял. Сунул в рот и скривился: и вправду, кисла она была, что доля царская.

ГЛАВА 8

Устроили Лизавету в комнате не сказать чтобы большой, но чистой и светлой. Окошко выходило в сад, правда, в ту часть его, которая казалась вовсе одичалой, ибо клумбы с газонами и лабиринтами расположены были по другую сторону дворца, но Лизавете так понравилось даже больше.

В комнатухе — она и вправду не намного больше тетушкиной, вот удивительно, что в царском дворце имеются и такие скромные покои, — нашлось место для кровати с балдахином, ноне подвязанным атласными бантами, махонького туалетного столика и вполне себе удобного с виду кабинетного стола со многими ящичками. Лизавета не удержалась и сунула в них нос. Нашла, правда, лишь бумагу, перья и чернила. А еще запас свечей и восковые палочки.

Преумилительно.

А если...

Она воровато оглянулась на дверь, даже выглянула наружу, убеждаясь, что коридор пуст, и вернулась к столу. Уселась. Провела ладонью по теплomu дереву — наборное и хитрым узором сделано, будто переплелись светлые и темные ниточки.

Красиво.

За таким и писаться должно легче... О чем? А хоть бы о встрече, как и планировала. Не статью — так, коротенькую заметочку.

Она вытащила лист. Погладила. Придавила чернильницей — массивной, из темного агата вырезанной, дома такой красоты у нее не было, возникло даже преподлейшее желание сунуть чернильницу в чемодан, но Лизавета себя преодолела.

Перышко покусала — так ей всегда думалось легче.

И...

В дверь постучали.

— Войдите, — вздохнула Лизавета, перо откладывая. Успеется... глядишь, еще впечатлений наберет, раз уж ее за ними отправили.

Вошла девчонка совсем юных лет, присела неуклюже и, глядя в пол, пробормотала:

— Меня туточки... к вам отправили... служить.

Говоря по правде, Лизавета растерялась. Оно-то, конечно, с прислугой сталкивалась, но большею частью с чужой, к которой приходилось искать особый подход. А вот чтобы служили самой Лизавете... и как себя вести положено?

Девчонка стояла, все так же пол разглядывая. Лизавета тоже посмотрела на всякий случай: пол был хорош, паркетный, узорчатый и натерт до блеска. В комнате, если принюхаться, до сих пор запах воску ощущался.

— Я... рада, — сказала Лизавета, положивши руки на колени.

Спину выпрямить.

Подбородок поднять... матушка манерами ее озаботилась, да и в университете этикет преподавали, к превеликой, казалось тогда, печали.

— Если чего надо...

— Пока не надо.

— Там колокольчик стоит. — Видя, что гневаться Лизавета не собирается, девчонка успокоилась. — На меня зачарован. Потрясите, и услышу... прибегу скоренько, вот вам крест!

И широконыко так размахнулась, крестясь.

— Хорошо.

Лизавета подумала, подумала и... в конце концов, разве не прислуга была для нее основным источником информации? Разве не убеждалась она, что люди, которых стоящие при власти полагают ничтожными, многое видят и порой знают о хозяевах куда больше, нежели оные хозяева себе вообразить способны.

— Как тебя зовут?

— Руслана я, — вздохнула девица. И поспешно пояснила: — У меня матушка из турок, а батюшка наш. И крещеная я!

Она вновь размашисто перекрестилась.

— И не думайте, воровать не стану... вот вам...

— Верю, — прервала Лизавета. — Давно ты при дворце?

Руслана помотала головой.

Оно и понятно, небось с наплывом красавиц возник немалый дефицит в прислуге, иначе б в жизни ей, полукровке с именем слишком чужим, чтобы не настораживало оно, не попасть в подобное место.

Да и теперь...

— Кто устроил сюда?

Щеки Русланы вспыхнули румянцем, и Лизавета поняла, что угадала верно.

— Не волнуйся, нет в том ничего дурного. Небось будь ты недостойна, не взяли бы на место. И протекция не помогла бы...

Руслана вздохнула.

И созналась:

— Дядька у меня тут... ламповщиком работает при покоях цесаревича.

Лизавета покивала: большой человек. Может, не столь большой, как лакейские, а все одно важный, по нынешним-то временам, когда керосиновые лампы сменились электрическими, то и вовсе незаменимый. Потому и согласился камер-фурьер на махонькую просьбу, принял племянницу, правда, пристроил ее к девице поплоче, небось надеясь, что капризничать та не будет.

Лизавета и не собиралась.

Цокнула языком и сказала:

— Сложная у твоего дядюшки работа... умный он, должно быть.

От похвалы Руслана расцвела. Защебетала... и как-то сама вот, легко...

Дядька у нее не просто умный, а страсть до чего умный. Он прежде мастерскую-то держал, чинил и лампы, и игрушки, какие приносили. И сам делал. Вот Руслане сделал такого медведя, которого заводил ключиком, и он бревно будто бы пилит. А уж после дядьку заприметили и сюда пригласили.

Сперва-то соседи не больно верили.

Где это видано, чтобы человек подлого сословия да в царский дворец без протекции попал? Думали, погонят, только нет, дядюшка скоренько пообжился. Он и уважительный, и из себя весь серьезный.

Ему форму выдали.

С шинелькой и сюртуком таким. Как родителей навещать приходит, то прямо вся улица ихняя сбегается поглазеть. И девки вьются перед дядькой, только он на них не глядит, потому как знает: балаболки. Раньше-то посмеивались, дурачком полагали, только теперь всем видно, кто взаправду умный.

Сама Руслана что?

Нет, грамоте ее обучили, хотя маменька и не радовалась, когда в приходскую школу позвали. Она-то сама читать-писать не умеет — у них там иначе все, а Руслане нравилось в школе. Правда, там смеялись, дразнились немыткой, а у нее кожа темная просто.

С рожденья.

Руслана ее и крапивным листом мыла, и молоком терла, только... дядька смеялся. А после сам тятеньке предложил, чтоб Руслану ко дворцу отдал. Мол, пристроит куда, скажем, на кухню или еще... работа, конечно, нелегкая, однако же платят немало. Скоренько себе на приданое скопит. А коль на хорошем счету будет, то и туточки жениха себе сыщет.

Дворцовые-то приучены своих брать.

Тятенька сперва не хотел.

Только у Русланы сестер семеро, небось на всех сапожник не заработает. И сама она притомилась дома: шумно там. Сестры то кричат, то плачут, то косы дерут, то мирятся... Маменьке помогать надобно. Дом убирать надобно. Порядки блюсти. Готовить.

За меньшими глядеть.

Зулейка-то просватана, сидит, ничегошеньки не делает, матушка ее бережет, любимицу. И Фаине с Фирузой работы не дает: к одной купеческий приказчик повадился захаживать, а на другую и вовсе городской поглядывает с немалым интересом. Они-то красивые... а Руслана — так себе.

Дворец?

Нравится, конечно. Как тут не понравиться... и вовсе не на кухню взяли. Сперва комнатным женщинам помогала, особенно одной, Аглае Никитичне. Она-то строгая, и рука у нее крепехонька. Одного разу, когда Руслана еще только-только пришла и местных порядков не ведала, так за уши оттащила, что Руслана думала — вовсе оторвет. Но за дело, конечно... а так справедливая.

Она за Руслану просила, чтоб приставили к кому.

И советом всегда поможет...

Красавицы?

Ага, как только слухок пошел, что конкурса эта будет, то и стали съезжаться... как? Да кто как... одни вон с мамками и няньками, со сродственницами бедными, которые в услужение поставлены, с девками дворовыми, лакеями... иные и с выездами собственными. Но это у кого покои дворцовые есть, а другие-то попроще... вон княгиня старая Одовецкая с внучкою своей явились. Покои им преогромные поставлены, а при княгине лишь кормилица старая, которая едва-едва ноги переставляет. Только, конечно, им скоренько выделили и гардеробщика, и двух комнатных, и лакея... говорят, что цесаревич на Одовецкой женится.

Или на Таровицкой.

Та-то красавица редкостная. Глянешь — сердце обмирает... Руслана видела? А то, все дворцовые выходили поглядеть, кто так, а кто тишком, хоть издали. Но она добрая, Тарасика, кухонного мальчишку, который под ноги почитай выкатился, рублем одарила. Он теперь этот рубль за щекою носит, чтоб не сперли. А Солнцелика... ага, так ее называли...

Красиво.

Страсть.

Она лицом бела-бела. Губки красные, что малиной мазанные. Глаза синие-синие... и волос золотой, почти как у императрицы... только у императрицы золото настоящее, а...

Руслана ойкнула и рот руками зажала.

— Золото? — Лизавета сунула палец в ухо. — Золото — это красиво... у меня вот рыжие.

Она дернула за локон, который выбился из прически. Никогда-то их не способны были удержать ни шпильки, ни воски, ни даже специальная сетка, которую следовало надевать на ночь именно во усмирение волос. Сетку тетушка презентовала, и Лизавета честно проспала в ней несколько ночей, получивши наутро изрядную головную боль, но и только.

— Ой, барышня... — Руслана явно смутилась, хотя не понять, с чего бы. — Я шла вас звать до обеда... сами все и увидите.

Императрица-матушка, устроившись на низеньком стульчике, чесала волосы. Нет, конечно, для того у нее существовали свои, особо доверенные люди, но все одно привычное ощущение гребня в руках успокаивало. А на сердце было... неладно.

Это ложь, что змеевны сердцем холодны.

Недоброе затевается.

Опасное.

Скользит гребень, будит живое золото, и коса наливается знакомой тяжестью. Того и гляди, коснутся голой земли волосы и упадут под власть батюшки строгого. Нечего думать, пусть и лет прошло изрядно, да не простил побега Великий Полоз.

У него-то как раз сердце каменное, не разжалобить слезами, не растопить горячею душой.

И потому нечего звать.

И о помощи не попросишь.

Точнее, попросить-то можно, и придет он, но цену назначит... императрица прикусила губу. И сама же к двери повернулась, встречая гостью.

— Вечера доброго, Властимира, — сказала она сердечно и руки протянула, коснулась холодных ладоней княгини. — Я несказанно рада видеть тебя вновь.

И ударилось, застучало сердце человеческое.

— А ты по прежнему хороша, змеевна... — Властимира знала правду.

И молчала.

Столько лет... раскрой она рот и... многие заплатили бы ей за правильные слова. Змеевым детям среди людей не место... но молчала. Не стоило обманываться: не из любви к императрице, но из понимания: ничего хорошего новая смута не принесет.

— Такова наша судьба. — Императрица протянула гребень. — Хочешь?

И Властимира приняла.

Коснулась волос сперва с робостью известной: тепла была сила золотая, но и переборчива. Не к каждому человеку шла, однако на руки Властимиры отозвалась.

— Спасибо...

Многое Великий Полоз дал детям своим.

Не старела императрица.

Не считала времени, разве что вместе с любим, ибо знала: наступит однажды срок уходить, пусть не с ним, но от дома опустевшего. Уйдет Александр, тогда-то и не удержат вес золотой косы палаты царские, и сынов голос не перекроет зова отцовского...

Она знала.

И готова была. И не боялась отнюдь, ибо там, в царстве подземном, была и ее сила, которая и ныне, ослабленная, замороченная, но все ж тянулась к хозяйке. И к людям... люди были теплы, не все, конечно, но вот княгиня Одовецкая была из тех редких, кого сила привлекала.

А раз так...

Почешет княгиня императрице волосы и, глядишь, прибавит здоровья. Забьется ровней уставшее сердце, морщины сами собой разгладятся, и тьма, душу окутавшая, если не развеется, то все ж перестанет казаться вовсе непроглядною.

— А он...

— Неужто я своего мужа не сберегу? — ответила на невысказанный вопрос императрица.

А княгиня пожала плечами. Не то чтобы нелюди не верила, но...

— Слухи ходят... не верить?

— Не верь.

— Но молчать?

— Молчание — золото, у вас ведь так говорят, верно?

— А у вас?

— У нас золото поет. Оно разным бывает... в синих горах Аль-Агуль рождаются алые жилы, сперва они как кровь человеческая, но после цвет остывает, однако огонь не уходит никогда. Это золото тянется к людям... и тянет кровь. Злое оно... а есть светлое, лунным теплом укрытое... или вот темное, у него голос глухой...

— Скучаешь? — Княгиня отложила гребень.

— Порой... Здесь все иначе.

— Не жалеешь?

— Нет, — на этот вопрос императрица-матушка ответила давно, да и отвечала себе вновь и вновь, особенно в те долгие зимние ночи, когда сны ее тревожил все тот же лунный свет. Проникал он сквозь узорчатые стекла, просачивался сквозь мягкие складки портьер и пробирался в сны.

Он тревожил память.

И ныла она, ныла... разливала молочные воды Алын-озера, и камень, на котором змеевна любила сиживать в девичестве, выглядывал из воды. Одинок он был. И озеро тосковало. Не растекались по нему золотыми змейками пряди волос, не играли в них безглазые подземные рыбыны, украшая бисером жемчужным. Не трясли драгоценною пряжей пауки-вдовицы, норовя укутать обнаженное тело змеевны...

И жилы осиротевшие звенели сотнями голосов.

Звали.

Ждали.

Когда-нибудь да дождутся. Короток век человеческий, и сколько ни дли его, но рано или поздно оборвется нить. Тогда и... Может, будь она человеком, подобная мысль и мучила бы, но императрица с привычной легкостью отмахнулась от ненужных сомнений.

— Так зачем позвала? — Властимира разглядывала руки свои, которые были белы да гладки. Провела ладонью по ладони, ласкаясь.

Вздыхнула.

— Узнать хочу, нужна ли помощь.

— Помощь?

Императрица отвернулась от зеркала, выращенного ею еще тогда, много лет назад. Немного неровным вышло по краю, но так даже лучше.

Драгоценные друзья поблескивали.

Или вот светили.

— Мне следовало предложить ее много раньше, но... я плохо знала людей. Мне сказали, что ты захотела уйти, и я дала тебе свободу. Однако сейчас понимаю, что следовало предложить иное.

— Что же?

Властимиру зеркало отражало, правда, иную, ту, которую помнило: чуть моложе, и с волосами, лишь тронутыми сединой. Нынешняя вся была бела, но спину держала ровно. И взгляд светлых глаз ее — точь-в-точь водица в клятом озере — оставался безмятежен.

— Помощь. Защиту тебе и твоей крови. Дом... не знаю. Просто спросить, чего ты желаешь...

— А если мести? — Властимира слегка склонила голову.

И отражение ее пусть и несколько неспешно, но повторило жест. Будто одолжение оказывало.

— И мести тоже.

К мести императрица относилась с немалым уважением: все ж змеевы дети память имели предолгую, особенно на обиды учиненные.

— Расскажи, ты полагаешь, будто Таровицкие виноваты?

И Властимира вздохнула.

Провела ладонями по лицу, словно снимая маску холодной, уверенной в себе женщины. Та, что ныне предстала перед императрицей, несомненно, была больна. Чем? Императрица затруднилась бы сказать. Она чуяла муку, терзавшую сердце, и сомнения, и многое иное.

— Я... не знаю. — Властимира, не дожидаясь дозволения — всегда-то она отличалась вольным характером, — присела. Взяла со стола яблоко. Принюхалась. — Если бы я была уверена... я бы... не стала так долго ждать.

Яблоко она покатила с ладони на ладонь.

Отерла о темное платье.

Коснулась губами, будто целуя налитой полосатый бок, и уронила внезапно ослабевшею рукой.

— Что произошло?

— Не знаю...

— Но Таровицкому не веришь?

— Он прибрал к себе наши земли... соседка, чтоб его...

— Спросить ответа?

— А и спроси. — Княгиня яблочком любовалась. — Все одно узнает, что к тебе ходила, а так причина какая-никакая...

Императрица кивнула. Верно, ни к чему князя попусту волновать, если за ним есть грехи посерьезней, то... Одовецкая от своего не отступится. А та не спешила приступать к рассказу...

— Он ведь Ясеньку мою и вправду любил... так мне думалось. И да, было время, я, грешным делом, думала, сладится все... Довгарт тоже Ясеньку привечал... невестушкой называл.

— А она?

— Сперва не против была... они с Дубыней друг друга давно знали, почитай, с малых лет вместе. Рядом, все ж места такие, где за соседей держишься, и с Таровицкими мы не одну сотню лет рядом прожили. Даже... впрочем, не важно, — вздохнула, коснулась полупрозрачными пальцами виска. — Все не могу отделаться от мысли, что, выйди она за Дубыню, ничего б не случилось...

— Или случилось бы. — Императрица коснулась драгоценного зеркала, и плотная каменная поверхность его дрогнула, пошла рябью, показывая Дубыню Таровицкого.

Хорош.

Волос темный. Лицо гладкое. Черты островаты, и чем-то он на птицу хищную похож.

— Если волк, то собакою не станет.

— Оно и верно, но... это просто... сердце. — Княгиня прижала ладонь к груди. — Пошаливает... Ясенька встретила тогда своего Тихомира, сама перед Дубыней повинилась. Сказала, что он ей как брат старший и всегда останется, а сердцу не прикажешь. Тебе ль не знать.

Императрица знала.

Не прикажешь, истинная правда. И когда сердце это, теплым янтарем в груди сидевшее, вдруг вспыхивает болью, и когда вскипает золотая кровь в жилах, а роскошные — куда местным красотам — палаты становятся тесны и темны...

Она понимала.

— Он злился, конечно, но... против нее не пошел. Вот Довгарт, тот крепко гневался. Обвинил меня в обмане. А какой обман? Мы ни в храме слова не говорили, ни бумаг не составляли... Требовал, чтобы я девку урезонила. Только... я не хотела, чтобы как со мной.

Не можем.

И выходила дочь Великого Полоза к проклятому озеру.

День за днем.

Ночь за ночью.

Мыла чудесные волосы свои в живой воде и ждала, ждала своего человека... дождалась.

— Я ему так и ответила, невозможному человеку этому, что, мол, не будет счастья без любви, что не стану Ясеньку неволить, знаю, каково это с... она ведь не я, сильнее, и слушать не станет. А попробую приневолить, сбежит... если и вовсе... кто я ей? Матушка потерянная. Он же мне ответил, что пороть никогда не поздно, а девок слушать — глупость невероятная. И я, стало быть, дура, если позволяю так с собой...

Она вернула яблоко на стол и отерла руки кружевным платочком.

— Мы, помнится, крепко поругались тогда, но... он заявил, что видеть меня на своих землях не желает. А я ответила, что и ладно, но пусть не зовет больное сердце силой подпитать, все одно не приеду.

Усмехнулась невесело и призналась:

— Правда, если б позвал, полетела бы...

— Не позвал?

Покачала головой.

— Нанял целителя... толкового довольно, я узнавала. Я ему после тишком рассказала, за чем следить, а там аккурат Смута началась. До наших краев она добралась, да какой-то слабою. У нас тяжело бунтовать, потому как выставят за ворота и рассказывай волкам о равенстве. Нет, наши земли порядок любят. Да и помещный люд все ж иной. Тот, который дурного нраву, долго не задерживается на свете Божьем... после уж я письмецо получила от подружки старой. Та снова ко двору звала... я и поехала. Чего, подумала, молодым мешать?

Княгиня смолкла, глянула в зеркало: Дубыня прогуливался по саду с дочерью своей. И говорил что-то. И голову наклонял, ответы слушая, и улыбался так хорошо, светло...

— Да и... слышала, что Довгарт отличился... был жалован... знала, что Дубыню своего он женил... подумала, грешным делом, замирился. Что старые обиды лелеять? Соседи же... он на мои письма не отвечал, дуболом старый. Но в глаза я б ему сказала.

— Сказала?

— А то. — Княгиня провела пальчиком по брови, выравнивая. — Сказала... как есть сказала... и что упрямец он, и что дуболом... разве ж можно в войну лезть с сердцем слабым? Вернулся... привез с собою царскую милость, а еще подагру и кости ломаные... на Гнилополье был, аккурат под мертвую волну попал, после ногу ему отняли, правую. Как выжил? Небось только норовом своим отвратным.

Сказано это было раздраженно, но без гнева. А императрица постановила себе справиться о здоровье старого Довгарта.

И о прошлом его.

Чего-то недоговаривала княгинюшка, то ли волей, то ли невольно, страхась самой себе в том признаться. Ох, запутано у них все...

Люди, что тут скажешь.

— Кричать на меня вздумал, вазами кидаться... я его, балбеса, скоренько успокоила. И ногу ему отняли неудачно, оттого и боли мучили... поправить все можно было, только опыт требовался.

Который, надо полагать, у княгини был.

— Мы тогда частенько виделись... я с ногой его работала. Там кости в уцелевшей ломать пришлось да составлять наново. А в отнятой... тоже хватало. Он терпел и ворчал... и рассказывал. Как-то даже повинился, мол, что уж больно обида за сына взяла. Испугался, что Дубыня теперь одином станет, как он сам едва не стал. Но нет, тот невестушку себе подыскал. Вроде как из простых, но уже за то, как она на Дубыню глядит, старый ворчун готов принять был...

Вздых.

И признание:

— Не было у них причин мстить. Вот клянусь, не было... еще смеялись, помню, что нам неспроста девок Бог послал... а потом известие пришло... мор начался...

— И ты уехала.

Императрица позволила зеркалу отпустить Дубыню. Ах, если б еще послушать, что он говорит своей дочери красавице... она и вправду хороша, и тиха, как сказывают, и добра, и неглупа.

Слишком много достоинств для одного человека.

Или ревность то говорит? Не готова она сына отпустить? Разделить с кем-то и оборвать еще одну тоненькую нить, что удерживает ее в мире людском?

ГЛАВА 9

— Беспокойно было... я знала, что Ясенька с мором справится, она хорошая целительница. Да и муж ее силой немалою отличался, но... — Княгиня поднялась и повторила: — Беспокойно было... и знаю, что мор порой упрямый... он легко с земли на землю скачет, особенно летом если...

Она остановилась перед зеркалом, но то, то ли уставшее, то ли обиженное на хозяйку, притворилось камнем. Только на алмазной поверхности нити сапфиров проросли, будто жилы водяные. А вот и изумруды потянулись россыпями, притворяясь лесами...

— Да... наша Онежка. — Княгиня ласково коснулась реки. — По ней многие сплавляются, а где сплав, там и люди... и скорость... по реке спуститься быстрее, нежели в наших краях дороги искать. И одного большого хватит, чтобы зараза растеклась...

Она глядела на синие ниточки задумчиво, будто подозревала, что волшебное зеркало знает ответы.

— Целителей там немного... знахарки большей частью или вот ведуны порой случаются. Так что пригодилась бы и моя сила. Потом уж я узнала, что Дубыня меня на пару дней всего опередил... он летел, вовсе не останавливаясь... коней запалил. Сам... я видела его там. Я помню.

И она коснулась-таки драгоценной поверхности, а та пошла рябью, принимая от человека редкий дар памяти.

Тот Таровицкий был похож и не похож на себя.

Грязен.

Темен. Волосы слиплись, склеились то ли салом, то ли гарью. На них пепел сединой лег. А на лице его ожог краснел, вздулся волдырями. Глаза запали, черты лица острее сделались. И губы скривились, точно в оскале...

— Он встретил меня на пороге моего дома... тот уже догорал... и горел хорошо, простой огонь не справится, а Дубыня...

Огневик.

— На руках он Аглаюшку держал... мне ее отдал сразу. А сам... он сказал, что виноват... он признался... признался...

Зеркало поблекло, подернулось темным камнем, будто запираясь от людей с беспокойной их жизнью.

— А уж после... в том пожаре погибли все... все, кто при доме был, кроме Аглаи... а она... она только и могла сказать, что дядя пришел и забрал ее. Страшно ей было. И страх этот всю память вытеснил. Она... она до сих пор пытается вспомнить.

— Не выходит?

— Не выходит... огня вот боится... однажды руку обожгла, так припадок нервический случился. Три дня в постели провела. И после кошмары долгахонько мучили, только, проснувшись, не помнила какие... а он... я задавала вопросы, я... он сказал, что дом уже горел, он только и сумел — девочку вытащить. Я... поверила... сперва.

Княгиня стиснула кулачки, сухонькие, обманчиво-маленькие.

— Он помог устроиться... он взялся вести дознание, потому что... такой пожар... только кости и уцелели... и я спрашивала его людей... его людей вдруг стало много. Откуда взялись? А он лишь отмахивался, мол, не важно. Меня в усадьбу свою препроводил с почетом... обустраиваться велел.

Судорожный вздох.

— Я сперва думала... нет, вру. Не думала. Сердце болело, да и Аглаюшке то и дело дурно

становилось... она подле меня только и жила. А стоило отойти, как криком кричала, белела вся, а отчего — не говорила. И плакать не плакала. Я тоже. Может, когда б слезы пролились, оно бы и полегчало, но... не умею я.

Княгиня кулаки разжала, положила ладони на колени. Только пальцы ее слегка подрагивали.

— Не могу сказать, когда появилось это ощущение... и почему... верно, я слишком хорошо знала Дубыню, вот и... он говорил... рассказывал про мор, который вспыхнул вдруг в трех деревнях, прошелся косою, не оставив никого живого... не понимаю, почему Ясенька медлила...

Пальчик императрицы задумчиво скользил по друзьям камней, которые вспыхивали и гасли. Искры уходили в зеркало. Жаль, что сил ее нынешних недостаточно, дабы заглянуть так далеко.

Вот прежде, в прошлой жизни ее, которая текла медленно и неторопливо рекою полноводной, она сотворила себе целую пещеру драгоценных зеркал. И показывали они вещи преудивительные...

— Главное, записки не уцелели... мор пошел Вяжским трактом, а уже когда добрался до Вышгорода, ослабел, каюсь, тамошние целители его остановили. Хотя все одно... я после беседовала с мальчиком... хороший, талантливый... в Вышгороде случайно оказался, родителей навещал.

Княгиня окончательно справилась с собой, голос ее сделался сух, безэмоционален, только яркие иглы горя в груди не погасли. Сидели кусочками острого гранита, раздирая слабое человеческое сердце. Но императрица прикрыла глаза: пусть ей дано видеть больше, нежели иным, к чему говорить об этом?

Людей смущать.

Люди как-то очень уж дурно переносят собственные слабости.

— То, что он описывал, мне не понравилось... болезнь проявлялась не сразу. Люди ходили, дышали, говорили... чувствовали лишь легкую слабость. А после вдруг вспыхивали жаром. Тело покрывалось темными язвами. Разум туманился. Одни впадали в безумие, другие становились яростны, не отдавали себе отчет... и главное, что спасти их было уже невозможно. Несколько часов, и... — княгиня провела пальчиком по щеке, — наступала смерть.

Императрица слушала.

Нет, змеевым детям случалось болеть. Бывало, истощались драгоценные жилы или, утрачивая связь с кровью Полозовой, вдруг уходили в землю, а сама она словно глохла. И тогда гас свет в крови, а сама она густела, и тело медленно превращалось в камень, рождая искру новой жилы.

Однако люди... люди болели чаще.

Больше.

И причудливей. Их горячие тела на проверку оказывались столь хрупки, что императрица прежде диву давалась, как народишко этот вообще сумел выжить.

И не только выжить, но заселить все известные земли.

— Вышгороду повезло с этим мальчишкой. Он сумел создать зелье, которое приостанавливало развитие болезни. И да, пусть работало оно лишь с теми, кого только-только коснулась зараза, но все же... выжила половина. Я своей волей выдала мальчику грамоту... и представила к титулу... подавала прошение.

Императрица рассеянно кивнула: прошения подавали каждый день.

И титулов просили.

Земель.

Денег.

Но от Одовецкой... надо будет сказать Лешеку, пусть проверит, было ли и куда подевалось.

— Я разберусь...

— Этот мальчик остался при мне... все ж не смог больше... семью свою он не спас, да и слишком много было иных, ушедших... он умненький, я его привезла...

— Хорошо.

— Мы... долго искали... не бывает такого, чтобы зараза взялась из ниоткуда... ничего нового не бывает... мы нашли... с этой болезнью люди сталкивались и прежде, правда, давно... уже не одну сотню лет никто не слышал о черном ветре... его боялись. О нем писали как о гнев Божьем. Он вдруг вспыхивал то тут, то там, унося с собой сотни жизней. Он не щадил ни богатых, ни бедных, ни обычных людей, ни магов... он просто случался. И пугал настолько, что подозрения одного хватало, чтобы вершить суд... я нашла описания. Со страху люди жгли других людей. Запирали в домах и убивали, полагая, что лишь пламя способно очистить. А другие люди запирали уже города и деревни. Жгли, травили... стреляли издали. Я не знаю, помогло ли это повальное истребление, но... болезнь ушла. С ними порой случается подобное.

Мор... императрица слышала уже про красный, который захаживал с юга, оседлавши горячие местные ветра. Этот искал жертв среди женщин, касаясь легонько кожи белой, обжигая и уродуя.

Про желтый, пришедший из страны, где люди желты, будто высечены из морского камня. Этот переборчивостью не отличался. Он умел скрываться, проникая в тела, сжигая печень, и лишь когда человек желтел, становилось ясно. И поздно.

Про зеленый, живший в воде и изводивший людей безостановочной рвотой.

Много их было. Время от времени болезни вспыхивали то тут, то там, заставляя людей молиться и искать спасения. И приходилось поднимать войска.

Организовывать беженцев, не желавших жить в отселении.

Искать целителей.

Убеждать.

Грозиться.

Порой — казнить, но это нечасто. Болезни пугали людей, делая их на редкость послушными. А спасение — благо целители человеческие дело свое знали изрядно — наполняло сердца подданных должным благоговением. Хватало его, конечно, ненадолго, но все же, все же...

— Болезни возвращаются порой, да... но не через столько лет... тогда же я задавала вопросы, а ответов не получала. Зато Дубыня настаивал, чтобы я вернулась ко двору. Мол, все равно нельзя усадьбу восстанавливать, мало ли какая зараза осталась в земле... и селиться рядом не стоит. Люди его разъезжали по окрестностям. И я, признаться, перестала чувствовать себя хозяйкой на землях своих. Крестьяне — люд темный, им сложно подчиняться женщине, особенно если вдруг появляется сильный мужчина. Они полагали меня старухой, жалели, но и только. А Дубыня... я затребовала отчеты, но вдруг оказалось, что они засекречены и ему нужно высочайшее дозволение. Мои же письма в столицу оставались без ответа...

Императрица склонила голову: писем она точно не получала.

— Когда я отказалась возвращаться, Дубыня потребовал, чтобы я осталась в его усадьбе. Он заговорил, что обязан позаботиться обо мне и Аглаюшке, что это его долг соседа, что произошло несчастье, что люди испугались, не иначе... Но в этом не было смысла! Зачем

кому-то сжигать целителей? Единственную, по сути, надежду спастись?! Он привел ко мне какого-то мужичка, который каялся... мол, слышал, будто кто-то говорил, что все беды от усадьбы, что спалить ее надобно и тогда проклятие падет. Приволок и проповедника бродячего. Знаете, из тех безумцев, которые уверены, будто все беды от одаренных. Он назвал нас проклятием... и меня проклял... Аглаю и вовсе исчадием бездны окрестил. Несчастный безумец. И Дубыня хотел, чтобы я поверила, будто виноваты эти люди?

Возмущение княгини было искренним.

Императрица же... слушала.

Она не обманывалась: пусть прошли многие годы, но не настолько хорошо она успела изучить людей, чтобы разбираться в тонких движениях мятежных их душ.

— И дело не в том, что они не хотели... всегда найдутся те, кто желает зла, но... в поместье была охрана! И хорошая. Я сама подбирала этих людей, а Дубыня... — Властимира споткнулась на этом имени. — Он их обучал. И спрашивается, куда эта охрана подевалась в тот самый нужный момент? Я видела их... я пыталась спрашивать, только люди, которые должны были быть рядом с моей дочерью, теперь служили Таровицким... и исчезли. А Дубыня стал убеждать, что это я ошиблась... простолюдины все похожи с лица... может, и так, только я смотрю не на людей, а на болезни их. Они же всегда отличаются... и неужто я не запомнила бы осколчатый перелом левой локтевой? Совершенно уникальный рисунок. Я с этой костью, помнится, долго возилась. А он говорит, ошиблась... позже я поняла, что и из дома не могу выйти без навязанной охраны. Мол, заботится, а то хватает лихих людей в округе. Откуда, спрашивается, взялись? В наших местах таким не выжить...

— Ты ушла?

— Не скажу, что было просто. Я не ушла, я сбежала. Благо мне было куда... забрала Аглаю... написала тому мальчику... и своей старой подруге. В Костовецком монастыре для нас нашлось местечко. И монастырские архивы, к слову, и пригодились. Там мы отыскиали дневник матери настоятельницы, судя по всему одаренной, если она сумела пережить мор. Там мы и свидетеля нашли... при монастыре лечебница открыта была... — Княгиня поднялась, прошла, остановилась у окна, в котором отражалась сама, пусть и было отражение это бледным, полустертым. — Туда приходили те, кто не способен заплатить целителю... или просто верит, что монастырская лечебница лучше городской... как бы то ни было, именно там я встретила одну женщину, которая рассказала кое-что интересное. Незадолго до начала мора кто-то разорил старое кладбище. Местные полагали его проклятым и старались обходить стороной. Поговаривали, что возникло оно на месте деревни, которую полностью выкосил мор...

Княгиня помолчала, собираясь с мыслями.

— Мы... отправились посмотреть. И я даже не удивилась, обнаружив, что его больше не существует. Черное пятно, будто кто-то... хотя почему будто? Кто-то выжег саму землю, не оставив и пепла.

— Полагаешь...

— Почему нет? Раскопать древнее захоронение... Дубыня не целитель, но человек образованный, знает, сколь опасно рушить защитные чары. А их устанавливали, должны были... взломать и раскопать, дать шанс болезни. А уж после... я говорила себе, что это ненадежно, что есть куда более простые способы уничтожить соперника... если бы зараза не очнулась? Если бы так и осталась в земле? Столько лет прошло... да и... к чему? Правда, после поняла, что мало не бывает... мои деревни постепенно переставали быть моими. Нет, на бумаге я все еще хозяйка земель, только дело в том, что хозяйкою меня не считают. И веси, и города спокойно отошли к Дубыне. Таровицкие скоро заменили верных мне людей на своих. Установили порядки, не сказать чтобы дурные, но...

— Чужие.

— Верно, — согласилась Властимира. — А мне предложили обручить Аглаю с каким-то

там родственником... мол, лучшей кандидатуры не найдем. Тогда-то я и поняла... бешеного волка досыта не накормишь.

ГЛАВА 10

С особами высокого положения Лизавету и прежде жизнь сводила. В университете, к слову, две трети студентов были титульными, а та треть, которая не была, во глубине души надеялась совершить что-нибудь этакое во славу отечества, чтобы титул оный получить. Да и сама Лизавета, чего уж тут, грешным делом мечтала, как она однажды погожим летним днем спасает...

Ага, саму себя от скуки буйною фантазией.

Она пробежалась пальчиками по пуговкам, проверяя, ровно ли лежат. Ленточки махонькие расправила. Скорчила своему отражению рожицу...

В университете оно как бы все не взаправду было. Там с большего глядели вовсе не на титулы, а вот в иных каких местах...

Взять хотя бы барона Отшакова, человека чинами облеченного, милостью императорской обласканного, а потому мало-мальски возгордившегося, решившего, будто единственно его слово верное. Ох и озлился он на Лизавету за то письмо, которое она поверх отшаковской головы отправила, еще надеясь справедливости добиться.

Ох и кричал.

Грозился у самой Лизаветы паспорт забрать и вместо него билет санитарный выдать, чтоб, стало быть, все знали, кто она по сути своей есть.

Тетушку довел.

А сам-то... ладно, ему про девиц непотребных все известно исключительно по должности, ибо санитарный инспектор, которым барон служил пятнадцать лет до того, как на повышение пойти, свой участок знать обязан. Но вот что супруга его мест значных не чуралась...

Дочерей он и вовсе продал в крепкие, пусть и престарелые руки своего покровителя. Не посмотрел, сколько лет им... помнится, очень громким дело вышло.

И если б не снимки, иск газете грозил бы изрядный.

Выкинуть.

Забыть.

Не он первый, не он последний. Лизавете случалось повидать всякого, а потому... не в титулах дело, лишь бы люди хорошие были.

Так она себя успокаивала и все ж чувствовала себя самозванкою.

Шла вот, стараясь не шибко по сторонам глазеть — после полюбуется, приговаривала:

— Это работа... просто работа...

А идти получилось далеко, ибо дворец царский был преогромен — это Лизавета знала, но испытать на собственной шкуре — дело иное. И выходит, поселили ее в стороне... специально? Или же... она видела в том коридоре двери иные, прикрытые, порой подернутые пеленою сторожевых заклятий. Но только двери. А люди за ними есть?

— Прошу. — Руслана присела и тихо сказала: — Дальше мне ходу нет. Это чистая половина...

Лизавета, стало быть, на грязной обреталась?

— Вы в гостевом крыле, — объяснила Руслана, видя взгляд недоумевающий. — А тут начинаются личные покои... ее императорского величества.

Вот тут-то Лизавета и растерялась.

Так растерянною и вошла в дверь, благо та распахнулась предружельюбнейше, словно сама Лизавету приглашая. А стоило ступить на янтарный пол, дверь-то и закрылась. Ударила палка, и чей-то голос над ухом провозгласил:

— Лизавета Гнёздина, баронесса...

Ох ты ж, божечки...

Было время, матушка приговаривала, мол, красоты много не бывает. И прежде Лизавета всенепременно согласилась бы с нею, а теперь вот понимала: бывает.

Еще как бывает.

Еще какой красоты... она вновь ощутила укол совести: куда ж ты полезла-то... а главное, зачем? Ведь понятно же, что нет у двадцатипятилетней особы, почти, почитай, старой девы со смутными жизненными перспективами, ни единого шанса против этаких-то красавиц.

И понимала это не только Лизавета.

Она живо ощутила на себе взгляды. Одни — заинтересованные. Другие — полные непонятого раздражения. Третьи — равнодушные, пожалуй, так смотрят на птицу, случайно залетевшую в окно, вяло любопытствуя, найдет ли она выход или же разобьется о янтарные стены.

— Доброго дня. — Она присела, как учила матушка, и улыбнулась.

Никто не отозвался.

Две девицы, стоявшие подле, демонстративно отвернулись, показывая, что не намерены тратить драгоценное время на некую сомнительного вида особу.

— И представляешь, он мне говорит, что у меня преочаровательнейшая улыбка, — нарочито громко произнесла светловолосая барышня в полосатом чайном платье.

— Ах... — Ее соседка взмахнула ручкой, за которой протянулась ниточка жемчужных бус. И коснулась губ. — Это так... трепетильно!

Лизавета огляделась. Комната больше не казалась такой уж преогромной. И кажется, Лизавета даже поняла, где находится: в Малой янтарной гостиной. Ибо где еще возможно подобное великолепие? Стены, выложенные из кусочков янтаря, казались укрытыми теплым аксамитом. И если присмотреться...

Лизавета повернулась.

И коснулась булабочки, запечатлевая красавиц, правда, в позах престранных. Одна вытянутая рука, с которой свисали жемчужные нити, чего стоит. Это ж диво неудобно... а вдохновенное лицо держать, так вовсе непросто. Но девицы старались.

Вон та, устроившаяся у окна с книгою, которую она держала вверх ногами, тоже показалась забавною. В книгу смотрит, рученькою машет, а за перчаткою короткой, по моде, тянутся разноцветные ленты. Тоже по моде?

Если так...

К слову, о моде... большая часть собравшихся была в нарядах легких, что объяснимо — все ж лето на дворе, — но каких-то... вычурных, что ли?

— Еще одна... — донеслось сбоку. — Что они все едут, едут... будто не понятно, что им тут не место, — произнесла девица в платье того свирепого розового оттенка, который редко кому идет. Отделанное блондом, платье подчеркивало модный ныне прямой силуэт, однако при том делало его чересчур... тяжелым?

Выражение лица девицы было мрачно.

И, уловив Лизаветин взгляд, она криво усмехнулась и сказала:

— Тебе говорю... как тебя там?

— Лизавета.

Девушка отмахнулась веером, мол, это на самом деле не имеет никакого значения.

— Шла бы ты отсюда... и меня с собой забрала.

— Куда? — Лизавета хлопнула ресницами. Жизненный опыт подсказывал, что с особами скандальными спорить себе дороже.

— Откуда... отсюдова. — Девушка раздраженно хлопнула веером по ладони. — Нечего тебе тут делать. — И повторила по слогам, громко: — Не-че-го! Поняла?

— Нет, — честно ответила Лизавета.

— Глупая, что ль? — уже много миролюбивей поинтересовалась девушка. — Бывает... у моего тятеньки тетка есть. А у нее — девка... ну тупая, страсть просто... ей человеческим языком говоришь, что дура ты, а она только кивает...

— Точно дура, — согласилась Лизавета, разглядывая новую знакомую уже с вполне профессиональным интересом. И та, польщенная вниманием — а внимание она, судя по всему, любила, — кивнула. И поинтересовалась даже:

— Ты откудова будешь?

— Оттудова, — Лизавета указала на двери, возле которых застыла неподвижная фигура младшего лакея. — А ты? Как тебя зовут?

Девушка молчала, продолжая разглядывать Лизавету. И выражение лица ее было каким-то... усталым, пожалуй.

— У тебя такое красивое платье... и камни... это ведь настоящие алмазы? Никогда таких не видела... — сказала Лизавета.

Девушка вздохнула.

— А то. — Она коснулась броши-банта, украшенной дюжиной подвесок с крупными камнями. — Папенька подарил. На удачу, стало быть... так и сказал, езжай, дорогая моя Авдотьюшка...

Она даже носом хлопнула и нос этот, не особо чинясь, перчаточкой вытерла.

— И отыщи себе жениха... в нашем захолустье женихов нормальных днем с огнем не сыщешь, — уже совсем освоившись, сказала Авдотья. — Вот я и подумала, а и вправду, чем оно не шутит? Папенька-то меня и так ко двору бы вывез, да все дела... он у меня знаешь кто?

— Не знаю.

— Генерал!

— О! — с должной толикой восхищения воскликнула Лизавета.

— А то... правда, послали аж на Пяльшь, а там сукотища редкостная... всего развлечений, что тетеревов пострелять. Или вот на татарву поохотиться... ты стрелять любишь?

— По тетеревам? — уточнила Лизавета просто на всякий случай. А то, сказывали, на границах всякого рода развлечений хватало, о которых людям мирным знать не следовало.

— А хоть бы и по тетеревам... я туточки вторую неделю маюсь, совсем извелась... тетка, как узнала, сразу тятеньке письмецо отбила... вон моя сестрица двоюродная... я ж знаю, что не за меня тетушка беспокоилась, само собою... небось свою Дешечку пристроить

получше желает, только у них-то самих денег нетушки. А у тятеньки довольно... он для меня ничего не жалеет. Как узнал про конкурс этот, так сразу и велел собираться... портал купил.

Лизавета с уважением присвистнула, чем заработала одобрителный кивок Авдотьи.

— А то... я бы и поездом, успевала все одно... коня б не бросила... я своего Соколика еще жеребенком взяла, сама растила, сама поила... лучшего жеребца во всей империи не сыскать. Так нет же, уперся, папенька в смысле, а с ним, как упрется, только маменька и могла сладить. Адъютанты не справляются... дал магию тысячу рублей, тот и рад стараться... а у тебя тятенька, стало быть, граф?

— Барон. Это бабкин титул, а родители... — Лизавета почувствовала, как привычно заняло сердце. — Нет их больше...

— Померли?

— Да.

— Давно?

— А какая разница?

— Действительно. — Авдотья следила за кузиной, девицей, следовало сказать, премиленькой, того хрупкого образа, который многим мужчинам видится воплощением всех женских идеалов. — Ишь ты... к Таровицкой прилипла... поверила, что та в императрицы выбьется...

— Таровицкая — это...

— Видишь? Вон там, у колонны... в таком синем платье...

Темно-синем, почти черном. Еще немного, и платье показалось бы слишком уж темным, почти откровенно вдовьим, но, удивительное дело, оно лишь подчеркивало воздушную хрупкую красоту девушки.

— Только и шепчутся, что, мол, весь конкурс и нужен, чтоб ее народу показать... для того и придумали. — Авдотья оперлась на подоконник, охнула, поправила платье, которое задралось с одной стороны, и махнула рукой.

— Думаешь?

— Мой батюшка говорит, что сперва уж диспозицию изучить надо толком, а после теории с планами строить.

Таровицкая, окруженная свитой из двух дюжин красавиц, выглядела истинным совершенством. А так не бывает. То есть в сказках возможно, но...

— Она со всеми приветлива, никому худого слова не скажет, только и приблизить никого не приближает... все наособицу, наособицу... служанок и тех привезла. Мне вот не разрешили Малашку оставить, но я ж не княжна... не знаю... может, оно и вправду... пожелай Лешек ее взять, так ведь мигом старые поднимутся, припомнят и происхождение простое, и мамку подлого сословия... и еще чего... народишко взбаламутят. А вот коль народишко этот сперва к царской невесте расположением проникнется...

Будет совсем иной коленкор.

И Лизавета посмотрела на княжну Таровицкую по-новому.

— А там, видишь? — Авдотья, уже полностью освоившись, подпихнула новую знакомую локтем. — Стоит темненькая такая, глазами зыркает? Это Аглая Одовецкая, она Таровицких на дух не переносит. И есть с чего... говорят, они усадьбу Одовецких сожгли и почти все земли прибрали. Глашку небось тоже извели бы, только старая княгиня еще та лиса, забрала внучку и скрылась... где пряталась — никто не знает. Теперь вот объявилась. И вчера была у императрицы, небось за внучку просила... прежде-то,

тятенька говорил, Одовецкие крепко в силе были. Даром что целители, а при троне стояли, а уж старая княгиня и вовсе императрице верной подруженькой была. Так что, может, Таровицкие зря и надеются. Как бы Одовецкие корону не прибрали. Эх, жарко туточки, вся взопрела. — Она помахала веером и призналась: — Бесит.

— Что?

— Все... стоишь тут корова коровой... а эти вон... смеются... думают, что раз я на границе выросла, то дурища... у меня тоже гувернантка, за между прочим, имелась... правда, ее после татарва скрала, но сама виновата, нечего было по ночам на свиданки бегать. Ей говорено было, а нет... тятенька ее после сыскал, только возвращаться она не захотела. А другие не поехали. И из пансиона меня выгнали...

— За что? — удивилась Лизавета.

— Да... за дурость... довели меня. — Авдотья тяжело вздохнула. — И кузина эта... вечно ходила, глазки в пол, такая тихоня... все хвалят, а у меня норов. Папенькин. Вот и... как-то оно вышло, сама не знаю... побила я ее. Немного. Волос подрала... эта в слезы, и другая дура тоже... все верещать стали, что меня боятся... будто я кого первой трогала... туточки тоже... говорю ж, не место тебе. Сожрут.

— Посмотрим. — Лизавета наблюдала за княжной Одовецкой, которая, в свою очередь, не сводила взгляда с княжны Таровицкой, а уж та, в свою очередь, довольно-таки ревниво следила за бледненькой, если не сказать вовсе блеклой девчушкой.

— А... это Снежка. — Авдотья тоже проследила за взглядом. — Тятенькиного старинного приятеля дочка... ее зовут Асинья... красиво, да? Только наши все одно переиначили... ее тоже в жены царевичу прочат...

Не многовато ли у царевича жен?

Нет, будь он из турков или, паче того, асаров, у которых, сказывали, жен может быть четыре, а наложниц и того больше, всем бы место нашлось. Но трон один.

И обычай.

И стало быть, конкурс будет куда интересней, нежели Лизавета предполагала.

— А она...

Авдотья рученькой махнула.

— Тихая она, блаженная... матушка ейная не из наших... ну, не из людского племени...

Вот это и вовсе неожиданно.

— Тятенька сказывал, что случилась с его приятелем беда, только не сказывал какая... то ли заблудился, то ли волки сожрали... не до конца, — уточнила Авдотья, поняв, сколь нелепо звучит история. — Главное, что он бы не выбрался, когда б не дева лебяжья. Полюбил он ее крепко, в жены взял... правда, только по их обычаю. Небось ихнему народу в церкву путь заказан... только странно... императрица-то ходит.

— Императрица?

Авдотья посмурнела, огляделась и шепотком произнесла:

— Она тоже, бают, не совсем чтоб человек... может, полукровка какая... но лучше об том помалкивать. А то ж...

Лизавета кивнула: и вправду, об императрице помалкивать оно как-то правильной будет. А вот к княжне юной, застывшей у окна, она приглядится.

— Не, Снежка не злая и не подлая. Она иная просто... к нам когда гостевать приезжали, я ее в сад выведу, она сядет перед цветочком каким, вперится взглядом и сидит, сидит... Спросишь: чего? Она и скажет, мол, смотрит, как растет... наши-то ее чурались, обижали... пока я одну дуру языкастую за косы не оттаскала. Небось от сплетен вреда куда больше, чем от Снежечки... правда, в последние годы тятенька ейный крепко

прихворнул, вот и не заезжали... и выросла... я к ней подошла, думала, хоть с кем поговорить будет, а она только глянула и отвернулась.

Асинья, на старом языке, который преподавали исключительно факультативно, но Лизавета записалась, уж больно красив он был, да и в деле нужен, — значит Снежная. И вправду, Снежная.

Белоснежная.

Кожа аж светится, волосы искрятся. И черты лица неуловимо... иные? Вот Асинья руку протянула, коснулась нежно, будто опасаясь прикосновением этим разрушить что-то, видимое лишь ей, колонны и янтарь побледнел, подернулся изморозью.

Асинья же руки убрала за спину.

Оглянулась, не видит ли кто.

Видит, но...

Пока об этом писать не стоит.

— Те вон за женихами приехали... — Авдотья указала на стайку девиц, одетых в схожие, пусть и разных колеров платья. — Знаю их по пансиону... не лезь, дуры и безмозглые. Гадостей наговорят, будешь потом отплевываться — не отплюешься... вон там тоже графинюшки... из знатных, Бержана еще ничего, не горделивая, а вот сестрицы ее...

Она продолжала показывать и рассказывать, изредка поднимая крыло веера, весьма массивного, сделанного под руку ее:

— Эти князя Навойского хотят заполучить... ага, даром что худородный, зато в милости царской. Только папенька баил, что милость — дело такое, сегодня есть, а завтра нет... Но князь ничего, хитрый, вывернется...

Лизавета, подумав, согласилась: этот всенепременно вывернется.

ГЛАВА 11

Вышеупомянутый князь Димитрий Навойский пригнулся, пропуская над головой золотой кубок. Тот, пущенный мощной государевой рукой, пролетел мимо, дабы, ударившись в стену, плеснуть каплями красного вина на ковер драгоценный.

— Вон пошел, — велел устало царь батюшка и руку поднял, в которую мигом другой кубок вложили и вином наполнили до краев. — И чтоб я тебя, прохвоста, больше не видел... езжай... куда-нибудь... привези там... чего-нибудь...

В светлых глазах царя мелькнули искры да погасли. Он кубок сунул кому-то, сам будто обмяк, пожаловался:

— Ни совести, ни ума...

Князь, пользуясь моментом, тихонечко вышел и дверь притворять не стал, чтобы и те, кто в коридоре, слышали:

— Я к нему со всей душою, а он воровать вздумал...

Сонм голосов поспешил заверить его императорское величество, что подобные грехи случаются и с лучшими из людей, что уж говорить о том, в чьих жилах половина, если не больше, подлой крови... Царь слушал. Соглашался. Порой рученькой махал.

И Димитрий удалился со всей поспешностью, изволив напоследок громко дверью хлопнуть, чтоб ни у кого не осталось сомнений в обиде его, бестолкового, на благодетеля.

Чуть позже в конюшне оседлали черного жеребца эльзарской породы — пусть ему изрядно не хватало изящества, зато был Прохвост вынослив и, что немаловажно, умен. Еще несколько бездельников стали свидетелями скандала, учиненного князем старшему конюшему.

Нашлись и те, кто видел, как ввапший в немилость — новости по дворцу разносились, что пламя по сухому лесу, — охаживал плеткою коня, который летел по аллее.

И те, кто едва ль не до ворот проводил.

Правда, позже показания разошлись.

Одни уверяли, что князь повернул на север, стало быть, отправили его в Архбельск, ладить отношения с северянами, которые в последние годы сделались холодны и надменны, не иначе пакость затевали. Другие, напротив, клялись, будто направили его на южные границы, где всегда было неспокойно, и следовательно, скорого возвращения ждать не стоит. Третьи настаивали, что князь отправился к ляшской границе, не иначе как родину продавать по сходной цене, правда, сами же, смущаясь, добавляли, что от ляхов ее ждать не стоит. На редкость скаредный это народец.

В общем-то правы были все.

Вороних жеребцов эльзарской породы было не так уж мало, а отыскать человека, сходного с князем фигурой, да обрядить его в одежду нужную — и того проще. Главное, князь уехал. А во дворце царском появился еще один писарь, человечек обличья невзрачного и натуры, как водится, преподловатой. Отчего-то подобная напасть частенько с писарями случалась.

Как бы то ни было, но внимания на него особого не обратили.

И с чего бы?

Писарь как писарь. В шинельке серой, прескромного вида, правда, лацканы слегка лоснятся, а на локтях пузыри уже наметились.

Рубашечка форменная серовата.

Манжеты в россыпи мелких чернильных пятнышек. Но кому их разглядывать надобно?

Да и сам собою человек нехорош. Невысок, сутуловат. Горбиться имеет привычку дурную, будто лежат на плечах его заботы немалые. Потому и лицом скучен.

Весь в мыслях, в делах.

Суетлив.

Дерган.

То носом хрящеватым поведет. То ущипнет себя за щеку, будто проверяя, на месте ли она. То за губенку отвислую тронет, то за бородку дернет. А та какого-то неприятного пегого цвета, торчит козликом. Волосенки же гладенькие, прилизанные, на пробор зачесаны, только проглядывает сквозь прядки лысина. И вот глядишь на такого и не понимаешь, сколько лет ему. Впрочем, глаза у писаря яркие, любопытные, да зная эту особенность их, Димитрушка очечками обзавелся, причем вида препоганейшего — в толстой роговой оправе, с дужкою левой, кожаным шнурочком перемотанной. Очки на лице не удерживались, то сползая к кончику носа, то перекашиваясь.

Он их и поправлял.

Губами шлепал.

Норовил прижать кожаный портфельчик к боку, да тот, поганец, выскальзывал... в общем, был человек в меру обыкновенен для дворца, а потому если кому и случилось задержаться на нем взглядом, то ненадолго.

— Ходют... ходют... — ворчал Димитрушка, кляня себя за излишнюю фантазию. Нет, обличье было удачным, вон Вязельские, старинные приятели, из тех, которые только и ждут момента подходящего удачку на шею накинуть, прошли и не заметили. Но с очками явный перебор. Тяжеленные. Неудобные. Да и стекла пусть и простые, но все одно туманят. Идешь, спотыкаешься...

Он прислонился к стеночке, пропуская юную графиню Мильтюхову, которую ныне сопровождал молоденький корнет. Из дворцовых бездельников, третий сын, кажется, а потому единственной его перспективой жизненной была удачная женитьба. Ну или карьера военная, к которой Нурский не слишком тяготел, предпочитая проводить время в кабаках. Магом он был средним, умом не отличался... как и Мильтюхова красотой. Зато у папеньки ее пара солеварен имелась и небольшая смолокуренка, дававшая доход стабильный, не говоря уже о землях...

Корнет что-то говорил.

Графинюшка краснела и лепетала в ответ.

Может, в этом и замысел высший императрицы? Переженить всех? Но чего ради?

Димитрушка поспешил дальше. До обеденного времени оставалось едва ль четверть часу, ему же предстояло добраться до залы первым, занять удобное место, такое, которое и по чину, и наблюдать не мешает.

Первый удар часов заставил Лизавету подпрыгнуть.

— Ага, — сказала Авдотья, веер складывая. — Меня тоже по первости едва кондрашка нехватила... погоду, не спеша...

Она придержала Лизавету.

И вовремя.

Девицы, до того весело болтавшие, или слушавшие, или размышлявшие о своем, как-то вдруг и встрепенулись, чтобы в следующее мгновение броситься к двери.

Лизавета успела коснуться пуговички.

Это стоило запечатлеть!

Они шли, умудряясь не сбиваться на бег, выдерживать подобающее выражение лица, разве что слегка расставляли локотки, или вот ноги... не иначе, та, в бирюзовом платье, споткнулась вовсе не случайно. У самых дверей княжна Одовецкая, которая как-то вдруг оказалась первой — а ведь стояла, почитай, на другом конце зала, — посторонилась.

— Прошу вас, — сказала она, уступая место Таровицкой.

— Что вы, как можно... — отозвалась последняя, и свита ее разноцветная загомонила.

— Знаю, Таровицкие всегда спешат...

— Не только они...

Пока пара препиралась, мимо с видом презадумчивым, мечтательным даже, прошествовала Снежка, а с нею и обе княжны, которым все ж надоело играть в уступки. Благо, двери оказались достаточно широки, чтобы красавицы в них не застряли.

Лизавета сощурилась.

А кадр вышел...

Да прелестнейший кадр вышел! Ах, надо бы заголовок к нему... что-нибудь простенькое: «Конкурс еще не начался, а красавицы спешат занять место...» Где?

За столом ее императорского величества?

В сердце цесаревича?

Нет, чуть позже она придумает, как сделать, чтобы звучало. Да и замечочка получится презанятнейшей... надо будет упомянуть и о делах былых, и о взаимной... приязни.

И о ставках?

Лизавета готова была побиться на весь свой недополученный гонорар, что ставки уже делали. А что, если... конечно, в этом духе статейку и написать... у нее прямо руки зазудели. Но Авдотья пихнула в бок и сказала:

— Пошли, что ли? А то сейчас закроют...

Наверное, ничем иным, кроме как удивительным совпадением, нельзя было считать факт, что Лизаветино место оказалось по правую руку Авдотьиного. И если сама Лизавета сидела, почитай, у конца стола, что явно показывало, сколь невысокое положение она занимает, то по другую сторону Авдотьи устроилась круглолицая девушка с лицом, столь густо усыпанным веснушками, что казалось оно рябеньким.

— Не мешкай. — Авдотья взялась за вилку из середины списка столовых приборов, проигнорировав прочие. — Обед длится ровно сорок пять минут. И кто не успел, останется голодным... терпеть не могу голодать...

— Хотя вам бы не помешало, — заметила веснушчатая соседка, принимая махонькую вилку для легких закусок. — У вас явно лишний вес.

— Он не лишний, — мрачно отрезала Авдотья. — Он запасной...

Подавали закуски.

И те были столь изысканны и красивы, что есть их казалось кощунством, но Лизавета осознала, сколь голодна, а еще, что действительно в царском дворце ее на кухню вряд ли пустят.

Она жевала.

Пила воду.

И наблюдала... вот веснушчатая — явно ее тятенька не слишком высокого полету птица, если досталось ей место столь дальнее, — ковыряется в тарелке, время от времени отправляя кусочки в рот. Глотала она не жуя, при том закатывала глаза, будто собираясь

лишиться чувств.

Авдотья ела.

Просто ела...

Снежка сидела, прикусив кончик десертной ложки. Взгляд ее был устремлен поверх голов куда-то вдаль, и сама она больше не казалась такой уж хрупкой. Напротив, Лизавета отметила, что бледная эта красавица будет на полголовы выше соседок.

Одовецкая и Таровицкая, не иначе как специально усаженные друг напротив друга, старательно следовали «Правилам хороших манер», которые явно писались с них или для них... в общем, у Лизаветы самой, несмотря на все старания — а училась она хорошо, — не получалось с должным изяществом есть яйца. И кокотницы тут не помогали, а эти...

Смотреть на них было тошно.

И интересно.

— Князя Навойского изгнали, — шепотом произнес кто-то, и новость полетела по рядам. Девушки забывали про манеры, охали, ахали, выражали негодование, только непонятно чем: то ли царским несправедливым решением, то ли этакой неудачей.

Поди-ка вылови такого жениха на просторах империи.

— А за что, не знаете? — Лизавета все ж обратилась к соседке, которая меланхолично ковырялась в листьях салата, политых чем-то белесым и изысканным до невозможности: с виду блюдо было красивым, но несъедобным.

— Ах, это все знают... — отмахнулась она, но все ж не удержалась: — Он к княгине Булевской приставать вздумал. А она царю пожаловалась...

— Чуть какая, — фыркнула Авдотья, берясь за куриную ножку. И вцепилась в нее зубами с немалым аппетитом. — Булевской сорок скоро... и любовников у нее трое... небось нашлось бы и для князя местечко.

— Да что вы такое говорите!

— Правду. — Пальцы Авдотьи предпочитала облизывать. И, видя удивленный взгляд соседки, лишь пожала плечами, пояснив: — У меня гувернантку татары украли... а после еще из пансиона выгнали.

— Оно и видно. — Веснушчатая потеряла всякий интерес.

Авдотья же задумалась, правда, жевать не прекратив. И вот интересно, ее кузина сидела куда ближе к высокому столу, тогда как саму Авдотью устроили едва не у дверей... с чего бы?

— Нет, быть того не может, — сказала Авдотья, все ж подбирая салфетку с монограммой. — Уж точно не из-за княгини... царь не дурак, чтобы из-за какой-то потаскухи верного человека лишаться... тут другое... да и князь... он кого помоложе выбрал бы...

— Можно подумать, ты знаешь... — не утерпела соседка.

— Знаю. Он к папеньке частенько заглядывал...

— Да? — Авдотье определенно не верили. Соседка ткнула вилкой в листик и поинтересовалась: — Чего ж тогда он не сговорился? Или... папенькиных денег не хватило, чтобы тебя кто замуж взял?

Авдотья покраснела.

А потом тихо ответила:

— Я не хочу, чтоб меня за приплату брали... а князь... мы с ним не уживемся. Характер у

меня поганый, прямой... я этого, чтоб с перепохвостом, не больно люблю... а он иначе не умеет.

Гостомысл Вышнята за прошедшие годы прибавил весу изрядно и обзавелся окладистой густой бородой, которую расчесывал надвое, каждую половинку скрепляя кольцом. Смуглокожий, с лысиной обширной, украшенной пятеркой старых шрамов, он гляделся диковато и даже, по мнению многих придворных дам, откровенно жутко. Он, некогда славившийся своей неприхотливостью, ныне вырядился в шелка и бархат. Особенно смущала придворных крупная бледно-розовая жемчужина, вдетая в хрящеватое ухо.

И пряжки с топазами.

— Здравствуйте, матушка... — Вышнята глядел на императрицу, подслеповато щурясь. И было видно, что неуютно ему в этой полутемной комнатухе, более годной для слуг, нежели для особ высокого звания. Что с того, что стены малахитом выложены, а бюро и вовсе драгоценными камнями инкрустировано.

Тесно же.

Душно.

— Бросьте, князь... какая я вам матушка. — Золотая змеиная коса соскользнула на пол. И императрица подала руку тому, кто некогда клялся свернуть ей шею.

Пожалуй, скажи это кто другой, не сносить бы ему головы. Однако корона была многим обязана Гостомыслу, и потому отделался он строгим выговором, а дальше...

— Что было, того не исправишь. — Князь крикнул и рученьку принял, осторожно, двумя пальчиками. — Уж простите... дурак был... и не за себя болел. За сестру... у вас сестры есть?

Императрица кивнула.

Есть.

Велико царство Полозово, каждой из дочерей его работа сыщется. Кому малахитовые жилы вести-плести, выплетая каменные узоры Ульских гор. Кому сапфиры сторожить, охраняя слезы драгоценные, пролитые возлюбленную супругой Великого, от жадных человеческих рук.

Кому родник с водой Живою беречь.

Кому — Мертвую ведать...

— Тогда вы понимаете...

Не очень. Никогда не было особой любви промеж сестрами. Да, помогали, ибо положено так и правильно, ведь миром единым сильны и живы, но...

Мир и любовь — разное.

Теперь она это знала.

— Одна она у меня... была... и любила... я думал, что любит, вбил себе в голову, что только с ним счастливою станет... Мне не корона нужна была. От короны небось одни заботы. — Ручку князь отпустил и на стульчик присел. — А она сбежала... с одним... оказывается, давненько ее обхаживал, да и она к нему... только ж у него что? Ничегошеньки, вот и боялась сказать. Да и правильно боялась. Я бы не понял. Тогда.

— А теперь?

— Любовь лечит. И калечит. — Он дернул за бороду. — Свяги средь людей долго не живут... и она ушла... держалась, сколько могла, а все равно позвала зима, и на крыло встала. Обещала вернуться, да... верно, осыпалась где-то дождем, чужими слезами омылась и память утратила... если и вернулась, то не ко мне.

Лицо его скривилось, будто князь вот-вот разрыдается.

— Она предупреждала, а я, дурень, не верил... мнилось, моей-то любви на обоих хватит... и хватало... десять лет душа в душу... вот и решил, будто всегда так будет. Не запер окно по первому снегу...

— И она ушла. — Императрице случалось видеть связных дев.

Лебединое перелетное племя.

Это люди про них придумали, будто вернее птицы нет. Лебеди... лебеди — это лебеди, а вот свяги живут от снега до снега. И стоит осени одеться первой белой шубой, как встают они на крыло, уходят к морю-матери, чтобы разбиться о скалы, стать пеной морскою, а из нее по весне родиться в новом теле.

И с новой памятью.

На то у них свои причины имеются, но князя стало жаль.

— Ушла... Снежка вот осталась... только... боюсь я, как бы не позвали ее...

— Не позовут. — Тут императрица могла успокоить человека. — Верней, не услышит. Кровь горячее зимней воды, а потому она куда больше человек, чем...

— Царевич?

— Да. — Она склонила голову набок. — Зачем же ты пришел, княже?

— Просить. — Он усмехнулся и, сползши со стула, тяжело опустился на колено. — Время мое выходит, а она... она такая... неприспособленная... я ее пытался учить, только... и сестрица моя не лучше... она мужа любит, а потому не видит, до чего он слабый. Не сумеет земли мои удержать.

— Не рано ли ты...

— Не рано, — перебил Вышнята, положив руки на живот. — Тут она сидит, зараза... грызет нутро... пью зелья, только с них мало толку... у Гориславы сынок толковый, нашей крови, но ему всего пятнадцать годочков, и против батькиного слова он не пойдет. А тому... у меня веры нет. Возьмешь ли ты моих под свое крыло?

— Крыльев у меня нет. — Императрица поднялась и сняла со столика шкатулку, раскрыла. — А вот коль объятья змеиные...

— Знаешь, я успел одно понять... вы, нелюди, иные... не хуже, не лучше, просто иные... и порой обыкновенному человеку вас тяжело понять, только... вы не лжете. Почему?

— Не умеем... не умела. С вами вот научилась, да и то...

Лукавство и ложь — разные вещи, это императрица поняла, а ответить, что там, в Полозовом царстве, все и вправду иначе? Что земля не умеет лгать, а камню обман и вовсе без надобности, что рожденные силой этой сами похожи на землю и камень, что...

— Возьми. — Она протянула гребень. — Я не оставляю твоих родных, но и ты не спеши уходить... сослужи службу.

— Какую?

— Расчеши мне волосы... видишь, запутались.

ГЛАВА 12

Димитрий шел, держась стеночки, стараясь вовсе с нею сродниться. Время от времени он останавливался, напряженно вслушиваясь в происходящее вокруг. И вид у него тогда делался совершенно несчастным. Длинный нос дергался, рот кривился, и создавалось впечатление, что ничтожный этот человечиска того и гляди расплачется.

Впрочем, впечатление было обманчивым. Плакать Димитрий разучился давно, да и ныне поводов не было. Напротив, игра неожиданно увлекла.

Легкий полог, рассеивающий внимание, и человек почти исчезает.

А что еще надобно?

— Ах, папенька, это все так унизительно. — Княжна Таровицкая шла неспешным шагом, опираясь на руку папеньки. — Не понимаю, почему я должна здесь быть?

— Мы это уже обсуждали.

— И все равно твой план выглядит глупостью невероятной. Одовецкие нас ненавидят... — Она задержалась у зеркала, поправляя и без того идеальную прическу. — Она мне не нравится. Я ей, к слову, тоже...

— И это следует изменить.

— Зачем?!

Действительно, Димитрий мысленно присоединился к вопросу. Подмывало подойти ближе, но... полог пологом, а чутье у Дубыни Таровицкого преотменнейшее, недаром что боевой маг и охотник великолепнейший. Нет, если заподозрит, что подслушивают...

Тот же вздохнул, развернул дочь к себе и тихо произнес:

— Нам давно следовало бы помириться... когда-то я повел себя неправильно, и мне старая княгиня точно не поверит, как и твоему деду... а вот ты... ты — дело другое.

Княжна наморщила носик.

— Мы соседи. И от этого деваться некуда... — проговорил Дубыня.

— И поэтому ты по-соседски прибрал ее земли к рукам?

— Лирика!

— А разве не так? Папенька, я тебя люблю... и деда уважаю, но вы хотите невозможного! Я могу улыбаться, могу играть в прелестницу... могу... не знаю, хоть на голову встать, но это ничего не изменит! Насколько я успела понять, княгиня настроена весьма решительно... и меня это пугает.

Произнесено сие было тихо, но Димитрий все же решился сплести махонькое заклятыице. Будучи слабым, неприметным, оно не должно было потревожить Таровицких, а вот беседа эта оказалась преувлекательнейшей.

— Она целительница.

— И что? Нет, я не думаю, что она решится на убийство... во всяком случае, если правду говорят и княгиня справедлива, то ко мне у нее претензий не будет. А вот тебе и деду стоит быть осторожней... и вообще, не понимаю!

— Чего?

— Ничего. Что тогда произошло? Не отворачивайся, я слышала, как ты с маменькой разговаривал.

— Что слышала? — Дубыня напрягся.

— Не все. К сожалению. — Княжна Таровицкая сбросила маску прелестной девицы, голова которой забита исключительно шелками, кружевами и перламутровыми пуговичками, — но достаточно, чтобы понять. Ты сжег то поместье...

— Молчи.

А вот это уже на признание тянет, правда, слабоватое. Одного свидетельства Дмитрия будет недостаточно, княжна перед судом от слов своих отречется, сыграет капризную девицу, которая сплетни папеньке пересказывала. Дубыня же...

— Папа... это такая тайна, которая и не тайна совсем... думаешь, дома об этом не шептались? Или вот здесь... да тут, почитай, все уверены, что ты или отправил Одовецких в Царство Божие, или просто ситуацией воспользоваться сумел...

Дубыня наливался краской.

Губы побелели. Черты лица заострились.

— Успокойся. — Солнцелика погладила отца по плечу. — Я... не то чтобы не верю, что ты не мог этого сделать. Просто... мне хотелось бы знать: почему? И не только мне... объяснись с княгиней. Может, она поймет...

— Не поверит. — Дубыня дернул рубашку, и махонькие пуговицы поскакали по полу. — Если б все так просто было...

— Тогда земли верни.

— И что она с ними делать станет? Одовецкая целительница, каких свет не видывал. — Он потер грудь и тяжело прислонился к стене. — Но хозяйка из нее преотвратнейшая — ты бы видела, что там творилось. Я просто порядок... навел... и деньги... я ж ни грошика... себе...

А ему и вправду дурно.

Вот ведь... про то, что у старика Таровицкого с сердцем худо, Дмитрий знал, как и то, что старик оный давно уж удалился в семейное имение, которое если и покидал, то ненадолго и недалеко. А выходит, не он один с сердцем мается.

Надо будет намекнуть целителям, пускай глянут.

— Присядь... пойдём... тут недалеко... вот сюда. Матушке отпишусь, пусть приедет и на тебя наругается... затеял игры. — Княжна Таровицкая ворчала, но незло, напротив, в словах ее виделось искреннее беспокойство за батюшку. — Не так ты и молод...

— И не стар.

Не стар, Дмитрий согласился. Еще как не стар... сколько ему? Пять десятков разменял... разве ж для мага возраст? А выглядит — в гроб краше кладут. И главное, сел-то прямо на пол, не чинясь, благо коридорчик этот пустоват, если не сказать — заброшен. Ведет он к бельевым, а в них князьям делать нечего.

— Так покажись ей! — Княжна топнула ножкой. — Ты же сам себя мучаешь...

— Иди...

— Не пойду.

— Выпорю.

— Ах, папенька, поздно уже... на вот, выпей... и я с тобой побуду. Не спорь. Чего мне тут еще делать? В саду гулять?

— А хоть бы и в саду...

— Я его уже весь обгуляла... сил нет... с этими курицами... сядут и только обсуждают, кто на кого посмотрел, с кем можно водиться, а кого игнорировать надо... кто игрок, кто младший сын. Противно.

— И что, никто не глянулся? — с насмешкой поинтересовался князь. Почудилось, что рад он был сменить пренеудобную тему.

— Да на кого тут глядеть! Подошел один... мол, ваши губы как розы... щеки — мимозы, — передразнила Солнцелика неизвестного кавалера. — Дайте ручку, пройдемся до кустов.

— До каких кустов? — А вот теперь Дубыня помрачнел, и Димитрий от души посочувствовал тому бестолковому кавалеру, которому вздумалось досаждать Таровицкой излишним вниманием. Впрочем, княжна отмахнулась и сказала:

— Это я так, для примеру... хотя у них всех в глазах или деньги, или кусты... или и то и другое.

— А подружки...

— Какие подружки, папа? Ты что... тут только спят и видят, как бы гадость сделать... это же конкурс... небось если бы не боялись, что за руку поймают, давно бы толченым стеклом накормили.

— Лика!

— Я правду говорю, — вздохнула княжна и, воровато оглядевшись по сторонам — Димитрия она не заметила, то ли магом была слабым, то ли умения не доставало, — тихо добавила: — Там же только и сплетничают друг про дружку, кто толст, кто худ чрезмерно... кто воспитан дурно. Каждая спит и видит себя красавицей.

— А тебя?

— И меня... поэтому и страшно. — Она обхватила себя руками. — Понимаешь... что-то там неладно, а что — не пойму... и пытаюсь же, а все одно не пойму... Кульжицкая... старшенькая, такая темненькая, с кудельками, знаешь?

Дубыня нерешительно кивнул, предположивши, что наверняка какую-нибудь темненькую девицу с кудельками он точно знает.

— Так вот, она сказала, что... как бы это... — княжна прикусила губку, — скоро грядут перемены... большие... и покажут, кто есть кто.

Кульжицкая?

Димитрий попытался припомнить девицу. Темненькую. С кудельками. Девица не припоминалась, точнее, их было с полдюжины, но которая из них являлась Кульжицкой...

Ничего, разберется.

Главное, что род Кульжицких не сказать чтобы древний. Не великий, не малый, особыми деяниями в истории не отмеченный. Более того, славились они тихим норовом и той гибкостью характера, которая изрядно помогала делать дворцовую карьеру. Подлостей больших избегали, как и подвигов...

В общем, обыкновенные.

Разве что лет этак триста тому Глафире Кульжицкой удалось в императрицах побывать, пусть и третьей женой, прожившей всего-то два года и наследников не оставившей.

А если...

Если Лешек не нужен? Скажем, сгинет он вместе с батюшкой и матушкой, будто и не было? Несчастье? Несомненное. Смута? Вот она, за воротами, и память о ней свежа, а потому и страх жив, что вернется, пролетит кровавым колесом по землям империи.

И власть манит.

Безвластие пугает.

А тут... документик старинный, мол, вот она, кровь...

Нет, людей обмануть можно, но не родовой артефакт. Ему до бумаг, что поддельных, что истинных, дела нет. Он кровь читает.

— И я бы не обратила внимания, — меж тем продолжила княжна, расправляя юбки, — когда б не было это сказано мне, и не только мне. Знаешь, она Снежку обозвала нелюдью. Мол, от них все беды...

— А Снежка что?

— Ничего. Будто и не услышала. Она странная. И я не понимаю, зачем она здесь...

— Затем, зачем и все...

— За корону воевать? — прижалась к папенькиному плечу. — Давай уедем? Плюнем на все и уедем... небось, что бы ни случилось, дома отобьемся... ты маг, я маг... маменька, опять же... а против трех огневигов ни одно войско не устоит... и зимы у нас суровые.

— А...

— Одовецкой письмецо напишешь. Хотя бы про то, что деньги ее нам без надобности... лежат вон, пусть распоряжается...

— А империя?

— Что с нею? Стояла без нас и простоит еще... а мне страшно.

— Мне тоже. — Дубыня Таровицкий поцеловал дочь в макушку. — Именно потому нельзя все бросать... а ты не кривись. Попробуй поговорить с Аглаей. Я слышал, она девица неглупая. Авось подружитесь.

По тому, как фыркнула Солнцелика, было ясно: не верит.

Димитрий тоже не поверил.

Но заметочку сделал. На всякий случай.

Статейка исчезла в шкатулке, и Лизавета вздохнула. Завтра уже появится... а там... вот ладно бы только статейка, ее любой, почитай, при толике воображения написать мог. Снимки же — дело иное... Искать будут — кто сделал?

Всенепрерывно.

Вопрос лишь в том, сколь старательно. И хотелось бы думать, что эти бабьи дразги не сочтут делом, стоящим внимания. Правда, что-то подсказывало: на этакое везение рассчитывать не след.

Сперва проверят слуг, после и до красавиц дело дойдет. А Лизавета, как ни крути, за «Сплетником» значится. И найдут, и... что будет?

В вину ей поставить нечего, ибо пишет она правду, но вот с конкурса уберут, тут и думать нечего. Не всякая правда людям приятна.

Впрочем, долго грустить Лизавета не умела и, убрав шкатулку в секретер, закрыла ящичек. А ключик на себе спрятала. Неудобно, холодненький и остренький, зато надежно. Она оглядела себя, расправила юбки и решительно вышла из комнаты.

В конце концов, никто не говорил, что по дворцу нельзя гулять.

А раз не говорили, что нельзя, то выходит, можно.

В коридоре было пусто.

И в следующем. И... кажется, Лизавета несколько заблудилась. И главное, что спросить-то не у кого, дворец будто вымер, впору на помощь звать.

Она огляделась.

Красная ковровая дорожка. Стены мраморные. Потолок, расписанный полуголыми нимфами, и огромные хрустальные люстры. Свалится этакая, так и раздавит. Почему-то мысль эта Лизавете категорически не понравилась. И вообще во дворце она ощущала себя на редкость неудобно.

А с другой стороны, если коридор имеется, то куда-нибудь он выведет.

И Лизавета бодро зашагала по ковровой дорожке, правда, старалась держаться стенок, ибо мысль о том, хорошо ли закреплены люстры, не отпускала категорически.

Коридор привел в залу.

А та — в очередной коридор, опять же с люстрами, причем тут они мало того что висели на редкость густенько, так еще и были широки, едва не цепляясь коваными рожками друг за дружку и за стены. Лизаветины шаги разносились по коридору, но никто не выходил.

Этак... этак можно труп протащить, его и не заметят.

То, что мысль подобная пришла не только в Лизаветину светлую голову, она поняла позже, когда вдруг споткнулась о... сперва она приняла это за грудку тряпья, потому как, несмотря на обилие люстр, было в коридоре темновато.

После сообразила, что груды такой посреди дворцового коридора делать точно нечего.

А там уж... туфелька, лежащая в сторонке. Руки раскинутые. Волосы... белое лицо, разъявленный, перекошенный рот.

Лизавета зажала собственный, чтобы не заорать.

Нет, ей случалось мертвецов видеть и в университете, на целительской кафедре, и позже, когда она по делам своим заглядывала в мертвецкие, но там... там было иначе.

И трупы выглядели не страшно. Они и на людей не особо походили, так, будто куклы восковые, исполненные с великим искусством, но все равно куклы...

Лизавета попятилась и вновь едва не споткнулась, на сей раз о туфлю.

Прижалась к стенке, велела себе успокоиться. Хороша она... этак и вправду окажется, что место Лизаветино не в газетчиках, а среди нынешних...

Из нынешних точно.

Она видела эту девицу за обедом. Имени, конечно, не знала, но... та сидела ближе к помосту, и значит, звание имела...

Лизавета вдохнула.

Выдохнула.

Прислушалась. Хороша она будет, если кто-то застанет над телом. После поди докажи, что не она девицу... а ведь кто-то же... вон, чулочек сетчатый вокруг горла бантом завязан, а в волосах будто перья птичьи... или не птичьи?

И не перья.

Лизавета сделала шаг.

Она только посмотрит, одним глазком... точно, не перья. Это лепестки розы. Она один подняла, понюхала. Еще пахнут, и главное, не побурели, не помягчели... и выходит, сорвали их не так чтобы давно. А девица? Может...

Лизавета заставила себя пересилить страх. Она подходила к лежащей бочком, прекрасно понимая, что весьма маловероятно, что девица жива, но вдруг... и вообще, хотя бы понять, как давно она... как давно ее...

Тело было холодным.

То есть не совсем чтобы как лед, но определенно холоднее, чем нормальный, сиречь живой, человек. И сердце молчало. И... Лизавета склонилась над умершей, пытаюсь услышать дыхание, однако вместо него услышала звук шагов.

Таких быстрых.

Решительных.

Она вскочила и бросилась прочь. Кто бы ни шел... не надо, чтобы Лизавету видели здесь.

Она добежала до двери.

За дверь.

И за вторую. И лишь тогда, прислонившись к ней, задышала, пытаюсь успокоиться. Сердце билось так, что, казалось, того и гляди из груди выскочит.

— А что вы тут делаете? — поинтересовались у нее на редкость нелюбопытным тоном, будто говорившему на самом деле было глубоко все равно, что делает эта странноватая растрепанная девица в месте, в котором подобным особам находиться не положено.

— Прячусь, — честно сказала Лизавета.

И огляделась.

И матюкнулась. Мысленно, конечно, ибо благовоспитанные девицы матерятся исключительно в мыслях, ну или в местах совершенно безлюдных. А комнату таковой назвать было сложно.

Комнаты.

Она узнала их... помнится, в позапрошлом году столичный модный журнал делал большую серию статей о дворцовых интерьерах, в том числе и о апартаментах наследника престола. Да и хозяина их, пусть несколько лишенного того портретного лоска, который должен был внушить подданным почтение, опознала. Запоздало ойкнула. Присела, неловко оттопырив зад, — узкое платье вдруг стало на редкость неудобно, а колени и вовсе застыли, будто деревянные.

— П-простите...

— От кого? — Наследник престола, который занимался делом совершенно непотребным, тятенька точно не одобрил бы, — подремывал в креслице с газеткой, поднялся.

— Н-не знаю.

— А тогда зачем прячетесь?

Лизавета смотрела на этого мужчину, который... который был всеобъемлющ... мамочки родные, чем же его кормили-то? И ладно бы он ввысь вырос... ввысь еще ладно, высокие мужчины встречаются, так он же ж во все стороны.

И бархатный костюмчик, казалось, то ли изначально был тесен, то ли стал таковым вдруг, но самым подлым образом собрался на бочках валиками, вытянулся на животе и даже швы показал.

— Просто... испугалась...

Лизавета задрала голову.

Было в великом князе росту... вот как с полторы Лизаветы. Она ему и до плеча-то не достанет. А если вширь мерить, то и четыре влезут... или пять... и главное, на портретах-то он, в мантии и при малой короне, гляделся внушительно.

А тут...

Страшно?

Нет, страха не было. Просто... просто не верилось, и все тут. У наследников престола не может быть круглых, что блин, лиц. И носов таких вот, приплюснутых. И губ вывернутых... а глаза хорошие, синие...

— Бывает, — согласился он, головой покачав. — Я вот тоже иногда боюсь.

— Чего?

— Всего. — Он махнул рученькой. — Жизнь... она такая... идешь, бывало, а сзади кто пальнет... я как-то прям подскочил, маменьке на мантию наступил. Ох и ругалась она... а я ж не виноватый. Я по-настоящему испугался...

Он всерьез это?

И главное, лицо-то открытое, взгляд синих очей ясный.

Нет, быть того не может, чтобы наследник престола... шутит, ясное дело.

— Или вот начнутся под Новый год петардами пулять. Крепко не люблю... салютов тоже... особенно когда пушки. Вообще глохну. — Он потрогал ухо. — Один раз и вовсе решил, что отвалилось...

— На месте вроде бы...

— На месте, — согласился он. — Садись. Кофею хочешь? Или чаю?

Чаю Лизавета не хотела, а вот пообщаться с наследником — так очень даже... когда еще подобный шанс выпадет? И вообще, вон на Западе давно уж власть к народу простому приблизилась. И газеты тому лишь поспособствовали.

Интервью печатают.

А наши... наши только восхваляют по старому обычаю.

Правда, Соломон Вихстахович мудро велел в политику не соваться, а наследник престола — это самая политика и есть, но... она ж, может, еще ничего и не напишет.

— Спасибо.

— Не за что. — Он устроился в креслице, будто квашня опала, поерзал и пожаловался: — Тесное...

— Так пусть новое принесут, пошире...

— Тем месяцем приносили... маменька опять заругает. Говорит, что я ем много. Я Лешек...

— Лизавета, — сказала Лизавета, дурея от восторга. Лешек... кому рассказать...

Потом, после конкурса...

— Можно Лиза.

— Ага... ты сласти любишь?

— Люблю.

— Погодь тогда... — Он тяжело выбрался из кресла и вышел. Причем двигался, несмотря на вес свой немалый — неужто целителей нет во дворце хороших, чтобы проследить? — легко, будто танцую. А вернулся с подносом. — Я туточки сам... а то ж маменька вечно кого приставит... следят, следят... чего? Еще и в постель лезут.

— Следить?

— А то... за постелью постельничий следить должен, а не эти... на вот. — Он наполнил кривобокенькую кружку чаем и протянул Лизавете. — Я ее давеча сам сделал!

И произнес это с немалою гордостью.

Младшенькая Лизаветина тоже училась из глины лепить, и выходило у нее примерно так же, как у наследника престола, правда, она поверх своих кружек еще цветочки рисовала — для пущей красоты.

— Хорошо вышло.

А что? В руках не разваливается, чай из нее пить вкусно. Что еще от посуды надо?

— Спасибо. — Лешек коробку открыл. — На вот попробуй...

И сам подхватил круглую темную конфетку, сунул в рот и зажмурился. И Лизавета последовала его примеру. На языке вертелась тысяча вопросов, и все-то казались нелепыми, неуместными, но в то же время обещающими преогромную выгоду... статья о приватной беседе...

И шоколад.

И... подло это будет.

Лизавета тряхнула головой: нет, вот до чего она не опустится, так до откровенной подлости.

— Спасибо. — Конфета оказалась темной и сладкой, с тягучей медовой начинкой, которая разлилась по языку. — Я... действительно не знаю, как здесь оказалась. Вышла погулять... я первый день здесь.

Лешек кивнул. И даже посочувствовал:

— Он большой, дом-то, я маленьким частенько плутал. Бывало, как от нянек сбегу, так непременно потеряюсь. После всем двором ищут...

— Нянек у меня не было...

— Повезло. — Он облизал пальцы и сказал: — Ешь конфеты. У меня много. Я не жадный.

— Это хорошо... я... шла, шла и...

И говорить ему о теле?

Нельзя.

Еще испугается. Или не поверит. Или вызовет кого из стражи, и тогда Лизавету... А промолчать? Но тело, выходит, лежало в коридоре, который вел к личным покоям великого князя? А это не просто так... или... Лизавета моргнула, пытаясь избавиться от страшной мысли: что, если...

Если он?

Он огромен. И сил задушить хватит. И...

— Опять страшно? — Лешек покачал головой. — Нужно дышать. Мне так говорили. Как только страхи появляются, дышать надо. Ртом. А выдыхать через нос. Вот так.

Он втянул воздух со свистом, хекнул, застывая, а после медленно наклонился, едва не упершись в столик лбом.

— Тогда совсем не страшно уже. — Голос наследника престола донесся из-под стола. — Только сопли выползти могут. Но лучше уж сопли, чем страх. А у тебя к туфельке что-то прилипло.

Лизавета подняла ногу... лепесток.

Белый мятый лепесток.

И... и синий взгляд, слишком, пожалуй, внимательный... и надо решаться, надо... она

почти успела, когда в дверь постучали.

— Вот же, — со вздохом произнес Лешек, пряча конфеты под стол. — Чаю попить не дадут... входите, кого там нелегкая принесла...

ГЛАВА 13

Димитрий стоял над телом, раздумывая, не придушить ли ему заодно и старинного приятеля, который не нашел иной забавы, кроме как собрать с сотню девиц не самого простого характера, да и стравить их в борьбе за собственную персону.

Или за корону, что правдивей.

А главное, поди думай, случайно ли убили Кульжицкую, или же связана эта смерть с неосторожными ее словами, которые, кроме княжны Таровицкой, слышали многие.

Димитрий обошел тело.

Задрал юбки.

Белье покойной было в порядке, стало быть, обошлось без насилия... нет, после скажут точно, а то находились всякого рода умельцы. Однако...

Чулочки тоненькие.

Панталончики батистовые, кружевом отделанные...

— Интересно? — спросил Лешек, тоже заглядывая под юбки.

— Хватит паясничать...

— Извини. — Приятель разом посерьезнел. — Думаешь, не случайно?

— Что не случайно, то оно определено. — Димитрий юбки опустил и поправил. Ножки сложил. Руки, горло обнявшие, распрямил. — Слишком все... театрально. Чулок этот, лепестки розовые...

— К слову, о лепестках... — Наследник престола поднял один и, потеряв, понюхал. — «Сюзанна». Из матушкиного сада... есть у нас свидетельница... точнее, не совсем чтобы свидетельница...

И чем больше он говорил, тем меньше эта история нравилась Димитрию. Почему-то он ни на секунду не усомнился, что речь идет о той самой рыжей Лизавете, которая гуляла вместе с монструозным чемоданом.

Совпадение? Или...

К девице стоило присмотреться. Он даже знал, кому поручит это дело.

Спала Лизавета на редкость спокойно, что с ней давненько не случалось. Сны ее обыкновенно были или тревожны, полны обиженных на нее людей, желавших отомстить, или же несли в себе воспоминания светлые о днях счастливых, но и тогда, даже во сне, она пребывала в уверенности, что это счастье недолговечно, оттого волновалась.

В общем, вот такие ночи, когда удавалось просто-напросто выспаться, случались редко.

И потому пробудилась Лизавета в распрекрасном настроении, и даже зеркало, отразившее слегка помятую, встрепанную девицу, его не испортило. Выбравшись из постели, Лизавета потянулась, наклонилась влево и вправо. Слегка поморщилась, припомнив вчерашнее происшествие.

Писать?

С одной стороны, несомненно, сенсация, которой от нее ждут, с другой — как-то оно... непорядочно? Нет, не совсем то... но вот цесаревич ее не выдал, выпроводил из комнаты тайным путем, перепоручивши седовласому лакею. Тот на Лизавету поглядывал неодобрительно, однако молчал и вел... и... и если она напишет как есть, возникнут вопросы.

Много вопросов. В том числе и к ней.

Если смолчит...

Она отложила расческу, решив, что в таких делах торопиться не следует.

— Слышала? — Авдотья вышла в платье цвета лазури, которое было столь же неподобающе роскошным — все ж утренним нарядам более пристали легкость и сдержанность, — сколь и неудачно скроенным. — Кульжицкая с любовником сбежала.

— Что?

— Ага. — Авдотья кивнула кому-то, впрочем, ей не ответили. — Все об этом говорят...

Девиц собрали в уже знакомой зале, правда, приглашать к столу не спешили. Авдотья помахала веером и тихо добавила:

— Не верю.

— Почему?

Нет, Лизавета точно знала, что несчастная — значит, Кульжицкая, надо будет запомнить — никуда не сбежала. Но узнать, что думали прочие, следовало.

— Потому что она занудной была. — Авдотья веер захлопнула и, воровато оглянувшись, сунула его в декольте. Пожаловалась: — Свербит... не знаю чего... прям с утра... так вот, я Гдыньку знала... ну как, не приятельствовали... она в пансионате заводилой была. Этакая... цесаревна... ходит павою, ручки расставивши. И за нею другие курицы. Она только и могла говорить про то, какой у нее род знаменитый и великий. И тут не лучше... слушай, как-то прям совсем зудит...

— Покажи. — Лизавета развернула Авдотью к окну и поморщилась: кожа в вырезе была красна, будто ошпарена.

— Так вот... она мне в первый же день заявила, будто... папенька обо всем позаботится, что мне здесь делать нечего... и никому нечего...

На красной коже проступали знакомые белые пятнышки.

Чесоточный порошок?

Здесь?

Дурная шутка, которая весьма скоро перестанет шуткой быть.

— Не шевелись. — Лизавета судорожно пыталась вспомнить хоть одно полезное заклятие. Был же у них курс целительства, пусть и теоретический сугубо, но был же. Никогда-то оно ей не давалось, но основы... заморозка... точно, легкая заморозка снизит чувствительность, а далее... не может такого быть, чтобы во дворце не отыскалось пары-другой целителей.

— И главное, уверенная была, что у нее все выйдет... когда Таровицкую хвалить начинали, прям кривилась вся... а про Одовецких сказала, будто род их свое уже сыграл... ох ты ж, Матерь Божья... везде свербится...

Знакомый звук заставил девиц встрепенуться.

Двери открылись...

Нехорошо опаздывать на завтраки, неуважительно по отношению к хозяевам, даже если хозяева эти не дают себе труда к гостям выглянуть, но...

...не бросать же ее так.

Заклинание выплеталось, правда, получалось кривеньким, и Лизавета искренне надеялась, что не сделает хуже. Это ж надо было додуматься. Это...

Преступление.

— Ох! — Авдотья встrepенулась. — Похорошело...

— Не двигайся только. Я... еще тот целитель... просто стой, я контур укреплю...

Белые пятнышки на коже продолжали появляться. Иные раздувались, превращаясь в полупрозрачные волдыри, готовые лопнуть при малейшем прикосновении. Значит, не только порошок... сам по себе он не то чтобы безобиден, скорее вызовет лишь покраснение и зуд, а вот волдыри...

Без магии не обошлось.

Лопнут — и вместо них на коже язвы образуются. Лизавета с таким уже сталкивалась и помнит, что эти язвы мало того что болезненны, так еще и заживают плохо.

— Даже дыши аккуратно...

Она огляделась.

Комната была пуста. Двери распахнуты.

— Это... кухня... вот тварь. — Авдотья к предупреждению отнеслась в высшей степени серьезно. — А мне должно быть так холодно? Будто лед на грудь положили...

— Должно... я сейчас отойду...

— Куда?

— Найду кого-нибудь... тебе целитель нужен, и срочно.

— Точно она, больше некому... змеища... ничего, я не забуду... — Она прикрыла глаза и добавила невпопад: — Гдынька б ни в жизнь корону на любовника не променяла... непонятное что-то творится.

А Лизавета едва сдержалась, чтобы не заорать.

В комнате было пусто.

Двери... и закрылись.

Слуги... слуг нет... совсем нет... и за дверями... и... этого человечка она заметила лишь потому, что дернулся он.

Неприметненький.

Маленький, сгорбившийся и весь какой-то серый, невыразительный до того, что плакать охота. Или это от нервов? Нервы беречь надобно, а потому Лизавета носом шмыгнула и вцепилась в руку мелкого — очень мелкого и даже ничтожного по дворцовым меркам — чиновника, заявив со всей возможной строгостью:

— Стойте. Мне нужен целитель. Немедленно...

Димитрий опаздывал.

Нехорошо, но и завтрак задерживать нельзя: не поймут-с. Поговаривали, что и во время мятежа местный распорядок соблюдали наистрожайшим образом. И даже когда мятежники ворвались в Летнюю резиденцию, им было велено погодить с претензиями...

Байка, конечно, но в целом почти правдоподобная.

А ведь дело задержало.

Заговорился.

Сперва с княгиней Игерьиной, которая, если подумать, ничего важного и не сказала,

мол, не злоумышляет, на собеседовании проявила похвальную искренность, однако и туману напустить сумела.

Искренность искренностью, однако...

Менталисты, чтоб его.

После пока распоряжения отдал — рыженькой следовало заняться плотнее, и не только ею. Как-то же попала она в царское крыло... и не только она.

Кульжицкую убили там же.

Куда подевалась охрана?

И дворцовая гвардия?

И казаки, приставленные к Лешеку? Тот хоть и не особо жаловал сопровождение, однако был в достаточной мере разумен, чтобы не пытаться сбежать.

Допросы ничего не показали.

Охрана была уверена, что ни на мгновение не покидала поста, а казаки и вовсе полагали, будто весь прошлый день провели прямо за спиною цесаревича... и главное, описывали этот день преподробненько. Нет, Игерыну надо отзывать. Пансионат для девиц одаренных, конечно, дело важное и почти государственное, однако происходящее во дворце куда важнее.

В общем, заработался.

Ночь не спал. Такое частенько и прежде случалось, а тут то ли запаматовал Дмитрий про укрепляющее зелье, то ли пообвыкся с ним, но сморило прямо за столом. А уж этакий сон здоровья не прибавил. Проснулся он на рассвете от ломоты в плечах и с больной головой, которую следовало в порядок привести.

Привел.

И немедля требовал к себе Стрежницкого, как и собирался. Тот явился незамедлительно, хоть и играет роль привычную — охламона, но разумен...

Наблюдателен.

И собой хорош тою сахарной красотой, которая в сердцах девичьих находит горячий отклик. Думать об этом почему-то было неприятно, но Дмитрий давно уж приловчился разбираться с неправильными эмоциями. И тут отмахнулся.

— Есть задание, — сказал он, окинувши придирчивым взглядом фигуру Стрежницкого. Тот ко вниманию начальства высокого отнесся без пиетета. Ишь, раскинулся в кресле, будто стоит оно не в кабинете чужом, но в родовом особняке.

Впрочем, от того особняка, поговаривали, осталось три стены да подвал, вина из которого еще при первой волне бунта вынесли то ли мятежники, то ли сам управляющий, воровство прикрывая.

Было тогда Стрежницкому лет мало, но урок он усвоил.

И Смуту не забыл. Сполна хлебнул кровавого винишка, а потому обыкновенное не брало более. И знал он распрекрасно, что такое голод, холод и страх. А потому служил не за деньги, вернее, не только за них.

— Надо присмотреть за одной девицей... понять, что она такое. — Дмитрий подавил желание отправить Стрежницкого восвояси.

Высок.

Статен. Волос золотой, глаз синий. Черты лица правильные, пусть и несколько тяжеловатые. И лет его немалых не дашь, благо маг, хоть и средненький. Шрамик на щеке и то внешности не портит, но будто придает дополнительного лоску. Да... если

рыжая устоит, то с нею точно не все в порядке.

— Насколько... плотным должен быть присмотр? — поинтересовался Стрежницкий. И вновь кольнуло: никогда-то он не протестовал, никогда-то не возмущался, никогда не просил иной работы, покорно играя грязные, подловатые роли.

И всякое за ним водилось.

Но ничего, жил как-то... и неплохо, сколь Димитрий знал, жил.

— Сам решишь... главное, держись рядом.

Димитрий поймал себя на мысли, что не способен внятно объяснить, что именно ему не дает покоя.

— Не обижай, — попросил он. — Может... она и ни при чем... просто... мутно все.

Стрежницкий кивнул и сказал:

— Мне вызов бросили...

— Кто?

— Боровецкий... бестолочь...

— Из-за чего?

— Да глупость... — Стрежницкий постучал пальцем по подлокотнику, что выдавало сомнения, им испытываемые. — Совершеннейшая... мы с ним столкнулись. Совершенно случайно... и я наступил ему на ногу. Извинился. Честно извинился.

Он раскрыл ладонь, коснулся белого пятна — ожог почти удалось вывести, но вот это пятно осталось — и произнес:

— Нормально извинился... а он начал наседать... обозвал идиотом. Хамом. Сволочью...

Любопытно.

— Старший? — уточнил Димитрий. Боровецкие — род старый, но отличавшийся редкостным благоразумием.

— Младшенький... я его, честно говоря, впервые увидел... не хотел влезать. Я помню...

Димитрий кивнул: да, сам он некогда просил Стрежницкого попридержать норы и шпагу, которой тот владел исключительнейше.

— Я сказал, что не желаю ссоры... меня обозвали трусом и кинули перчатку в лицо. Все это...

Дурно выглядит.

Кто-то узнал, что Стрежницкий на контору работает?

Маловероятно... он давно уже заработал вполне определенную репутацию человека в высшей степени испорченного.

Гуляка.

Бретер. Повеса.

Пьяница и хам, который позволяет себе слишком много, особенно в отношении дам.

— И что делать собираешься?

— Выходить... сам понимаешь, иначе никак.

О да, здесь простят многое, но не трусость, да и образа, который создавался столь тщательно, жаль.

— Постараюсь его не убить.

— Будь осторожен. — Все же не стоит недооценивать противника, тем паче такого, о котором известно до крайности мало.

Стрежницкий склонил голову и уточнил:

— Если все-таки...

— Сам в живых останься. С остальным разберемся.

Что ж... убивать Стрежницкий не любил, слишком уж многое видел, чтобы относиться к смерти легко, однако при нужде церемониться не станет. И это успокаивало.

Слегка.

Все ж не любил князь Навойский непонятного.

И вот, выпроводив Стрежницкого, Дмитрий спешил дворцовыми коридорами, надеясь лично присутствовать при завтраке. И что характерно, он почти успел, когда перед ним возникла давешняя рыжая и схватила за руку.

— Стойте, — велела она строго. — Мне нужен целитель. Немедленно.

— Зачем? — Благо Дмитрий вспомнил, что пребывает ныне в роли и даже успел слегка напрячься: а ну как узнан будет?

— Девушке плохо. — Рыжая указала на залу: — Там...

И когда он шагнул, вновь за рукав дернула:

— Целитель нужен.

Нужен или нет, это Дмитрий сам решит. Он лишь искренне надеялся, что Лизавета несколько преувеличивает... мало ли, сомлел кто или...

Или покрылся красной воспаленной кожей, которую украшала россыпь белесых пузырей. Девушка стояла, чуть разведя руки, мрачно на них поглядывая — пальцы отекли, как и сами ладони, сделавшись больше похожими на подушки.

— Твою ж... — Дмитрий добавил пару слов из тех, которые в приличном обществе произносить не принято. И, разломив тревожную булавку, бросил вызов целителю. Он лишь надеялся, что медлить тот не станет: у девицы опухли не только руки. Щеки ее раздуло, шея сделалась огромна...

— Полный... — согласилась девица меланхолично. — Лизаветка, а я тут не околею, часом? А то знобит как-то.

— Дышать можешь?

Девица хотела было кивнуть, но передумала.

— Могу.

Губы ее раздуло, а глаза почти исчезли в складках кожи. И что за... а ведь Дмитрий предупреждал, что так и будет. Разве ж слушали? Конечно... девицы благородных родов... до пакостей не опустятся.

Первым явился Лешек.

Просто открылась дверь, ведущая в обеденную залу, выпуская цесаревича, за которым с видом мрачным и решительным — выволочку они сочли несправедливой, что и стремились показать ныне всему свету, — следовали казаки.

— А я думаю, чего стулья пустые стоят. — Лешек махнул рученькой, и кружевной манжет затрепетал. — А вы тут...

— А мы тут, — подтвердил очевидное Димитрий, сгибаясь в поклоне.

Лизавета присела. Деввица... не шелохнулась. Редкостное, к слову, здравомыслие. Или ее парализовало ко всему? Хотя... вон пальчиком чуть шевельнула, значит, не паралич.

Что ж, здравомыслие встречается куда реже.

— Болеее? — Лешек споро расстегнул узорчатые пуговицы камзола, который кинул на пол, правда, упасть драгоценной одежде не позволили, подхватили. А цесаревич уже рукава закатал.

Пальчиками пошевелил, разминаясь.

Вздохнул.

И велел:

— Стойте смирно...

Димитрию случалось видеть, как Лешек работает, пусть об этой его особенности предпочитали не распространяться: где ж это видано, чтобы исконный огневик целительством занимался? Справедливости ради стоило отметить, что работал Лешек лишь с ядами, передалась от матушки кровь змеиная.

И умение слышать отраву.

Звать ее.

— Будет неприятно, — счел нужным предупредить цесаревич. А рыжая вновь за руку схватилась, замерла, будто бы это ее врачевать собирались. И глаза распахнуты, рот приоткрыт... посмотреть и вправду есть на что: вот с пальцев царевича будто бы золотые змейки сползают.

Да прямо на кожу.

А уж там, прилипнув к ней, тянут отраву, и кожа бледнеет, а змейки наливаются силой. Становятся больше, тяжелее. И деввица с лица слегка осунулась, стоит, смотрит, хорошо, что орать не орет... только дышит чаще, но это от того, что больно.

Вот губу чуть прикусила.

Глаза прикрыла.

А Лешек сказал:

— Это... не слишком быстро, зато надежней... целители с таким не справятся.

Это уже было не девнице адресовано, но Димитрию. И в словах почудился упрек: мол, как же ты просмотрел... А и вправду: как? С чесоточным порошком шутили во дворце, особенно среди слабого полу в ходу он был: на каждом балу дебютанток кому-то да поднесут то букет отравленный, то перчаточки... то, прислугу подкупивши, вовсе платье посыплют.

Но там это... не настолько.

Змеи почти воплотились. И Димитрий знал, что деввица распрекрасно ощущает их, тяжелых, чуть прохладных и ужасающе живых. Они шевелились, не иначе как чудом удерживаясь на платье, но при всем том меняя места. Вот одна запястье обвила, поднялась до локтя, а рука девщины сделалась тоньше, белее.

И пузыри исчезли.

Она и вздохнула. Осторожно руку подняла.

— Так ей удобнее будет... — Глаза деввица открыла-таки и теперь за змеею следила с немалым интересом, а та переползла выше, устроилась на плече, шею обвила. — У нас... водятся... полозы... иные огромные, в двадцать саженой... батюшка говорил, что этих

трогать невозможно, что они жилы каменные стерегут.

— Ага. — Лешек опустил на колени и за юбку взялся. — Вы не возражаете?

— Так... наверное...

Девушка слегка покраснела.

— При свидетелях же... а то станут говорить...

— Не станут, — пообещал Дмитрий и велел: — Одежду после передайте... Быстрякову передайте, пусть займется, отыщет шутника...

Лизвета руку убрала и вздохнула с облегчением явным. Неужто за подруженьку волновалась?

— Так чего искать? — Та голову наклонила, позволяя змее забраться в волосы. — Кузина моя... больше некому... я еще думала, чего это она в гости заглянула-то? Так-то вид делала, будто знает меня не знает...

— Вы враждуете? — Лешек пустил под юбки еще одну змею, а трех, махоньких, снял да на янтарные стены перенес, они и ушли в камень.

И надо полагать, действие сие не останется незамеченным.

— Да чего нам с ней делить-то? — вполне искренне удивилась девушка. И пожаловалась: — Щекотно...

— Не больно?

— Самую малость... я как-то было в крапиву упала, вот тогда пекло... а тут... она не злая девушка. Вреднющая... но чтоб так... — Девушка все ж покачала головой, на которой давешняя змея — разжирневшая, разросшаяся — устроилась венцом, и добавила: — Не сама она... может, Таровицкая велела... хотя зачем ей? Или кто присоветовал... и порошок дал...

Если дали, то это обнаружится наверняка. Чесоточный порошок, тем более такой, действие которого значительно усилено магией — а слепок Дмитрий предусмотрительно снял, — крайне сложно использовать. Одной крупы хватит, чтобы обжечься.

И Лешек подумал о том же.

Кивнул.

И змее велел:

— Веди себя пристойно.

— А я что? — удивилась девушка и на юбки поглядела. — Я ж... стою...

— Это я не вам.

— Тогда ладно... спасибо... за все спасибо. — Она покраснела еще сильнее. — Хороша бы я была... красавица... небось весь конкурс у целителей пролежала бы... да не зыркай ты, Лизка, я ж знаю, что за погань... у нас ею одно время тоже повадились развлекаться. Над новенькими... корнети одному в сапоги сыпанули, так у него кожа вся слезла, до мяса... ох папенька и осерчал.

— И что сделал?

— Нашел шутников и пороть велел, пока у них тоже шкура не слезет... на заднице. Сказал, что только так оно и дойдет...

— Дошло?

— А то! — Она подняла руку, помогая змее переползти на другое плечо. — Папенька у

меня вообще доходчиво объяснять умеет... только вы Дешечку не гоните, а то ж тетка разобидится. Я-то ладно, мне с ними жизнь не жить, а папенька расстроится крепко. Он у меня впечатлительный дюже...

ГЛАВА 14

В общем-то во всем этом было нечто до невозможности безумное. Цесаревич, задравший Авдотьины юбки. Разглядывал он круглые коленки, и отнюдь — тут Лизавета готова была поклясться — не только с целительским интересом.

Золотая змея, длина которой достигала никак не менее пяти сажен.

Авдотья, эту змею поглаживавшая.

И главное, казаки в парадных мундирах, наблюдавшие за безумием с видом правндоушным. А может, не впервые видят и...

Привычные.

И к юбкам, и ко змеям... главное, один встал у двери, заслонивши ее собою, а за спиной повисло полупрозрачное марево скрепляющего заклатья. Второй пристроился у парадной. Третий... просто стоял, но Лизавета чувствовала на себе внимательный его взгляд.

Неуютненько.

А главное, где, спрашивается, они вчера были, когда...

И может, сегодняшнее происшествие тоже... нет, если бы вчера та девушка от порошка преставилась, то... по ней видно было бы. Вон пузыри с Авдотьи ушли, припухлость спала, а кожа все одно темная, красная, будто обваренная. Такое сложно не заметить.

И цесаревич поднялся.

За спину взялся, потянулся со стоном.

— Сорвали? — Авдотья то ли не понимала, кого перед собой видит, то ли трепета должного не испытывала. — Медвежьим жиром надо мазать. Помнится, меня когда жеребец наш сбросил, тоже целители баили, что встать не встану, ходить не хожу... только шиш им.

Шиш она и скрутила, а заодно уж змею через плечо перекинула, будто та была не гадиною преогромных размеров, но меховым воротником. Помнится, одно время этикие длиннющие крепко в моду вошли. Пока одна раскрасавица не удавилась...

Ох и скандал же вышел.

— Папенька мне шаманку привез, а она — жир медвежий, с травами... я теперь его всюду вожу.

— Предусмотрительно, — оценил цесаревич.

— Так я...

— Буду благодарен...

— А с нею... — Авдотья змею погладила, и темно-зеленые, будто из драгоценных камней выточенные глаза благодарно прикрылись. — Чего?

Змея потерлась о раскрытую ладонь, будто кошка, и, выпустив раздвоенный язычок, кольнула им запястье.

— Не шали, — велела Авдотья.

— С ней... если вы не будете возражать... если не боитесь... она совершенно безопасна...

Вот Лизавета в жизни бы не поверила, что этакая тварюга — да еще немного, и она человека заглотит целиком, не подавившись, — и совершенно безопасна.

— Было бы неплохо, если бы вы с ней... еще немного походили... посидели... прилегли. —

Цесаревич вздохнул тяжело. — На ночь, скажем... и завтра. Она б остатки воздействия... убрала.

— На ночь так на ночь, — спокойно сказала Авдотья. — А теперь... чего? Или к себе идти?

— Идти, идти, — подтвердил тот самый чиновник, который чем дальше, тем более знакомым казался. Вот только Лизавета, как ни старалась, не могла припомнить, где же и когда видела этого более чем невзрачного человечка. — А то еще расстроится ваш папенька. Помнится, характер у него еще тот... так что отдыхать. Всенепременно отдыхать.

И, окинувши Лизавету насмешливым взглядом — почудилось, видит он всю ее, вместе с тайнами и мелкими прегрешениями, — добавил:

— Обеим.

В покои их провожали казаки, а вел все тот же мрачный лакей, который лишь тяжело вздыхал, должно быть, сетуя на нынешние нравы, распущенность молодежи или погоду, что тоже не задалась. Главное, что дело он свое знал, и по пути Лизавета не встретила ни одного человека.

И вот как такое возможно?

— Ох ты ж... — Авдотья поправила кольца потяжелевшей змеи, которая теперь обвивала ее шею янтарным ожерельем. — К нам как-то приезжали балаганщики... и там девка одна со змеями танцевала. Только у ней небось поменьше...

— Тяжело? — Лизавета прикидывала, хватит ли у нее смелости прикоснуться к змее.

— Выдюжу... небось не тяжелее чем... — Она смолкла и с неожиданной робостью поинтересовалась: — Посидишь? А то ж... одной... будет в голову всякое лезть.

— Посажу.

Поселили ее в покоях куда как более просторных, нежели Лизаветины. Сопровождение осталось снаружи, лакей и вовсе, осведомившись, не нужно ли чего, исчез. А Лизавета вот осталась.

Осмотрелась.

И гостиная хорошая, просторная, с преогромным, в пол, окном. До того Лизавета подобные лишь на картинках видела. Легкие портьеры, светлый пол. И мебель белая, воздушного вида. Впрочем, Авдотья на козетку рухнула отнюдь не картинно, юбки задрала и, зажмурившись, поскребла ногу:

— Что б вас... поможешь раздеться? Не люблю я эти платья... а вызвать кузину и волосья повыдергать... не позволят.

— Почему?

— Потому что ничего-то этого не было. Посиди-ка тут, дорогая, — это было сказано змее, которая безропотно перебралась на ту же кушетку, свернулась искристым шаром. — Потому что, узнай кто, скандал будет. А нашим скандалы без надобности... про конкурс небось все газеты пишут... а тут одна сбежала, вторую отравить пытались.

Лизавета вынуждена была признать, что в этом своя правда.

— И думаю, что не сбежала она...

— Не сбежала.

Лизавета вздохнула и решила: может, оно и не слишком разумно было, только нечаянная тайна грызла изнутри:

— Убили ее.

— Да? — Авдотья не слишком удивилась, повернулась спиной и спросила: — Так поможешь? Извини, но...

— Помогу.

Ряд мелких, обтянутых шелком пуговок казался бесконечным. И ведь давно уже вышли из моды и юбки пышные, и тесные корсажи, золотом расшитые столь плотно, что и сама ткань казалась литою.

— Оно к тому шло. — Авдотья молчать категорически не собиралась. — Слишком много она говорила...

— О чем?

— Обо всем... о том, что род их достоин большего... что скоро грядут перемены... небось опять бунтовать станут.

— Кто?

— Кто ж знает. Папенька говорит, что люди, они порой совсем дурноватые бывают и, какая бы власть ни была, найдут причину недовольство изъяснить... раз так, то точно бунтовать будут... император вот приболел... императрицу тут не любят крепко. Уйдет он, и она не задержится... цесаревич... мне говорили, что он головой скорбный...

Пуговики сопротивлялись, норовили выскользнуть из пальцев, не желая входить в тугие петли. И где-то должен был быть крючок, но Лизавета не имела ни малейшего представления, где его искать.

— Как ее убили? — поинтересовалась Авдотья.

— А...

— Если знаешь, что убили, то должна знать как...

С этим утверждением можно было бы и поспорить, однако Лизавета не стала.

— Задушили.

— Задушили... — задумчиво протянула Авдотья. — Странно...

— И розовыми лепестками сверху... посыпали...

Ответом было хмыканье, то ли недоверчивое, то ли удивленное, то ли просто так. Авдотья повела плечами, пытаясь выпутаться из платья.

— Погоди, порвешь...

— Ну и к лешему... не могу... я такие не ношу, это все тетушка, мол, приличной барышне без красивых платьев никуда... чтоб ты знала, как они давят...

Цесаревич целовал очередную ручку, пытаясь сквозь ткань перчаток почувствовать эхо уже знакомого яда. У матушки, конечно, вышло бы легче, но было бы несколько странно, если бы императрица взялась ручки целовать, да и...

Девушка хихикала.

Жеманно закатывала глазки, а цесаревич со вздохом думал, что ручек осталось уже немного, где-то с полсотни... надо, надо конкурс начинать... и в первом же туре половину выпроводить, а то устроили из дворца невесть что.

— Ах, до чего у вас глаза... синие, — пролепетала очередная красавица, стараясь справиться с собой. Пухлые щеки пылали румянцем, ресницы трепетали, а в глазах тренированная томность боролась с естественным любопытством.

— Это у меня от маменьки, — вежливо сказал Лешек. И поклонился: — Несказанно

счастлив знакомству...

— И я... счастлива... а скажите... — Девушка запнулась, не зная, что спросить. — Вы книги любите?

— А то! — Лешек улыбнулся широко. — Еще как... очень удобная придумка. Помнится, «Алгеброй» хорошо шкап подпирать.

— Шкап?

— Ага. Он шатался. А я его «Алгеброй»... или вот еще мух бить...

— Мух?

Томность из взгляда ушла...

— Мух, значит? — Аглая Одовецкая смотрела этак снисходительно, будто было известно ей куда больше, нежели прочим. Ручку ей Лешек поцеловал, но больше для порядка, поскольку не сомневался, что если б она взялась соперниц травить, то не допустила бы такой глупости, как остаточные следы на пальцах. И верно, ручки ее были чисты и пахли травами.

— Мух... знаете, до чего их тут летом... много.

— И защита не помогает?

— Дык... мушину не поставишь, от обыкновенной не продохнуться, — вполне искренне сказал Лешек. — А они и рады... лезут, гудят... бывало, спать приляжешь, так какая-нибудь заразна так и норовит на лицо усестся. И ползает, щекочет... никакого покоя.

— Ужасно.

Одовецкая покачала головой и поинтересовалась:

— Что ищете?

— Невесту.

— А сейчас? — Ответ ее не смутил ни на мгновение. — Бросьте, это плетение мне знакомо... и особые ваши свойства... а уж всплеск магии в принципе было сложно не заметить. И к слову, вы знаете, что у вас на рукаве...

Она коснулась пальчиком манжеты, подбирая невидимую крупинку, поднесла к носу, принялась.

— Даже так... кто-то пострадал?

— Да.

— Сильно?

— Мы успели вовремя...

— Неприятно. — Аглая по-хозяйски положила руку на сгиб его локтя. — Но, помнится, одна... милая барышня вела себя за завтраком несколько необычно...

Она указала взглядом на колонну, в тени которой пряталась девушка вида вполне обыкновенного. Бирюзовое легкое платьице в узкую полоску. Волосы, зачесанные гладко. Белые перчатки, которые девушка то и дело трогала.

— Благодарю...

— Не за что. — Аглая отступила. — И... если вам понадобится помощь, то вспомните, что Одовецкие всегда были верны империи...

Как ни странно, прозвучало это отнюдь не пафосно.

Получасом позже Димитрий разглядывал девицу с перебинтованными руками. От нее больше не пахло розовой водой, ибо заживляющие мази пусть и отличались отменнейшим качеством, но запах имели преотвратный. И девица морщилась, кривилась, пускала слезы, впрочем, как-то скоро спохватывалась.

— Это просто шутка была, — наконец сказала она. — Не самая удачная, признаю... но... я не хотела вреда...

— И поэтому посыпали чесоточным порошком... что, к слову?

— Нижнюю рубашку... мне показалось, это будет забавным, если она начнет за столом чесаться... — Девица вытащила из рукава воздушного вида платочек. — Я не предполагала... я... мне предложили...

— Кто?

Девица поморщилась, тронула висок.

— Не знаю... не помню... мы просто говорили... сидели и говорили...

— О чем?

— О конкурсе, — запираться она не думала. — О том, что здесь собралось... слишком много всяких... лишних... Господи, неужели нельзя было правила толком продумать?

— Это как? — уточнил Димитрий, перекладывая папочки из левой стопки в правую. Время от времени он очередную папочку взвешивал, открывал, перебирал в ней бумажки и возвращал на место. Бессмысленные по сути своей манипуляции оказывали на допрашиваемых воистину удивительное воздействие. И девица подобралась.

Фыркнула.

Платочек в руке кое-как сжала.

— Не знаю, — сказала она. — Как-нибудь... зачем эти все... мелкие помещицы, провинциалки, у которых ни воспитания, ни вкуса...

— Зато есть деньги, — поддержал Димитрий.

— Только и есть, что состояние... и то... небось, что мой дорогой дядюшка сделал? Сидит себе на границе, лис гоняет...

Генерал Пружанский гонял не только лис, и во многом благодаря хватке его и норову, пусть диковатому — сказывалась исконно турецкая кровь, граница эта перестала беспокоить империю. Да, время от времени случались стычки, но и только...

Ни набегов.

Ни сожженных деревень.

Ни пленных, которых пришлось бы выкупать. Да и татарва к Пружанскому прониклась изрядным уважением, что тоже было немало.

— ...А ему почет и уважение... и состояние... небось ворует не меньше иных...

— Вы своего батюшку в виду имеете? — вкрадчиво поинтересовался Димитрий. О юной баронессе Бигльштейн он успел узнать не так чтобы много, но вот факт, что батюшка ее, урожденный барон Бигльштейн, вынужден был весьма спешно оставить довольно хлебную должность, мимо не прошел.

— Его просто за руку не схватили... откуда у Дотьки бриллианты? У меня нет, а у нее... и ходит вся такая... позорит род!

— Чем?

— Всем! Вы же ее видели... чудовище настоящее... ни манер, ни обхождения... гогочет во

весь голос, будто простолюдника! А говорить начинает... надо мной все смеялись, когда узнали, что она... она моя родственница... и матушка... зачем она ему написала?

— Может, затем, что за счет Пружанских и вас в свет вывезли?

— Бедной родственницей?

Вины за собой девица определенно не ощущала. Напротив, она подняла руку, покрутила и поинтересовалась:

— Скоро заживет?

— Недели через две...

— Но...

— От конкурса вы будете отстранены. — Дмитрий открыл очередную папочку. — И сегодня же отбудете домой...

— Домой? Из-за... — от возмущения она задохнулась. — Это нечестно!

— Вообще-то за попытку убийства вам грозит десять лет каторги, но ваша кузина просила...

Судя по ответу, в котором слов приличных было едва ль с полдюжины, любви к кузине не прибавилось. Что до остального... Дмитрий крепко подозревал, что и вмешательство менталиста не позволит девице вспомнить, кто же дал ей волшебный порошок, подтолкнув к мысли о небольшой шутке.

Жаль.

Определенно...

ГЛАВА 15

К себе Лизавета возвращалась поздно вечером. Признаться, были у нее опасения — до того подруг у Лизаветы не случалось, вернее, были какие то, кого она полагала друзьями, но после смерти родителей и отчисления они куда-то подевались, — что проведенный наедине с Авдотьей день будет утомителен, но...

Она вдруг оказалась весьма занятой собеседницей.

Авдотья говорила о границе.

Ярко.

Вдохновенно.

Рассказывала о бескрайних полях, которые по весне расцветают алыми маками, и тогда вся земля кажется укрытой драгоценным кхирским ковром. Правда, длится сие великолепие недолго. Горячий южный ветер срывает лепестки, и наступает время вихрей и свадеб.

О лете и песках, которые заносят колодцы.

Об узких каналах.

И о домах, выдолбленных в скале. О пещерном городе Аль-Уддахе, где царит вечный мир и никто, даже чужаки, незнакомые с местными порядками, не рискуют лить кровь. Зато в Аль-Уддахе базар открыт и днем, и ночью. Он сам, сокрытый во глубине гор, живет какой-то своей жизнью, и люди обычные не рискуют задерживаться там больше чем на сутки, ибо тогда горные боги заберут себе душу, прикуют ее незримыми цепями, и в Аль-Уддахе появится очередной жилец.

О ветрах, которые осенью поют, и многим в песне их слышатся голоса ушедших. Осенью патрули удваивают, а колокола махоньких церквушек звонят почти не смолкая. Но и это не помогает, каждый раз кто-то да уходит.

Куда?

А разве ж она знает.

Авдотья и сама слышала что материн ласковый шепот, уговаривающий открыть окошко, а после выйти в сад, что звонкий голосок единственной своей подруги, которая однажды поддалась на уговоры ветров. Она звала поиграть, просто поиграть...

Авдотья сумела.

Устояла.

А когда рассказала батюшке, тот в пансион и сослал, благо ненадолго, поскольку уж очень душили Авдотью каменные стены пансиона. Там, на границе, все иначе.

Свободней.

И никто не глянет косо на девуку, коль у нее на платье два ряда пуговиц вместо одного. Моды? Да, журналы папенька выписывал — для порядку и еще потому, что у офицеров тоже жены имеются... свое общество. И разговоры свои.

И умение держаться верхом там важнее, чем знание ста двадцати семи правил этикета. Вон было время, когда офицерские жены сами садились в седла и дрались не хуже мужей. Благо что магички через одну. А кто не умел огня родить или водяную плеть выплести, тем хватало работы за городом досмотреть.

Авдотья тоже умеет.

Ей четырнадцать было, когда татарва в набег пошла, и хитро так, дождались, когда полки на учения отойдут. Ночью перешли Салабынь-реку и марш-бросок устроили к самым стенам Адавынской крепости. В ней же комендант старенький и офицерского

составу лишь треть. Эта треть на стены и пошла, а вот город за Авдотьей остался.

Почему?

Так дочка генеральская... ей положено... командовала. Папенька после хвалил, конечно, только вновь отослать попытался, на сей раз к тетке. Авдотья не поехала. Город? Что город? Ничего-то особенного она не сделала... небось там каждый свое место знает, а кто не знает, тому живо местные укорот дадут... тетка же со своими этикетками куда как страшней...

Написать бы про это.

Правда, писать с чужих слов Лизавета не привыкла. И опять же, набросай историйку, получится, несомненно, презанятно, да и публика, сколь она успела разобраться в симпатиях общества, проникнется к Авдотье любовью, только... вновь же, рассказывали не для публики, а для Лизаветы.

Говорили, прикрыв веки, поглаживая янтарную змею, что устроилась на груди Авдотьиной.

А вот про шутку она написать вполне может.

Осторожно если...

Ибо мало ли кто про эту забаву знал... а вот на границу съездить бы... конечно, Соломон Вихстахович подобного не одобрит, не говоря уже о тетушке. Она вовсе в ужас придет, узнай о подобном. Как же... отправиться на край мира, да без компаньонки...

Лизавете случалось расти на другой границе. Там тоже все было... иначе. И пусть те воспоминания были детскими, а потому вызывали некоторые сомнения своей правдоподобностью, но все же...

Она помнила голос старой шаманки, чье лицо было расписано белой и алой краской. Пальцы ее, казалось, едва касавшиеся кожи, и песню бубна.

То, как оживали рисунки на нем и катилось по-над горами квадратное солнце, гнало перед собой тучные оленье стада. И вспыхивало под горами пламя древней кузни, грело склоны.

Помнила сосны, что упирались в небо.

И гортанные песни охотников, огромного быка, которого привезли в город на трех телегах, церквушку, куда и местные заглядывали, приносили к алтарю нехитрые свои дары, выражая уважение чужому богу, следы на снегу.

Отцовская наука.

Про это тоже написать бы.

— Ай, куда это такая красавица спешит? — Путь Лизавете заступил странного вида молодчик. И главное, странным было то, что он делает во дворце. На улице ни шелковая рубаха его, ни сам вид, в равной степени лихой и слегка придурковатый, не показались бы неуместными, особенно близ рынка если, но тут...

— Туда. — Лизавета моргнула, избавляясь от воспоминаний.

И от злости.

Зачем уехали? Ведь хорошо жили же... дом был, свой дом, в два этажа, с печкою, изразцами выложенной. Их отец по журналу заказывал.

И двор.

Кони.

Выезд. И в городе его уважали, знали как охотника преотличного... и Лизавета росла... матушка говорила, что дичкой, но это ведь неправда!

— Ай, красавица! — Типчик подмигнул и сделал попытку приобнять. — Зачем тебе туда... пойдём лучше со мной.

— Зачем? — Руку Лизавета стряхнула. А заодно уж сплела на пальцах простенькое заклятьице, аккурат сотворенное для защиты от таких вот... чрезмерно внимательных кавалеров.

Этот же провел пятерней по черным волосам.

Дыхнул перегаром.

И зло спросил:

— Чего кочевряжишься?

— Того. — Дальше Лизавета ждать не стала, добавила силы да и впечатала заклятьем аккурат в лоб.

Смуглявый и рухнул.

Надо же... на рынке люд покрепче.

— Что здесь... — говоривший запнулся и тише спросил: — происходит?

— Не знаю. — Лизавета вытерла руку о платье. — Подошел... верно, спросить хотел чего-то, а потом вот чувств лишился...

Стрежницкий разглядывал девушку, которая, в свою очередь, разглядывала Стрежницкого, и тот готов был поклясться, что прикидывала она, уложить его подле Михасика или дать шанс. Михасик же лежал тихонечко, спокойненько... вот же...

Произвел впечатление.

— Может, целителя позвать? — Девушка вытерла ладошку о несколько измятое платье. — Как думаете?

— Думаю, не стоит.

— Тогда охрану?

Михасик встрече с охраной обрадуется еще меньше, чем свиданию с целителем, который давеча обещал лично Михасика мужской силы лишить, если тот на глаза попадется. И главное, из-за сущего пустяка... подумаешь, девчонка забрюхателя.

Так не насильничал он ее.

Точно не насильничал.

У Михасика на этом пункт особый имеется... а что они на него сами вешаются, так то исключительно в силу подловатой женской натуры.

— Пусть лежит, стало быть? — Девушка тронула Михасикову ногу туфелькой.

— Пол теплый...

— А вы заботливый, как посмотрю... к слову, если я все же охрану позову, не скажут ли они, что вы с ним знакомы?

Это смотря кто в охране попадется. Нет, патрули с дороги Стрежницкий убрал, само собою — ему сюрпризы не нужны, но вот... если она обратится к сторожевому контуру, то... в охране Стрежницкого не больно-то любят.

Его в принципе нигде особо не любят, и на то свои причины имеются.

— Не понимаю, о чем вы, — сухо произнес он. — Мне показалось, я слышу крик о помощи...

Кричали девицы, как правило, душевно, а уж помощь встречали с великой благодарностью. В отличие от некоторых. Как правило, Михасик отделялся парой затрещин, которые после щедро вознаграждались. И потому нехитрой работенки этой он не чурался.

До сегодняшнего дня.

Чем это она его?

Руки чистые... амулет какой? Или сама... да, по профилю магичка, хотя и недоучившаяся. Но с магичками Михасику случалось дело иметь, да и амулетики у него имелись, целая связка.

— Показалось. — Девица отступила от тела.

— В таком случае... вы не будете возражать, если я вас провожу?

— Куда?

— Туда, куда вы направляетесь... коридоры дворца небезопасны...

— Ах, бросьте... — отмахнулась девица. — Могли бы и поинтересней что придумать... а то, право слово, рыночные уловки сюда тащить. И не смотрите... там, правда, двоих-троих нанимают, чтобы уж точно впечатление произвести. А вам денег не хватило?

И голову этак набок склонила.

Смотрит с насмешечкой.

И от насмешечки этой зубы сводит куда сильнее, чем ото всех оскорблений, которые ныне младшенький Боровецкий вылил. С убогого что взять, а девица...

— Мне кажется, у вас нервы разыгрались. Или фантазия.

— У меня? — Она приподняла бровку. — А давайте и вправду охрану вызовем... я заявлениище подам... о нападении и попытке изнасилования.

Вот заявления были ни к чему.

От заявления Михасику отбрехаться будет куда как непросто, тем паче что врагов у него во дворце хватает, в том числе и в охране... особенно в охране... кого-то он там то ли соблазнил, то ли не соблазнил, то ли в жены взять отказался. В общем, затаили на него...

И отыграются.

— Зачем заявление?

— Затем, — девица ладошки о юбку вытерла, — что сегодня он меня подкараулил, а завтра еще кого... и как знать, оставшись безнаказанным, не учинит ли настоящее насилие?

— Не учинит.

— Уверены?

— Всецело, — сквозь зубы процедил Стрежницкий и, бросивши взгляд на Михасика, который явно в себя пришел, но лежал смирнехонько, что доказывало — толика мозгов в лихой этой голове имелась все же, признался: — Вы правы. С моей стороны было... не слишком порядочно использовать... подобные методы.

Извиняться он не умел.

Не сложилось как-то. А девица ишь, стоит, смотрит темными глазищами. И прямо-таки душит взглядом.

— Однако меня оправдывает лишь... врожденная робость.

— Опять лжете, — с обидой произнесла она.

Менталист, что ли?

Нет, в деле указали бы... или... не всегда о подобных способностях заявлять спешат.

— У вас взгляд в сторону идет, — подсказала девица. — И за нос себя трогать начинаете... люди, которые лгут, часто так делают...

— Да?

Стрежницкий спрятал руки за спину и заставил себя смотреть на Михасиковы ботинки. А ведь после сегодняшнего провала надо будет отсылать. Хотя и жаль, пусть шельмец, повеса и на девок его изрядно золота уходит, но... он всю войну рядышком был.

И жизнь спасал не раз.

И...

Хрен ей, рыжей, а не Михасик. Эта нынешняя сегодня есть в разработке, а завтра и забудут, как ее зовут. Михасик же... пусть в Сегенях отсидится месяцок-другой, матушку опять же проведает, заодно и управляющего погоняет, чтоб не забывался.

— Вы мне приглянулись. — Стрежницкий решил говорить кратко, небось тогда на обмане его поймать будет сложнее. — Решил познакомиться. Но... меня здесь не слишком любят.

— Почему?

— Репутация...

Как ни странно, девица кивнула и сказала:

— А я ведь и чем сильнее приложить могла.

Михасик протяжно застонал, она же отступила подальше и с упреком произнесла:

— Вот не надо, оно совершенно безболезненное, и, к слову, приданого за мной не дадут.

Это Стрежницкий знал.

— И лет мне почти двадцать пять. И характер отвратительный. А еще на иждивении две сестры...

Сестры, к слову, значились на содержании у некой Пульхиной, почтенной вдовы.

— ...Тоже бесприданницы.

— Тогда вам тем более пригодится состоятельный супруг.

— Супруг? — А вот теперь ее удалось удивить. И это, пожалуй, можно было счесть победой.

— В содержанки вы не пойдете... и не подойдете.

— Почему?

— Староваты. И характер поганый.

Сама ведь призналась, а еще на всякий случай Стрежницкий решил говорить только правду. Ну, насколько это в принципе было возможно.

Он ждал, что девица обидится, а она лишь кивнула:

— Ваша правда... стало быть, для жены это недостатком не является?

— Жену берут для порядка. А содержанка — для удовольствия.

— Верно, а какое удовольствие, если характер поганый...

— Ваша правда.

Шла она широким шагом, не пытаясь казаться слабой и беспомощной, напротив, старалась держаться будто в стороне, и Стрежницкий подозревал, что, будь на то ее воля, девица вовсе предпочла бы избавиться от его компании.

— Все равно не понимаю. — Она остановилась, повернулась и, заложив руки за спину, окинула Стрежницкого придирчивым взглядом. — Вы ведь вполне способны подыскать себе кого-нибудь... помоложе. И с характером получше... зачем тогда?

Затем, что имелось задание, но девице — это Стрежницкий знал вполне определенно — знать о том не стоило.

— Говорю же, мне с вами интересно.

Чистая правда, между прочим.

— Понятно...

Что именно ей было понятно, Стрежницкий не понял. А девица почесала пальчиком кончик курносого носа и спросила:

— Звать-то вас как... жених?

— Богдан... Стрежницкий. — Имелось искушение назваться другим именем, все ж во дворце Стрежницкий имел репутацию вполне определенного толка. А с этой рыжей вряд ли выйдет сослаться на злые языки и всеобщее непонимание прекрасной души, но мысль эту Стрежницкий отбросил. Поймает на вранье, тогда контакт точно будет потерян.

— Стрежницкий... где-то я о вас слышала. — Она слегка нахмурилась и тут же радостно улыбнулась: — Точно! Это вас в прошлом году граф Кунеев у супруги застал, после чего грозился матерно вас достоинства мужского лишить...

— Гм...

— И дуэль еще была! Помню, много шума наделала... вы на шпагу повязали платочек, супругой Кунеева подаренный... а его ранили...

— Надо было думать, куда лезешь... — Что-то издевательское почудилось в этом пересказе даже не подвига, а...

Кунеев сам виноват. Слишком уж разошелся, вовсе потерял страх, почти открыто приторговывая если не секретами — кто ему что серьезное доверит? — то информацией личного свойства. Вот и вывели из игры...

— Это да... это всем надо, — ответила девица. — А еще, помнится, вы увезли баронессу Фитхольц от супруга... правда, после вернули.

И скандал получился знатным.

После него царь батюшка изволил сильно гневаться и на два месяца отлучил Стрежницкого от двора, а Фитхольц вынужден был вернуться на родину.

— Еще...

— Признаю, виноват. — Стрежницкий наклонил голову.

— В чем?

— Во всем.

— Вот так сразу?

— А есть ли смысл тянуть. — Он издал тяжкий вздох. — У меня тоже... характер...

— Поганый? — подсказала девица, откровенно насмехаясь.

— Увы...

— И потому, полагаете, мы друг другу подойдем?

— Надеюсь на это.

ГЛАВА 16

...И следует помнить, что испытания конкурсные порой начинаются задолго до самого конкурса. Иначе не объяснить, отчего выходит так, что пред одними красавицами ворота открываются с почтением немалым, вероятно, к чинам родительским, но все же, а другим приходится искать пути обходные, что несколько презатруднительно, ежели при вас маломальский багаж имеется.

Конечно, испытания закаляют.

И сила духа растет, однако сомнительно, чтобы одной ее хватило для победы в конкурсе...

В покоях императрицы-матушки горели огни.

Ярко горели.

Пылало пламя в камине. Дрожали искры свечей. И множились в зеркалах. Переливались всеми оттенками зелени драгоценные малахиты, тускло поблескивали медовые плашки янтаря. И кроваво-красные рубины казались живыми.

Императрица разглядывала жемчужные бусы. Пальцы скользили, будто она, задумчивая, пересчитывала драгоценные бусины. Одинакового цвета, одного оттенка...

Холодные.

Единственный из камней, который не отзовется, ибо рожден был иной стихией. И пожалуй, именно это привлекало ее в жемчуге. Любовь к нему императрицы была известна всем, а потому...

— Это ты? Заходи. — Она запустила руку в шкатулку и подняла горсть жемчужных шариков, позволяя им свободно скатываться с ладони. — Смотри, какая красота...

Бусины темные, почти черные.

И розоватые.

И голубые.

И даже зеленые, яркие, словно окаменевшие куски летнего моря.

— Я слышала, ты помог одной девочке... — Матушка оторвалась от жемчуга и руку вытерла. — Это хорошо...

— Одной. А другая...

— Это не твоя вина. И убийцу найдут, будь уверен.

Лешек бы был, да только как-то не получалось. Вон времени уже сколько минуло, а не то что убийцу, свидетелей маломальских не нашлось.

— И как тебе девочка? — поинтересовалась матушка.

— Которая?

— Живая, несомненно.

— Живой и останется. И следов не будет. Вовремя успел.

— Первая... — Императрица позволила черной жемчужине задержаться меж пальцами.

— Ты о чем?

— Будут другие...

— Митенька...

— К каждой охрану не приставит. — Императрица поднялась, и тяжелые косы соскользнули на пол, зашелестели, поблескивая змеиной золотой чешуей. — И не морщись... красота красоте рознь.

Она поднесла жемчужину к серой глади волшебного зеркала.

— Сегодня порошок, завтра стекло битое в туфли... послезавтра... как знать, до чего додумаются?

— Зачем ты мне это говоришь?

— Затем, чтобы ты готов был... что с Таровицкой?

— Не знаю... я пока... присматривался. Говорят о ней только хорошее...

— Тебе? — Матушка усмехнулась. — Тебе иного и не скажут... не прямо, во всяком случае. Кому охота выглядеть злобной и завистливой?

Лешек согласился.

И присел.

Пожаловался:

— Устал я, матушка...

— Конкурс еще и не начался... к слову, читал? — Она указала мизинчиком на газету, что лежала меж канделябрами. И страницы ее ныне казались еще более желтыми, нежели обычно. — Весьма... познавательно. Слуги шепчутся, что эта шутка была не шутка вовсе... что на самом деле все уже решено, а вот таким нехитрым способом мы лишь избавляемся от неугодных...

Статейка на первой полосе была, мягко говоря, нелестной.

И вроде бы автор ее — теперь Лешек распрекрасно понимал чувства названного брата, сам испытывая сходные, — ни в чем не обвинял их императорские величества, скорее уж недоумевал, как вышло, что... И вправду, как вышло?

И сколько, прочтя, почувствуют себя незаслуженно обиженными?

И любви к короне сие не прибавит. И...

— И что делать? — Он газетку все ж вернул на место, дав себе слово, что всенепременно наведается к владельцу ее, поинтересуется, где ж тот подобными талантами да разжился.

Этим талантам не в «Сплетниках» работать надобно, а на отдел государственной пропаганды, который в позапрошлом году еще создали, да толку не добились. Все, на что годны оказались, — обновление портретов его императорского величества в местах присутственных. И брошюр пару, которые по школам разошлись, ибо по новому циркуляру в каждом кабинете лежать должны были... Они и лежали.

А смысл?

Нет, пропаганда иною быть должна, душевного свойства.

— Ничего не делать. — Жемчужина медленно утонула в вязком камне, который, приняв этакое подношение, вновь сделался твердым. — Если начнем оправдываться, признаем, что виноваты... просто постараться больше не допускать этакого...

— А...

— Несчастный случай. — Императрица давно уже приняла решение и озвучить его собиралась. — Скрыть смерть не выйдет. У девушки родня имеется... да и будь она сиротой горькой, все равно... кто бы это ни сделал, ему скандал нужен.

Лешек тоже об этом думал.

Уж больно все обставлено было... красиво.

Будто специально... то есть оно, конечно, специально, но для кого? Скажем, наткнись на тело не рыженькая, а... кто?

Кто из слуг?

Охраны?

Нет, люди верные, но... все одно слушок пополз бы... или не так, люди верные, молчать стали бы, а слушок... поди разбери: откуда? И про розы узнают, и про ленту шелковую, из косы вытащенную. Этой лентой и задушили несчастную.

— Мы не можем отрицать смерть. Но мы не можем признать, что девушку убили. Более того, убили прямо у твоих дверей. — Императрица поморщилась и зеркало погладила. — Уже сейчас шепчутся, что ты... не совсем ясно мыслишь...

Дурачок.

Лешек знал. Сам же придумал. Сам играл. Сам увлекся. Но одно дело — дурачок, пусть и наследником престола. Престол небось и не таких выдерживал: кровь будет, стало быть, и империя устоит, а уж кто там на самом деле править станет...

Другое дело — опасный безумец, убивающий девиц невинных...

А если ошиблись? Если не больно-то заговорщикам Лешек и надобен? Если и от него избавиться хотят... объявить безумцем...

— А еще кто-то слышал, будто я змеею оборачиваюсь... — императрица произнесла это спокойно, с похвальным равнодушием.

— Ты и вправду?..

— Нет, конечно. — Она потянула косу, которая утратила всякое сходство с гадюкой. — Разве что раньше... частично... но это только во дворце батюшкином если. Тут сил не хватит... да и зачем? Люди змей не любят...

И не примут того, в ком кровь змеиная. А если так, то имеется у заговорщиков иной наследник, наверняка такой, которого примет камень. Или...

На заграничный манер решили вовсе без императора...

Нет, народ не попустит. Слишком уж живы воспоминания о Смуте, о крови и голоде, о болезнях, что хлынули, затопили империю. Только-только отстроились, зажили если не хорошо, то всяко терпимо. Вон уж который год детская смертность уменьшается.

Лечебницы строятся.

Хлебные склады полнятся.

И...

Должен быть наследник... этой мыслью следовало всенепременно поделиться с Митькой. Он в интригах соображает...

— Будь осторожен. — Императрица-матушка отвлеклась от зеркала и, проведя холодными пальцами по щеке, пожаловалась: — Непокойно мне...

— Может...

— Я вас не оставлю.

— Но... лето, на воды... скажем, здоровье пошатнулось... конкурс вон боярыням твоим поручим.

— Чтобы перегрызлись? — Императрица усмехнулась печально. — Нет, Лешечек... не выйдет... я тут нужна. Вам нужна... а бояться... видать, набралась я вашего,

человеческого... переживу.

— А если что с тобой станет?

Слухи — это только кажется, будто безобидны они. Там слово, там другое, и вот уже вспыхивает, летит по-над толпой чудовище, подробностями обрастая, дурманит разум, усыпляет совесть...

— Не станет. — Она легонько толкнула сына. — Не забывай, я Полозовой крови, меня убить куда сложнее, чем вас...

Только Лешек боялся одного: кто бы ни затеял нынешнюю игру, наверняка он побеспокоился и о крови этой, Полозовой...

Статью Лизавета писала уже ночью.

И работалось тяжело, мучительно, приходилось каждое слово вымучивать... вот, скажем, напиши о мертвой девице, так сразу и возникнут вопросы: откуда известно стало?

Выдашь себя, и...

Думать о том, что будет тогда, не хотелось совершенно. Вот и приходилось... выражать сомнения официальной, вернее, принятой версией.

Мол, не в характере Кульжицкой было бегать...

Тем паче от короны, которую некая особа видела уж своею. Разве ж кто променяет... а также вызывает подозрения отсутствие за завтраком и иных участниц... да, как-то вот так, расплывчато, позволяя людям самим нафантазировать.

Статейка получилась коротенькой, какой-то куцей, но Лизавета понадеялась лишь, что Соломон Вихстахович не станет придираться. В конце концов, в штате его найдется кому доработать.

И еще блондин этот наиподозрительный.

Явился.

Спаситель... Лизавета с трудом удержалась, чтобы и его на пол не отправить. А может, зря удержалась? Может, полезно было бы ему... а то ишь, нашел способ знакомиться.

Стрежницкий...

Хорош, зараза. Высок. Статен. Глаз синий. Волос золотой, лежит крупными локонами. От такого девки мигом разом теряют. А он и горазд пользоваться... и про него много всякого сказывали, помнится, в прошлом году на одних его похождениях втрое тираж подняли, правда, после и опустили: ни один скандал не длится вечно. Жаль, правда, эту тему не Лизавета вела, но...

Интервью испорченного дворянина.

А что?

Статейку бы набросать... о жизни нелегкой. Неспроста ж он в соблазнитель пошел. Может, одинокий, мается, ищет истинную любовь... вот такие истории про одиноких и ищущих тетюшка очень любит. Но обязательно, чтобы со счастливым концом, чтобы герой и любовь обрел, и перевоспитался ею. А говорить про то, насколько сие невозможно...

Но интервью она возьмет.

На потом.

Не вечно же Лизавете во дворце маяться. Закончится конкурс — и тоже надо будет о чем-то писать. А главное, вопросы задавать потихоньку, не торопясь, чтобы после, уже

как напечатают статейку, Стрежницкий про автора не догадался. Мнилось, не обрадуется.

Раздался скрип.

Протяжный такой. И вздох.

Лизавета обернулась.

Никого.

Шуточки? О местных шуточках у нее сложилось весьма определенное впечатление.

Похолодало.

Застонала половица.

— Кто здесь? — не слишком уверенно поинтересовалась Лизавета, потянувшись за ножом, с которым за прошедший день успела сродниться.

Тишина.

И вновь вздох.

Смех — такой близкий...

— Шуточки шутите? — Нож придавал уверенности.

Мигнули лампы, предупреждая, что вот-вот погаснут. И Лизавета успела сотворить светляка. Махонький — сил у нее имелось не то чтобы много, — он дрожал и норовил схлопнуться, что определенно было ненормально. Со светляками и дети управиться готовы.

— И все-таки...

На шутку, хоть бы и злую, это походило все меньше. Напротив, вспомнилась вдруг девушка, лежащая на полу. И розовые лепестки... тут же запахло розами. Впору кричать, звать на помощь, только Лизавета крепко подозревала: не услышат.

Белесое марево у окна она заметила не сразу, а заметив, вздохнула с немалым облегчением: призрак был не страшен.

Во всяком случае, ей.

— Чего ты хочешь?

Появившийся недавно, он был еще нестабилен. Полупрозрачный образ то шел рябью, норовя исчезнуть, то становился чрезмерно плотен, а это для фантомов подобного класса было вовсе не характерно.

А покойную Лизавета узнала.

Плохо.

Очень-очень плохо... что им рассказывали про энергетические фантомы? Призраки появляются... смерть разделяет душу и тело, тогда как тонкая структура последнего исчезает, но в некоторых случаях... например, когда происходит убийство или же, чаще, самоубийство в месте, насыщенном магическими потоками, душа обретает новую подпитку.

Девушка стояла.

Протягивала руки.

И рот ее раскрывался, но призрак не способен был сказать ни слова.

— Послушай, мне жаль. — Лизавета запахла халат, наброшенный поверх домашнего платья. — Я понимаю, насколько несправедливо обошлись с тобой...

У призрака исчезли руки.

Зато головы стало две.

Так и есть, стабилизируется, и процесс этот либо завершится более-менее полным воплощением, и тогда во дворце появится очередная аномалия — Лизавета подозревала, что их здесь немало, — либо призрак самоликвидируется. Лизавете просто не повезло появиться, когда процесс разделения начался.

Ее запомнили.

Лицо девушки скривилось.

— Послушай... — Лизавете было несказанно жаль ее. А еще в голову пришла одна презанимательная мысль. — Ты хочешь сказать, кто тебя убил?

Аномалии нельзя было назвать в полной мере разумными. Они сохраняли какой-то отпечаток личности, но, как правило, всецело сосредоточивались на одной идее. И редко эти идеи были миролюбивы. Благо для большинства людей призраки опасности не представляли, Божьей милостью покарать они могли лишь виновника своей смерти.

Или того, кого таковым считали.

Впрочем, нынешний призрак нападать не спешил. Он разглядывал Лизавету и морщился, будто не по нраву ему пришлось увиденное.

— Вот, — Лизавета сотворила простенькую иллюзорную доску, которую частенько использовала, занимаясь с сестрами. Тем почему-то с иллюзиями нравилось работать куда больше, чем с доской обыкновенной. — Напиши... должно получиться.

И мелок сотворила.

Призрачный.

Девушка скривилась, но в руки взяла, поднесла к глазам. Отбросила и пальцем в доску ткнула. На ней же мигом проступили огненные буквы.

— Я... княжна... являюсь наследницей древнего рода...

Слова меняли друг друга.

Но ничего интересного Лизавета не прочла. Не признание, право слово, а манифест какой-то... о величии этого самого рода, о гневе главы его, который падет на недостойных, посмевших лишить жизни любимую дочь... о том, что и смерть не изменит планов их... восстанут достойные и свергнут...

Кажется, пошла та самая политика, о которой предупреждал Семен Вихстахович.

— Знаете... — Лизавета развеяла доску, — если вам только это надо...

Наверное, о призраке следовало доложить. Пусть местные маги его ищут и допрашивают, выясняя, кто кого свергнуть собирается и, главное, для какой надобности.

Девушка топнула и зашипела.

Надо же, а структура крепнет, только весьма старые создания способны были издавать хоть сколько бы внятные звуки. И вновь вспыхнула доска, правда, не черная грифельная, а пылающая. Красиво, но читать с такой презатруднительно.

— Восстанут... это уже было. Кстати, кто восстанет?

Все.

— Зачем?

Свергнуть недостойных, которые кровью нелюдской запятнали...

— Это вы сейчас про... гм... императора?

Слова, которые возникли на доске, безусловно, характеризовали особу женского полу, правда, не самого приличного поведения.

— Знаете, я не понимаю, зачем вы мне все это показываете...

Лизавета взмахнула рукой, пытаясь развеять доску, на которой одно за другим вспыхивали слова, которых девицам из древних и могучих родов не стоило бы знать. Однако доска лишь покачнулась, а призрак захохотал.

Этак зловещенько.

И холод стал... холоднее. Под потолком и вовсе снег закружился.

— Грядет, — громыхнуло над самым ухом. — Грядет час...

Призрак взвыл.

Исчез.

А доска осталась. И Лизавета вздохнула: оставалось надеяться, что силы, которые в это вот творение больной фантазии вложены, к утру иссякнут. А то, право слово, будет презатруднительно объяснить, откуда в комнате возникла матеряющаяся доска.

Она глянула на нее еще раз.

И еще.

И, решившись, выглянула в коридор. Может, если к охране обратиться...

Охраны не было.

Коридор радовал пустотой и безлюдностью. Вот что успела усвоить Лизавета за годы работы на «Сплетникъ», так очевиднейшую вещь: гулять ночами по местам безлюдным, мягко говоря, неблагоприятно.

— Эй... кто-нибудь... помогите, что ли?

Сейчас она согласна была и на Стрежницкого, но и тот исчез.

— Эй... — Она отошла от двери, размышляя, не стоит ли вернуться. Мешало одно: призраки по сути своей существа до крайности занудные, если уж повадились где-то материализовываться, то станут это делать с немалым удовольствием. А главное, с каждым новым воплощением будут прибавлять сил.

У покойной их и без того было как-то слишком уж много...

Нет, следовало что-то делать, и быстро, пока нестабильное по сути своей явление не приняло новую форму. В отличие от призраков потусторонники весьма неплохо контактировали с миром материальным, да и добротой не отличались.

— Есть тут кто? — поинтересовалась она чуть громче, выглядывая в другой коридор.

Тоже пустой.

Как показалось.

— Никого нет, — ответили ей. И Лизавета с трудом удержалась, чтобы не заорать, когда нечто белое отделилось от колонны. Спустя мгновение она, конечно, узнала Снежку, но...

— Ты же есть. — Лизавета возблагодарила Бога, что не имеет привычки кричать или в обморок падать.

— Я есть, — согласилась Асинья, склонив голову набок. Облаченная лишь в ночной халат, брошенный поверх длинной рубашки, она сама казалась призраком. — Кто-то

умер...

— Я. Едва не умерла. — Страх оборачивался раздражением, хотя Снежка и не была ни в чем виновата.

— Едва — не считается, — вполне серьезно ответила та и взмахнула руками. Широкие рукава скользнули, на миг показалось, что вот-вот обратятся они в белые крылья.

— Да... наверное... извини... а... — Лизавета потрясла головой.

Нет птицы.

Есть девушка, пусть и несколько странноватая. Сейчас ее инаковость, как никогда, бросалась в глаза. Узкое, вытянутое лицо, чересчур высокий лоб, раскосые, приподнятые к вискам глаза. И резковатая линия губ...

— От тебя тоже смертью веет, — миролюбиво заметила княжна Вышнята, касаясь Лизаветиных волос. — Я ее чувствую, как мама. Твоя тоже ушла.

— Ушла, — не стала спорить Лизавета.

— И ты горюешь... ваши слезы их держат.

— Кого?

— Души... моя мать... мне ее тоже не хватает. Но я помню, что она говорила. И не только говорила... она взяла меня... однажды... провела Призрачным путем... потом, когда мой срок наступит, я вновь им пройду. В смерти нет ничего страшного.

Да, она определенно не знала, что девицам брачного возраста следует говорить о погоде, музыке и поэзии, но уж никак не о смерти.

— Послушай... — Лизавета подавила вздох: вот теперь еще с этой... непонятной возиться, — ты как здесь оказалась?

Насколько Лизавета знала, княжеские покои находились в другом крыле.

— Пришла.

Логично.

— Зачем?

— Умер кто-то... ему было плохо. Больно. Он потерял путь, а я могла открыть. Только, — она нахмурилась, — здесь никого.

И вот сказанное Лизавете очень не понравилось. Почему-то и мысли не возникло, что Снежка ошиблась. Если убили, то...

— А... — она запнулась, — скажи, а призраков ты тоже чувствуешь?

Снежка рассеянно кивнула:

— К тебе приходил... за тебя зацепился. Злой. Ему надо открыть путь...

— Вот за этим ты и вышла.

— Я могу.

И Снежка сделала шаг. Остановилась, глядя на плиты. Указала пальцами:

— Здесь... здесь кто-то умер...

А Лизавета не удивилась, увидев у темной колонны лепесток розы.

ГЛАВА 17

Стрежницкий перечитывал информацию. Была у него дурная привычка, донельзя раздражавшая начальство, сперва знакомиться с объектом, а уж после изучать собранное другими. Мол, только так он может составить верное представление.

И в большинстве случаев представление составлялось без особого труда, но тут...

Смерть родителей.

Уход из университета, где девицу помнили и отзывались о ней весьма тепло.

Умна.

Старательна.

Не лишена таланта... ей бы подучиться еще годик-другой, и стало бы на одного приличного артефактора цветочника больше, а она... Почему? Хотя ясно — две сестры... и неясно. Большинство знакомых Стрежницкому особ о сестрах бы позаботились, передав их на попечение государства, но собственный шанс в жизни упускать...

Чего ради?

— Барин, а барин, — провинившийся Михасик старательно изображал смирение. В деревню ему не больно-то хотелось, ибо у матушки Стрежницкого имелось просто-таки непреодолимое желание женить если не упрямого сына, то хотя бы верного его помощника. В целом женщина весьма здравомыслящая, Анастасия Егорьевна пребывала в престранном убеждении, что именно женитьба способна изменить мужчину. И мысль эта не давала ей покоя.

— Передашь матушке, что супругу я себе подыщу... — Стрежницкий почесал ухо. — Может, даже скоро...

— Эту, что ль? — Михасик замер, прижавши руки к груди. Весь вид его выражал недоумение таким престранным выбором. И неодобрение. Пожалуй, лишь он и мог выразить Стрежницкому это самое неодобрение, не боясь получить в ухо.

— Может быть... может быть...

Стрежницкий закрыл глаза.

Рыжая была...

Была и была.

Не сказать чтобы красавица, встречались на его пути девки куда более яркие. А эта... курносенькая, живенькая...

Миленькая.

Да, пожалуй, что именно так. Миленькая... такая матушке понравится.

Если молчать будет... потому как ее речи совершенно не соответствовали образу. Девицам надлежит быть скромными, слегка манерными и очаровательно беззащитными.

— Барин... — Михасик вздохнул, и Стрежницкий, отложив бумаги, вздохнул тоже. Жениться не хотелось совершенно, впрочем, как и расстраивать матушку, которая опять сляжет. И пусть знает он будет, что все ее болезни большею частью придумка, бездельем вызванная, но...

— Может, еще какую присмотрю.

— Зачем?

— Матушка не молодеет. Да и я... — Стрежницкий махнул, и Михасик устроился на стуле, вытянул длинные ноги, руки на животе сцепил. — Все равно жениться придется...

— Зачем?

— Это тебе незачем... вот скажи, я тебе мало плачу?

— Не обижают, барин.

— Или кормлю плохо? На одежду не выдаю?

— Барин!

— Так отчего мне опять сказали, что ты казакам задолжал? Двадцать рублей, Михасик! Двадцать...

— Так... — он слегка смутился, точнее, сделал вид, что смущается, — слаб человек, барин... а уж такой, как я... они предложили картишки раскинуть, я и не устоял... только, барин, вы не серчайте... я тут кой-чего слышал, пока игрались... оно не мне говорили, только... играли-то на царской половине...

— Надеюсь, ты там ничего не спер?

— Обижают, барин!

Не обижает, скорее несколько сомневается в наличии здравого смысла. Все ж порой Михасик в любви своей ко всему блестящему вовсе терял чувство меры. А на царской половине блестящего было много.

— Так... — Михасик заерзал под холодным взглядом, — я ж никогда... я ж понимание имею... я бы вас ни за что...

Стрежницкий вздохнул: специально-то Михасик, конечно, не предаст. Вернее человека не сыскать, и тот шрам звездочкой на груди — наилучшее тому доказательство. Ведь мог отойти, мог сделать вид, что вовсе не знаком с барином... а он остался.

И от пули заслонил.

И позже, когда вдвоем в яме лежали, кровью захлебывался, а приговаривал, что, мол, Бог не попустит такого... позже Стрежницкий понял, что Бог-то как раз попускает многое.

— Слышал я, как один казак другому кинул, мол, пришла пора выбирать...

Казак?

Плохо... в казаки брали далеко не всех. Самых ярых, самых преданных. И клятва на них лежала оковами, а тут... надо будет доложиться.

— И сказал навроде как в шутку... что, мол, промедлишь, и все золото медью обернется... я ж тихонечко сидел... а этот, как вышел, прямо зыркнул...

— Когда это было?

— Так... сднн и было. — Михасик поскреб темные патлы. — Вы б, может, тоже... матушку проведали, а, барин?

Голос его звучал жалобно, надтреснуто. И он, любивший показать прочим свою лихость, живо помнил, как оно было...

Звон битого стекла. Камни в гостинной. Матушка растерянная... отец держит щит... требует уходить, а матушка стоит и плачет.

Уводили ее за руки.

И устроили в охотничьем отцовском домике, посчитав, что до него мятежники не доберутся. Что тогда Стрежницкий о мятежах знал? Только что случаются они.

Как гроза.

Или засуха там... он, мальчишка, был беспечен, и чудо, что матушка сумела взять себя в руки, вспомнить, что она не просто урожденная княжна, а и магичка не из слабых.

В той яме, куда их кинули живыми, было холодно.

Почему-то именно холод Стрежницкий запомнил.

Не землю, которую кидали на плечи, не камни... камень рассадил кожу на голове, и мир потемнел. А когда сознание вернулось, то было холодно. И Михасик еще шептал, что выберутся... непременно выберутся...

Им тогда повезло несказанно.

И пуля, застрявшая в Михасиковой груди, не добралась до сердца его. И камень голову не проломил. И те, кто поймал их, глупых подростков, решивших заглянуть в деревню, где они бывали частенько, не стали добивать сразу.

Кинули в ямину.

Землей присыпали... собакам — собачья смерть, так сказали.

А матушка взяла себя в руки. Опомнилась. Вышла и...

— Нет. — Он покачал головой. — Если и вправду смута затевается, отсидеться не позволят. Найдут... а тут... — Стрежницкий нехорошо так усмехнулся: — За батюшку я еще не рассчитался...

— Эх, барин...

— А ты не вздыхай. Опишешь мне подробно этого казака... и чтоб я тебя тут не видел.

Ибо если Михасик казака видел, то и тот наверняка Михасика приметил. Может, конечно, и не рискнет руки марать, решит, что не будет беды: репутация у Михасика определенная имеется. Дурачком его полагают, балаболом никчемным, да и он сам порой заигрывается.

Не сегодня.

И, посерьезнев, Михасик головой покачал:

— Вы уж тут поаккуратней... не лезьте на рожон. И про Боровецкого я порасспрашивал... что интересно, никто его прежде не видел. Одни говорят, будто бы он затворником жил, другие — что в Европах учился, но это неправда.

— Почему?

Стрежницкий слушал, но и про бумаги не забывал. А вот это уже интересно... Девушка работала в газетке, да не где-нибудь... Интересно, сам Навойский дело ее читал? Или так, не глядя, передал? Ага... служила... обзоры... колонка дамских советов... все довольно невинно, хотя какая в «Сплетнике» колонка дамских советов? Надо будет глянуть. Что-то сомнительно, чтобы там советовали, чем столовое серебро чистить... пара заметок...

Скандал на выставке цветов.

Сомнительный фасон нового платья некой...

— Потому что ни бриттского, ни австрийского он не знает...

— Франки?

— Может, но сомнительно... он вовсе не похож на человека, который будет над книгами чахнуть. Слуга у него свой, доверенный, я не стал лезть, а вот с кучером побеседовал... говорит, что жестокий человек, лошадей загоняет...

И еще одна несуразица. Не так давно младшая сестрица рыжей подала заявку в университет... и была принята... оплата внесена... интересно, откуда деньги?

Хотя...

Стрежницкий бумаги перелистал.

Титул...

Наследный... а вот все, что кроме титула, отошло по завещанию... стало быть, денег у рыжей не было... если бы были, небось сама в университет вернулась бы... значит, не было.

И вдруг появились.

Это нехорошо.

Что успел усвоить Стрежницкий, так факт, что взявшееся из ниоткуда богатство в девяти случаях из десяти ни к чему хорошему не приводит. Кто их дал девице? И за какие такие услуги?

Ага, вот договор с купцом Панчохиным на рекламу его нового мыла. Составлен честь по чести, не подкупаешься, да только... дороговато как-то выходит. Или этот самый Панчохин после планирует деньги вернуть, скажем, через женитьбу удачную? А что, человек он состоятельный, девица же хоть и старовата, но с даром... и сестер, опять же, договорчиком связать можно на десяток-другой лет.

— ...Девок любит... согласия не спрашивает, но его братец всегда платит... охотник изрядный... сказывали, даже на медведя ходил. С рогатиной.

Медведю, стало быть, не повезло. А завтрашний противник Стрежницкого риск любит... это хорошо. Самоуверен... отпора никогда не получал.

А рыжую он навестит.

И Навойскому записочку передаст, пусть проверят этого самого Панчохина, который в мыловары полезть вздумал. С соседями побеседуют, но осторожно... очень осторожно... хорошо бы и сестер порасспросить, но рискованно... как знать, не передадут ли рыжей о внезапном этом интересе... хотя...

Сколько там средней?

Самое оно женихов искать...

— Стрелок отменный... как-то на спор комара на лету сбил.

Стрелок? Это кое-что объясняет... видать, рассчитывал, что Стрежницкий, хамства не выдержав, сам его вызовет и тогда за Боровецким сохранится право оружие выбирать. А все знали, что пистолы Стрежницкий не жалует. Причем почему-то полагали, будто исключительно от неумения ими пользоваться.

Впрочем, он никогда не пытался общество переубедить.

— И хвалиться изволил, что покажет всем, как надо наглецов осаживать... так что вы, барин, там не спешите... темная лошадка. — Михасик вытащил флягу и потряс. — И будь я проклят, если они только на умение этого... надеются. Тут иное что-то, грязное...

К слову, а почему рыжая сама до сих пор замуж не вышла?

Бесприданница?

И что с того? Зато при титуле и силе магической, обучена более-менее... пусть не дворянство, но купеческий люд такая невеста заинтересовала бы. Там цену хорошей крови знают, да и жену к делу приставить можно, сплошная выгода... ага, ухажер имеется, тоже, к слову, мыловар, и предложения делал, но всякий раз неудачно.

Любопытно.

— Не убивайте его, барин... — Михасик скинул маску, разом постарев. А он ведь и вправду немолод. Ладно Стрежницкий, его сила держит, а вот Михасик — человек

обыкновенный, ко всему пережитое не добавило ему здоровья.

Вон морщины какие.

И за бок вновь держится, сам того не замечая: болят старые раны. И не только та, которая от пули, пометившей, связавшей их двоих. Сколько он после, выкарабкавшись на одном, почитай, упрямстве, по лесам лазил? Спали за земле. Ели... если везло, что-то да ели... и та павшая кобыла зимой восемнадцатого за счастье была. Стрежницкого держала ненависть, лютая, дикая, изуродовавшая — это он понимал распрекрасно — его, но все же дававшая силу. А Михасик... никогда-то ненавидеть не умел.

И порой уходил в лес, плакал, жалеючи и барина своего, и бунтовщиков, и...

— Не буду, — пообещал Стрежницкий.

Может, едино благодаря Михасику он сохранил хоть какое-то подобие человеческого обличья. Да и здравый смысл подсказывал: прав Михасик. Уж больно нелепа эта дуэль... и может статься, не так уж важно, кто в ней победит...

— А ты бы, — он папочку отложил, — и вправду женился, Михасик.

— За что, барин?! — притворно возопил он. — Пощадите! Я с долгами рассчитаюсь, вот вам крест...

— Я вам именице отпишу... заживешь... детки народятся... детей ты любишь...

— Барин...

— Неужто никто не по нраву?

— Так... — Михасик руками развел. — Второй такой, как ваша матушка, не сыскать...

— Вот на ней и женись. — Стрежницкий усмехнулся.

— Барин!

— Брось. Я не слепой, вижу, как ты на нее смотришь. И она... старше тебя, но для магички это не возраст... хватит ей во вдовах ходить...

Вздохнул Михасик.

Отвернулся.

— Кто я...

— Мой кровник... и любить ее будешь. И беречь, как никто другой. Поверь, она это знает. А так... глядишь, и вправду детей заведете. Матушка и отгадет... а то ж я неудачным получился. — Настроение было погано-меланхоличным, вот и позволил себе Стрежницкий предаться мечтам пустым.

— Ваша правда, барин, неудачный... видать, крепко вас тогда камнем приложило, — ответил Михасик. — Спать уже идите, а то ж вставать раненько...

И в этом имелась толика здравого смысла.

ГЛАВА 18

Снежка огляделась и, ткнув пальцем в доску, на которой продолжали возникать непотребные слова, сказала:

— Злой, злой...

— Ее убили, — сочла нужным уточнить Лизавета. Не то чтобы это играло такую уж важную роль, но... мало ли.

— Знаю. Она очень удивилась. — Снежка вновь склонила голову набок, прислушиваясь к чему-то. — Она думала, что ее нельзя убить... всех можно, а ее нельзя... а другая не думала. Она спешила любить. Плохо, когда кто-то спешит любить, а его убивают.

С данным утверждением сложно было не согласиться, но Лизавету заинтересовало другое.

— А та... другая... ты можешь ее позвать?

— Это нехорошо... у душ свой путь. Свяги собирают их на крылья, и потому крылья тяжелеют. Горе человеческое много весит. Матушка говорила, что порой перья становились будто из свинца отлитыми... но она терпела. Она не хотела уходить.

Голос дрогнул. И Лизавета, не удержавшись, коснулась бледной тонкой руки. А ладонь узкая, длинная, куда длиннее, чем у обыкновенного человека. И пальцы кажутся такими палочками белыми.

— Спасибо... и твоя не хотела, но не удержалась на краю. Редко у кого получается.

И почудилось сочувствие.

Но Снежка вытянула руку и одним прикосновением пальца разрушила плетение. Вспыхнули буквы, пеплом осыпалась доска.

— Зачем?

— Что зачем? — не поняла Лизавета.

— Зачем ее звать?

— Затем, что, быть может, она видела, кто ее... убил. Погоди... если ты можешь, то лучше не здесь и не со мной... я просто... случайно здесь. — Любопытство любопытством, но ныне речь шла о вещах действительно важных. Если совершено второе убийство, то...

К кому обратиться?

Князь отбыл...

Стража?

Или...

Она ведь знает, где живет цесаревич. Мысль была совершенно безумной, но ночь, надо полагать, была вполне подходящим временем, чтобы творить безумства.

— Послушай, — Лизавета взяла Снежку за руку, — мы сейчас попробуем... добраться до одного человека. Не уверена, что у нас выйдет... к нему не так просто попасть...

Но у них получилось.

Не только свяги, оказывается, могли прокладывать дороги на изнанке мира. У полукровок тоже получалось неплохо.

Лешек, на свое счастье, не спал.

Перебирал бумаги, раздумывая, как бы повежливей отписаться почтенному купечеству из славного города Ейца. Вот на кой ляд ему конная статуя, пусть и за счет горожан? Пусть лучше на пользу города деньги эти истратят, скажем, лечебницу подновят, помнится, совсем слабая там... или гимназию расширят. Матушка еще про женские курсы говорила, которые неплохо бы при каждом городе открыть, но это все пока мечты.

Еще ждали своей очереди с полтора десятка челобитных, которые секретари сочли стоящими высочайшего внимания. И проект школьной реформации, на котором настаивала та самая служба пропаганды. Мол, ныне в программе школьной уделяется непозволительно мало внимания вопросам этой самой пропаганды. А любовь к родине и вовсе не прививается.

Оно-то, может, и верно, только...

В алгебру-то зачем лезть?

Задачки переписывать на патриотичный лад — это как-то чересчур. А донести, чем чересчур, не получается. Чиновники там подобрались все, как один, дюже патриотичные, но без особого ума.

В общем, ночь обещала быть длинной, хотя и продуктивной. И Лешек сперва даже не понял, почему отложил черновик ответа, из которого всего-то и осталось повычеркивать неподобающие наследнику престола выражения, и напрягся.

Рука сама легла на шпагу.

А во второй родился огневичок. Махонький, конечно, но большим в собственных покоях еще нянюшка играть отучила. Вот пространство вздрогнуло, искривилось, складываясь, и распрямилось, явив взору печального князя двух девиц в виде таком, что, застань их кто здесь, придется жениться.

На обеих.

— Доброй ночи, — сказала Лизавета, убирая прядку с лица. — А мы тут... по делу... к вам... извините, пожалуйста, конечно, что так поздно и вообще без предупреждения...

Вторая, длинная, белесая и какая-то блеклая, будто выцветшая, стояла молча, только головой крутила, озираясь.

— Но... так уж получилось, что я понятия не имею, к кому обратиться... — Рыжая краснела стремительно и даже мило.

— Вашей подруге стало хуже?

— Авдоть? — Она моргнула. — Нет. Надеюсь, что нет... я вечером ее оставила, она в порядке была.

— Умер кто-то. — Свяжъя полукровка избегала смотреть прямо.

И Лешек понимал ее.

Он сам ощущал себя на редкость неуютно в присутствии настолько иной крови. Свяги никогда не ладили со змеями, хотя, если разобраться, делить им было нечего. Просто...

Избегали.

— Вот... она говорит, что недавно. И что душу может позвать, вот я и подумала...

— Правильно подумала, — одобрил Лешек, подымаясь. — Идем. Покажешь.

— Змееву сыну не ступить на тонкие пути. — Свяга все ж соизволила заговорить с ним, пусть и глядя мимо.

— Значит, пойдем обыкновенным.

И Лизавета вздохнула.

Видать, представила, какие пойдут слухи. Хотя зря это, не пойдут, или Лешек самолично казакам дежурным языки поотрывает.

Они дремали.

Стояли, прислонившись к двери, и дремали себе.

— Надо же, — произнесла Лизавета шепотом. — А не упадут?

— Не упадут, — заверил Лешек, зажимая правому нос. Этот из новеньких. И что характерно, представлен не был. Надо поинтересоваться, как зовут и откуда он взялся, ведь Фрол Максимыч в вопросах подбора охраны всегда отличался немалой щепетильностью. И уж точно не приставил бы вот так чужого молодчика. — Они тренированные.

Парень хлопнул глазами.

Рот раскрыл было, но Лешек прижал палец к губам: мол, не шуми. А взглядом пообещал всенепременно разобраться, отчего это охрана, которой бдеть положено, спит тихонечко. Второго казака, знакомого и прежде в подобных происшествиях печального толка не замеченного, он ткнул пальцем в бок.

И головой покачал укоризненно.

Мол, как же вы так, Аксюта Силантьевич? Столько лет на службе — и заснуть самым позорным образом... Впрочем, весьма скоро выяснилась и причина, по которой охрану усыпили.

В коридоре лежала девушка.

На сей раз обнаженная, но щедро усыпанная белоснежными лепестками.

— Вот же ж, зар-р-раза, — прорычал Аксюта Силантьевич, за шашку хватаясь, но тут же понял, сколь глупо это выглядит, и шашку выпустил.

А Лешек посмотрел на рыжую.

Вовремя она...

Найди девицу кто иной...

И нет, слухи все одно будут, но слухи неподтвержденные и вот это вот — вещи разные...

Лешек присел, приложил руку к шее. Хотя не верить свяге у него причин не было, но человеческая иррациональная половина требовала все же лично убедиться.

Убедился.

Девица была мертвой и холодной. На шее отчетливо виднелась синюшная полоса, а шелковый бант, который вплетали в косы, лежал рядышком этакой змеею. Сравнение, пришедшее в голову, Лешеку категорически не понравилось.

— Кто это? — спросил он.

— Не знаю, — почему-то ответила Лизавета. — Я ее только видела...

— Алена. — Свяга смотрела на тело равнодушно. — Другие называли ее Алена... она не хотела здесь быть.

— Почему?

— Любила. Но отец настоял. Он думал, что ее избранник не годится. Не знаю почему. Он злился. Ее это печалило. Она хотела любить...

А теперь вот лежала на холодном полу, вызывая нагая и...

— Она может вызвать душу, — Лизавета прервала размышления, — и спросить... ко мне,

к слову, предыдущая явилась. Душа то есть предыдущей девушки... очень невоспитанная, между прочим. И говорила всякое... непотребное... про вас и... ваших родителей.

Лешек потер подбородок.

Допросить душу?

Почему бы и нет. Свяги подобного не одобряют, но нынешняя, на счастье, все же немного человек и понимает, почему этот допрос необходим. Только разговаривать будет не Лешек. Он, конечно, многому обучен, но...

Димитрий, как Лешек подозревал, вызову не слишком обрадуется.

Лизавета сидела в уголочке, нашла местечко подле беломраморной статуи и затихла. А то голос подашь, вспомнят, что тебе тут не место, и выпроводят под благовидным предлогом, позабывши, что это она Снежку нашла, сюда привела, и вообще...

Статуя была массивной, постамент имела солидный, и сидеть пусть было несколько жестковато, но вполне удобно. Главное, коридор весь словно на ладони. Вон охрана выстроилась, перекрывая проход — вдруг да вздумается кому прогуляться, так не пустят к телу. И главное, стоят казаки вроде бы неподвижно, а все равно в фигурах их читается Лизавете недоумение некоторое.

Растерянность.

И злость.

Знать бы, на кого злятся.

А вон еще людишки прибыли. Одни на четвереньках ползают, следы тайные выискивая. Другие стены оглаживают. Третьи над телом замерли. Не прикасаются, стоят, а меж ними белым пятном Снежка выделяется. Вот уж диво дивное...

В народе про дев лебединых всякое сказывают. Будто бы перо свяжье способно любую болезнь одолеть, а сама дева, коль повстречаешь на рассвете, коснется рукой, одарит силой и здоровьем...

А на закате если, то, наоборот, лишит и того и другого...

Детей они уносят, налетят белой стаей, закружат, завьюжат, подхватят на крыла, и поминай как звали: мол, свои у свягов не родятся, вот человеческих и берут понянчиться.

Снежка развела руки.

Пальцы ее зашевелились, сплетая полупрозрачную сеть из воздуха. И отступил цесаревич, а тот самый неприятного вида писарь, который тоже туточки очутился, напротив вперед будто бы подвинулся. Тихо стало.

Похолодало знакомо.

И вой раздался, пронесся по дворцу, да такой, что зазвенели стеклышки на хрустальной люстре, сама она угрожающе качнулась, но цепи выдержали. А Лизавета прикинула, что аномалия перешла на новый уровень.

Скоро она.

Теперь призрак более не напоминал покойную. Да и призраком, говоря по правде, не был. Пред людьми предстало нечто, сплетенное из грязного тумана. Оно выло и стеноло неразборчиво, сыпало проклятиями...

— Отпускай, — велел писарь. — От этого толку не будет, одни проблемы...

И Снежка крутанула запястьем, сворачивая сеть. Взвыло. Зазвенело. Сыпануло снежком,

а после жаром обдало — развоплощение, если подумать, к реакциям экзотермическим относится. Тем, кто стоял ближе, досталось сильнее. Снежку огонь не тронул, а вот писарь отшатнулся, сбивая пламя с мундира. Кто-то выругался, кто-то...

А Снежка задумчиво произнесла — и голос ее был слышен всем:

— Очень злая душа.

Рыжая сидела в уголочке, изо всех сил притворяясь незаметной, и грызла ногти. Димитрию бы смотреть вовсе не на нее. Пусть тело невинноубиенной и унесли в мертвецкую, а пол был чист и ничего-то, кроме разве что рассыпанных розовых лепестков, не напоминало о несчастье, но...

Ему бы на эти лепестки смотреть.

И думать, кто в очередной раз наведалься в оранжерею, потревожив покой розовых кустов. Садовники опять станут материться и причитать, а заодно уж поклянутся, что ничего не видели, не слышали и близко не ведают, кто шалит...

Они так и сказали, мол, шалят.

Дворцовые.

Дикий люд. Понравилась тебе барышня? Так отправь кого к цветочнице, пусть составят букет красивый, со смыслом тайным. Барышни очень эти самые тайные смыслы ценят. И букеты из «Помазеля», где самый махонький пучок незабудок в двадцать пять рублей встанет. Оно, конечно, дороговато, а может, лениво просто, вот и лазят время от времени особо ретивые по кустам. И не столько возьмут, сколько потопчут...

Или вот еще можно подумать, почему казаки на посту заснули. И ладно бы в первый раз подобная... даже не оплошность, тут у Димитрия иные слова на язык просились, которые в обществе потреблять невозможно. Однако же...

Стоит старший, хмурый, злой. Пальцами шевелит, будто разминает. А младшенький, новенький, вовсе поприших.

Рыжая же ногти грызет.

И как ее снова угораздило-то? Стрежницкий пока работать лишь начал, спрашивать о результате рано, но с ее умением встревать в дела непотребные как бы поздно не оказалось.

Подойти, что ли?

Димитрий огляделся.

Его люди работали споро, слаженно, только чуял — не поможет. Не оставили им следа, кроме как легкого призрачного, и тот поди зацепи.

Свяжья полукровка отмерла, крутанулась на пальчиках, руки расставивши, и показалось, полетели в стороны белые перья лебязьи.

Не перья.

Лепестки.

Подняло, завихрило... а лицо ее задумчивое, с улыбочкой... а может, она? Нелепо, но... кто знает, на что нелюди способны? Вон сам Димитрий при императрице-матушке с молочных лет своих состоит, а все равно, мнится, и половины правды не ведает.

С другой стороны, зачем ей?

Матушка сказывала, будто иным народам до человеческих страстей дела нет, что власть не привлекает... а если не власть?

Если ей Лешек глянулся?

Димитрий обошел свягу стороной. Нет, они и виделись всего раз... или и раза довольно будет? А с другой стороны, с покойною Лешек не заговаривал, особо среди девиц прочих не выделял... Тогда зачем? Не думает же она все полторы сотни красавиц передуть?

Свяга пошевелила пальчиками, выплывая из роз удивительной красоты платье. А вот и та, для которой оно предназначено. Этот призрак лишь начал формироваться. Он был полупрозрачен, невесом и нестабилен.

— Кто? — спросил Димитрий, и свяга протянула руку, приглашая. А он, не колеблясь, коснулся бледных, каких-то слишком уж хрупких, будто изо льда выточенных, пальцев. И свяга вздохнула, а в следующее мгновение...

ГЛАВА 19

...Если верно, что красота спасет мир, то того количества красавиц, что собрались ныне во дворце его императорского величества, довольно будет, дабы спасти не только Арсийскую империю, но и весь континент, с морями, его окружающими, и тварями предивными, в оных морях обитающими. И остается лишь искренне посочувствовать судьям, которым предстоит выбрать ту единственную, что возложит на голову хрустальный (как говорят слухи) венец.

А возможно, не только его.

Впрочем, нам ли повторять слухи? Мы в скромности своей лишь предлагаем читателям разделить огромную радость и восторг, полюбовавшись наипрекраснейшими созданиями Арсинора и всей империи. Не правда ли, всем они удивительны: изысканными манерами, умением принимать позы, радующие взгляд, и, главное, одеяниями...

Темный коридор.

Дворец огромен, и все коридоры освещать, этак и разориться можно... даром, что ли, батюшка в собственном их доме дюже ругаться изволит, когда кто-то допоздна сидит и свечи жжет. Во дворце давно уж не свечи, и приказчик сам батюшку уговаривал, чтоб тоже электричество провел, мол, так оно выгодней будет. Только батюшка упрямый.

Будь маменька жива, она б сумела достучаться.

И Аленушку свою не стала бы неволить. Сама приговаривала, что в невольном браке счастья не сыскать, а жить несчастливою... зачем?

Вот и Аленушка не знала зачем.

Спешила.

Бежала.

Как же... она так боялась, так... Когда батюшка велел собираться, не посмела перечить. В последний год характер его сделался вовсе невыносим. Прошлый раз, когда лишь сказала она, что есть у нее дружок сердечный, за палку хватился и по плечам... больно было, а целитель после с батюшкой беседовал. Тот и сам каялся, купил шелку на платье, желтого, и еще поплину в полосочку, пообещал, что без Аленушкиного на то согласия замуж ее отдавать не будет... Однако раскаяния ненадолго хватило.

Велел собираться.

Мол, конкурс... а Аленушка — раскрасавица наипервейшая, и даже если цесаревич остолопом будет и не заметит этакой красоты, то найдутся иные, достойные... очень он мечтал за достойного Аленушку выдать, чтоб при титуле и положении.

Деньги-то у батюшки имелись.

Его отец из простых был, да сумел подняться и даже местечко прикупить в купеческой гильдии, после и женился с прибытком, с титулом... и маменьку любил.

Как умел.

Это он сам так приговаривал, мол, как умел... а от маменьки осталась цельная комната с драгоценностями. Аленушка в нее частенько заглядывала, перебирала камения, пытаясь в них отыскать частицу тепла, которого ей так не хватало. А тятенька только и повторял, что все богатства мира не способны ему Марфушеньку заменить... сам повторял, а Аленушку...

Она опомниться не успела, как в экипаж запихнули. И батюшка велел строго-настрого: себя блюсть и с неподходящими особами знакомств не заводить, а если выпадет случай, попасться на глаза императрице-матушке и произвести впечатление.

Как?

Аленушка не ведала. Она хотела милому другу письмецо отправить, но забоялась: тятенька с Аленушкой отправил сродственницу свою дальнюю, злую, что собака цепная. Следила за Аленкой в оба глаза и во дворце только отстала, и то потому, что со своим сопровождением не положено.

Тут-то Аленушка письмецо и написала.

И лакею сунула рубль, чтоб отправил. Тот божился, что все исполнил, только же... получил ли милый друг послание? Поверил ли, что вины Аленкиной нет ни в чем? Что будь ее воля, немедля бросила бы и тятеньку, и матушкины камни драгоценные, как есть пошла бы за ним, за любовью своею, голой и босой, зато счастливой...

Тут Дмитрий едва не выпал из девичьей памяти, до того нелепой показалась она ему. Голой и босой... а дружка этой красавицы проверить стоит.

Она маялась, так маялась, ответа ожидая и боясь, что не получит: все ж царский дворец, а друг ее сердечный, Микитушка, пусть и хорош всем, но беден.

И титула не имеет.

Кто его сюда пропустит?

Однако же, увидав на кровати бумажку, прямо расцвела вся. Запело сердечко, душа задрожала, руки затряслись и колени ослабели...

Неужели?

А в письме-то всего пара слов.

«Сбежим. Жду в полночь, в парке».

И тогда-то Аленушка поняла: все сладится... всенепременно сладится... она выскользнет: за ними, почитай, и не следят, не тятенькин дом, где от прислуги не протолкнуться и всяк перед барином выслужиться норовит. Нет... она будто бы ко сну отойдет, а после уж...

Плохо, что денег у нее нет.

И из драгоценностей лишь жемчуга нитка да серьги. Конкурсанткам они не положены, и те, что есть, Аленушка своевольно прихватила. Но... разве ж в деньгах счастье? Да и после тятенька всенепременно простит их. Погневается слегка, погрозится всеми карами.

Но простит.

Особенно когда ребеночек появится. Сам небось говаривал, что только ради внуков на свете задержался...

Она собрала узелок и с трудом дождалась, когда часы дворцовые сыграют одиннадцать. И тогда встала. Выглянула в пустой коридор.

Она спешила.

И боялась опоздать, а еще тревожилась: отыщет ли Микитушку своего. Дворцовый парк огромен, а еще в нем караулы ходят, с которыми — вот просто сердцем чуяла — не след связываться.

Она свернула в боковой коридорчик.

И еще в один.

И этот был темен-темен. А еще почудилось, что будто бы кто-то следом идет. Аленушка остановилась. Нет, никого... это все сердце тревожное, беспокойное...

С нею и дома подобное случалось, особенно по ночам. Зашебуршит что, она и готова бежать, кричать, а окажется, что кошка или там мыша какая... Позор.

Тятенька смеялся.

Трусихой называл.

Раньше, когда еще матушка жива была... теперь-то ему Аленушка о страхах своих не больно-то рассказывала... и заставила себя успокоиться. Ничего. Уже недолго. Тут в одном месте повернуть, две двери минуть, и в саду она окажется. А там... там сердце уже подскажет, где Микитушку искать.

И она решительно ступила в темный коридор.

И заставила себя идти.

И не обернулась, когда почудилось, что кто-то сзади стоит. И... и закричать не успела. Вдруг что-то шею сдавило так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть... она билась, кричала... пыталась кричать, только из горла вырывался лишь сип.

А после свет белый померк.

До сада она так и не добралась. Дождался ли Микитушка?

Димитрий потер глаза, которые слезились. Вот уж... свяга погладила его по голове и поинтересовалась тихо:

— Зачем притворяешься?

— Надо. — Отговариваться, что, мол, померещилось ей, Димитрий не стал. А она не стала задавать вопросы и лишь заметила:

— Плохо убивать, поманив любовью...

— Думаешь, поманили... хотя... да... определенно...

Кем бы ни был тот самый Микитушка — а личность его установят, это вопрос времени, — вряд ли он сумел бы проникнуть во дворец. Сад охраняют не только патрули.

Заклятья.

Ловушки.

Собаки... да и прибыла девица, если Димитрий не ошибается, всего пару дней как. Если увезли ее неожиданно — с батюшкой тоже побеседовать стоит, что-то подсказывало, что спешный отъезд этот был прямо связан с большой девичьей любовью, — то вряд ли бы этот Микитушка знал, куда подевалась.

Проследил?

И... что дальше?

Письмо? И лакея Димитрий найдет, запомнил лицо его. Куда передал? Кому? Да и... пока письмо отправилось, пока бы добралось до адресата... нет, скорее уж кто-то прознал о сердечных метаниях и подкинул записочку, девицу из комнаты выманивая.

А она и рада.

Дура.

Злиться на покойную не получалось.

— Лента ее. — Свяга отступила, запахнула полы халата.

Лента?

Нелюдь коснулась шеи.

Стало быть... стало быть ее... оно-то еще проверится, но это несложно. Если так, то... ленту убийца из косы вытащил? То есть придушил девушку руками или что там у него еще было, а после, ленту вытащивши, додушил... сложно?

И зачем?

А еще убил в другом месте, свяга о том доложились, и тело волок через половину дворца.

Надо будет подумать. Взгляд Дмитрия остановился на рыжей, которая тоже перестала грызть ногти и уставилась куда-то себе под ноги. Взгляд ее стал рассеян, да и сама она производила впечатление слегка блаженной, и почему-то это Дмитрию совершенно не понравилось.

— Шли бы вы, — он подошел и коснулся плечика, отчего рыжая вздрогнула и воззрилась на Дмитрия с неодобрением, — шли бы вы, барышня, отдыхать...

Рыжая моргнула.

Кивнула.

И даже зевнула, прикрыв рот ладошкой.

— Конкурс, — спросила она. — Его ведь теперь закроют?

А вот это навряд ли... к превеликому Дмитрия сожалению.

Как ни странно, но уснула Лизавета, едва лишь голова ее коснулась подушки. И сон вновь же был спокоен, хоть и короткий. Казалось, только-только глаза закрыла, а уже звенит большой колокол, возвещая наступление нового дня.

И Руслана тут как тут.

А с нею еще две девицы, явно из дворцовых, но стоящие повыше в местной иерархии. Эти держатся особнячком, на Руслану поглядывая свысока, а она в присутствии их теряется, мнетя, не зная, куда руки деть. К слову, и к самой Лизавете девицы особого почтения не испытывали.

— ...А вот у княжны Лазовской, — заметила она неодобрительно, — ночная рубашка из чистого шелка. И кружевом отделанная...

С собою девицы принесли корзинку с мерными лентами, шнурочками, тесемочками и листочками, которые сворачивали хитрым образом, прикладывая к Лизаветиной коже.

Причем особого дозволения не спрашивали.

Она и опомнилась-то только у зеркала, оказавшись в умелых руках, в которых чувствовала себя куклой. И куклу эту крутили, вертели, заставляли нагибаться и приседать.

— Талия толстовата... — бросила невзначай старшая, делая замечочку.

— Руки длинноваты...

Шея недостаточно изящна, а цвет кожи на два тона отличается от идеального, и еще родимое пятнышко имеется. На спине. Но имеется же! А у первой красавицы кожа должна быть без изъяну.

Лизавета слушала.

Не то чтобы она не собиралась принимать сказанное близко к сердцу, ясно же, злословили больше для порядка и возможность используя, небось при той же Таровицкой постеснялись бы и рта открыть. А Лизавета кто?

Вот именно...

— ...И говорят, что у нее ножка такая, что в чашечку влезет...

— Чью? — поинтересовалась Лизавета, нарушив молчание. Нет, и вправду ведь любопытно... хотя за прошедшую четверть часа она успела многое узнать.

— Не важно, — отмахнулась младшенькая из замерщиц. — Влезет... до того тонкая и хрупкая. Все косточки на просвет видать! Вот что значит древняя кровь...

— Какая там древняя, — фыркнула напарница. — Самая обыкновенная... батюшка у нее князь, а вот мать, сказывали, из простых... если вообще человек... зато Вензельская — чисто королева...

— У Белянской веснушки, которые та выводит уксусной водой. И так водой пропахла, что стоять рядом невозможно.

— У Журавской шея чисто журавлиная, а плечи — гусарские, и розовые тона, до которых она так охоча, ей совершенно не идут.

— Толстоваты лодыжки.

— Задница плоская, она накладку специальную носит, скрывая, потому как всякий знает, что жена с плоской задницей — это признак дурного тона.

Над последним откровением Лизавета крепко задумалась и даже встала к зеркалу боком, покосилась, пытаясь разглядеть, плоский у нее зад или все же с таким можно замуж выходить?

У кого-то на руке бородавка.

Кто-то усики выщипывает, но наметанному глазу это заметно.

Бровь редковата, волос блеска должного лишен...

Не было, пожалуй, ни одной невесты, которую парочка замерщиц сочла бы идеальной. И это, как ни странно, успокаивало.

— А Таровицкая? — возразила все же младшенькая, подбирая ленточки, разложенные по Лизаветиному плечу.

— Что Таровицкая? Она ж нелюдь, а с них... приехала тут... вот увидишь, это из-за нее стрелялись.

— Кто стрелялся? — подобралась Лизавета.

— А... Стрежницкий... едва не до смерти застрелили. — Старшая поджала было губы, но блеск глаз ее выдавал: желание сплетничать вновь пересилит осторожность. — Нашлась и на него управа... императрицын любимчик... все-то ему спускали... теперь посмотрим, кому он нужен будет, криворожий...

Сердце предательски ёкнуло.

Стрежницкий... он ведь... он ничего про дуэль не говорил. Впрочем, и не обязан был. Он вообще случайное знакомство, если разобраться, и...

— Что произошло? — Когда было нужно, Лизавета вспоминала матушкину науку. Она задала вопрос так, что обе замерщицы замерли и заговорили.

Дуэль была.

На рассвете, как водится... все дуэли на рассвете проводят, обычай такой, потому что если на закате, то уже не дуэль благородная, а пьяная драка с мордобитием. Вот... из-за чего? Кто знает. То ли молодой Боровецкий Стрежницкому ногу отдал, то ли Стрежницкий у него невесту увел, обесчестил и бросил одинокую с дитем... не так важно.

Главное, что впервые он проиграл.

То есть не совсем чтобы проиграл, поскольку молодой Боровецкий, как сказали, вовсе не жилец, однако и самого Стрежницкого унесли с поля...

Что произошло?

Да поговаривают, что на саблях дрались, Боровецкий упал и, когда соперник склонился над ним, прямо в лицо ему из пистоля выстрелил... или саблей ткнул. Или плюнул ядом, но в это уже и сами замерщицы не верили, но сочли, что это весьма романтично.

Плеваться ядом?

Нет, умирая, захватить с собой врага... отдать жизнь во имя справедливости.

Какой?

Не так важно. Какой-нибудь...

И вообще, у них дел еще много, не хватало тут время тратить. Мерки сняты, о фасонах Лизавете потом скажут. Радоваться должна, что ее императорское величество так о конкурсантках заботится, иначе бы и дальше ходила в нарядях убогих...

В другой раз слова их, может, и задели бы, но сейчас мысли Лизаветы всецело были заняты Стрежницким. Нет, она не переживала... разве что самую малость, как любой человек будет переживать за знакомого, который вдруг оказался в неприятной ситуации.

И...

И навестить его будет, пожалуй, уместно... или нет? Если она не одна пойдет, а с Русланой, то никто ничего дурного не подумает. А если и подумает, мысли свои при себе оставит.

Лизавета кивнула.

И бросила взгляд на часы. Завтрак она пропустит... нехорошо, но как-нибудь переживет.

Руслана не обрадовалась.

Нахмурилась.

Губу закусил и сказала:

— Дядюшка велел держаться от него подальше. Сказал, что он... без чести и совести человек.

Даже так?

— А адъютант его так и вовсе...

— Такой темненький? — наугад спросила Лизавета. — В красной рубашке?

— Он самый... на кухне вечно крутится... наши его привечают, ласковый... в прошлом году две кухарки подрались из-за него, так обеим расчет дали. Вот.

Лизавета покачала головой, выражая то ли сочувствие пострадавшим, то ли недоумение: было бы из-за кого драться.

— Только он еще вчера отбыл... — Руслана помогла одеться и волосы заплела в пышную легкую косу. — Сама видела, как он коня седлал...

И разом спохватилась.

Покраснела.

Верно, вспомнила, что на конюшнях здешних ей делать было совершенно нечего.

— Я... мне... там один... очень хороший... только дядюшке не говорите!

— Я-то не скажу. — Лизавета была честна, поскольку, во-первых, не имела привычки к доносительству, а во-вторых, знать не знала, где Русланиного дядюшку искать. — Только... ты осторожней, а то ведь мужчины всякие бывают...

Руслана покраснела сильнее, гуще и тихо сказала:

— Тошенька хороший... он за царевым жеребцом ходит...

Это, несомненно, было отменнейшей рекомендацией. Вот только... Лизавета глянула на девушку, упрямо поджавшую губы: без толку. Что бы ни было сказано, не поймет.

Не услышит.

А ведь и Марьяшка ее же лет, и ума у нее, тут обманываться не стоит, не больше. Даже не в уме дело, а в опыте жизненном, который самой Лизавете достался — к счастью, не той ценой, которая привела бы ее в неприличный дом, но лишь слезами горькими.

Слезы что, пролились и забылись.

А честь она сберегла.

Знать бы еще зачем. Может, позже, ставши старой девой, она еще пожалеет о том своем благоразумии, но...

— Веди уже, горе... и... будь осторожна. — Лизавета коснулась атласной ленты и вздрогнула. — Во дворце беспокойно...

ГЛАВА 20

Стрежницкий маялся.

Большей частью — болью. Целитель, зараза этакая, издевательски сообщил — и не скрывал удовольствия, что сказать, Стрежницкого при дворе не жаловали, — что более сильное заклинание применить никак не возможно. Контуры нарушатся, и тогда он не берет на себя ответственность за восстановление нервной ткани, которая и без того восстанавливается плохо.

Радоваться должен, что вообще живой, что пуля вошла в глаз, да в голове и застряла, видеть, у Стрежницкого и вправду мозг закаменел.

И вообще, сам виноват...

Это Стрежницкий понимал, как никто другой. Предупреждали же... и Михасик, и собственное чутье подсказывало, что неладно с этой дуэлью. И спалось дурно, опять яма привиделась, только на сей раз земли поверх набросали столько, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Он и очнулся ото сна растерянным, уже понимающим, что день будет на редкость поганим. Правда, оказалось, что и близко не представлял, насколько на самом деле поганим.

Сволочь.

Нет, сперва все было обыкновенно.

Холодок.

Солнышко, поднявшееся до середины Часовой башни. Соперник, с видом независимым топтавший маргаритки. Стрежницкий оценил и шерстяной костюм аглицкого кроя, и часы на цепочке...

— Опаздывать изволите. — Молодой Боровецкий часами покачал и постучал ногтем по стеклу. — Признаете поражение?

Возникло почти непреодолимое желание согласиться. Но... пусть Стрежницкий и стремился избежать ненужной дуэли — хватит, настрелялся он на своем веку, нарубился, и тошно ныне от вида крови, — но сделать это так... мигом полетят слухи.

Репутация будет порушена.

Образ...

Забыть можно про нынешний образ. При дворе простится все, кроме разве что трусости. Причем трусости исключительно вымышленной. Никто не вспомнит, что он в одиночку пробрался в осажденный Харовск, чтобы удавить градоправителя, объявившего себя главой Полномочного комитета. Или как с полусотней таких же сорвиголов охотился на Изюрском тракте, вырезая обозы бунтовщиков.

Не вспомнят ни про огненные поля под Куратом.

Ни про мертвецов на западной границе, куда и боевики соваться остерегались... Нет, все забудут, вцепятся в эту проигранную дуэль... И главное же, видел Стрежницкий шальной дурковатый взгляд, так хорошо знакомый.

Не внял предупреждению.

Счел, что справится.

Был судья.

Секунданты.

Целитель, сонно позевывающий в стороночке и позванный, полагали, исключительно для порядку. Было предложение замирииться...

— Если он меня в задницу поцелует, — ответил Боровецкий и засмеялся, а Стрежницкий уловил характерный запах одной травки.

Стоило сказать.

Будь в секундантах кто другой, он бы и сказал, остановив тем самым дуэль. Но, словно издеваясь, Боровецкий позвал Гладышевского, который Стрежницкого крепко недолюбливал. И пусть осмотр подтвердил бы правоту, но...

Что слухам до правоты?

Кольнула мыслишка: а не на это ли расчет? Мол, скажут, что побоялся? Подкупил целителя... или запугал... или еще чего сотворил, главное, что не вступил в бой, как сие положено.

Отмашка.

Беленький платочек кружится, словно лепестки ромашки... они летели тогда над водой и, казалось, вечность кружились, прежде чем коснуться темной зеленоватой глади. Воспоминание было настолько неуместным, что Стрежницкий зазевался, едва не пропустив удар.

Правда, опомнился быстро.

Нет, младший Боровецкий был неплох. И дуэлировал явно не впервые. И полагал, будто этого хватит... прежде-то хватало... скольких на тот свет отправил?

Судить Стрежницкий не пытался, поелику сам был далеко не свят. Но... не отпускало ощущение, что Боровецкий любит с противником позабавиться.

И Богдан поддался.

Изучал.

Выжидал... хотел только подрезать, успокоить на недельку-другую. На многих встречи с целителем весьма благостно действовали, разом и ясность разума возвращалась, и любовь к жизни в душе расцветала с неодолимою силой, а заодно приходило понимание, что нет развлечения глупее дуэли.

И этого бы...

Когда все пошло не так?

Боровецкий ведь повелся, поверил, что удалось подрезать соперника. И наступать стал яростнее, злее, спеша воспользоваться преимуществом.

Он и понять не успел, когда и как попался.

Просто вдруг оказался на земле с рассеченною ногой. Рана была неглубокой, Стрежницкий все ж не хотел убивать дурака, однако выглядела жутко и боль причиняла изрядную. Это он по себе знал распрекрасно.

Шрам бы остался...

Взмахнул платком судья. Секунданты бросились со своих мест, и целитель отлип от старого дуба, потянулся. К раненому он не больно спешил...

Боровецкий выл, хватаясь за ногу.

Кровь лилась.

Крови было вообще много, и вид ее заставлял секундантов морщиться. А уж Боровецкий и вовсе ошалел... ему доводилось убивать других, но никогда-то он не думал, что и сам смертен.

— Успокойся. — Стрежницкий убрал саблю и присел. — Не смертельно...

— Ты... — И без того не больно красивое лицо Боровецкого исказила гримаса ярости. — Это ты виноват... все... все должно было быть иначе... все...

Эта мысль всецело им завладела.

Зрачки расширились.

Дыхание оборвалось.

А в следующее мгновение Боровецкий дернулся всем телом. Стрежницкий успел отшатнуться, но... Последнее, что он помнил, — грохот, от которого заложило уши...

И яму.

Ту самую яму в лесу. Вывернутая сосна, корни которой торчали из земли. Желтоватая шуба листвы. И гладкие скользкие стенки. Он летел в эту яму, кувыркаясь, и главное, что не было Михасика, готового прикрыть собой. Пули осиным роем спешили следом, и Стрежницкий знал — догонят.

Ему не жить.

Ему...

После было возвращение. И мрачный Штриковский, которому выпало быть секундантом, а значит, докладывать начальству, как вышло так, что опытный агент попался в дурацкую по сути своей ловушку.

— Лежи, — буркнул он, неловко поправляя подушку. И взгляд отвел. — Боровецкий помер. Сердце стало... целитель пытался... сказал, что из-за травмы... перебрал... урод...

Стрежницкий мысленно согласился.

Но говорить у него сил не было.

— В лицо пальнул... пистоль аглицкий, для скрытого ношения... тебе повезло, пуля в глаз вошла, но слабая. — Штриковский вздохнул тяжело и произнес: — Пистоль у него в руке рванул... тебя того еще... осколками посеколо чутко. Наш-то подлатал, но как оно срастется...

— Хватит болтать. — Целитель оттеснил Штриковского. — Ему покой нужен, если, конечно, вы хотите, чтобы он в принципе восстановился...

Штриковского выгнали.

А Стрежницкому ослабили путы обезболивающего заклатья и увеличили интенсивность регенерационного.

— Живучий ты, засранец, — с каким-то непонятным восторгом сказал целитель. — Прислать кого?

Стрежницкий прикрыл глаза.

Кого?

Не вовремя он Михасика отпустил. Тот бы понял, что делать... а тут... все болело. И боль была изматывающей, нудной, она то наплывала, то отступала, позволяя думать, только мысли путались. А потом возвращалась яма.

Скользкие края.

Влажная глинистая земля, мешанная с прелой листвой.

Им повезло не замерзнуть.

И глина залепила раны, не дала истечь кровью. Земля... он был еще молод, но все одно тянул силы, каким-то чудом разделяя их с Михасиком. И тот дышал... ему было страшно, как никогда в жизни, ни до, ни после той ямы. Казалось, что если Михасик перестанет

дышать, то и сам Стрежницкий умрет.

— Дурно выглядите, — сказал кто-то, вытаскивая из кошмара. И Стрежницкий скривился, а скривившись, вспомнил, почему делать этого не стоит. — Лежите уже... мне сказали, что вы почти померли...

Рыжая сидела у кровати.

Откуда она взялась?

В платице своем сереньком с двумя рядами пуговичек, которые смотрелись почему-то не скромно, а весьма даже вызывающе. И воротничок этот беленький. Манжетики.

Коса до пояса.

Глазища что вишня спелая...

Вишня в том году уродила. И он, забравшись на самую вершину, ел. Срывал темные гладкие ягоды и ел, жмурясь от солнца и удовольствия.

— И стоило оно того? — с упреком произнесла рыжая, отжимая тряпицу. Миска с водой стояла тут же, рядом с папочкой, в которой о рыжей рассказывалось, и старой пепельницей. Ее Стрежницкий использовал вместо пресс-папье.

— Д-да...

Голос хриплый и щеку полоснуло что огнем, но молчать Стрежницкий не мог. И не важно, о чем говорить, просто вдруг вернулось то старое, подзабытое, казалось, ощущение, что если он замолчит, то умрет. Вот просто.

Беспричинно.

И...

— Дурак вы.

— Да.

— Пить хотите?

Безумно. И это нормально, целительские заклинания всегда вызывают дикую жажду. Ему даже объясняли почему, что-то там со внутренними резервами организма и...

— Да.

— Тогда я сейчас... подождите...

Она встала.

Юбки шелестят, каблучки цокают... Михасик прибирался, но как умел... а комнатных он не привечает, да и Стрежницкий не любит, когда посторонние по pokojам его лезят. Но сейчас вдруг вспомнились и мятая постель, в которой он изволил леживать, и вид собственный, до крайности непрезентабельный, и то, что на столе рабочем развал, да и одежда наверняка валяется...

— Вы знаете, вам бы здесь прибраться не мешало...

Она вернулась с подносом.

Стрежницкий зачарованно следил, как она наливает воду, выжимает в нее сок из сморщенного лимона. Помнится, на прошлой неделе Михасику втемяшилось делать чай с лимоном, гадость вышла редкостная... сыплет сахар.

И щепотку соли.

Его дотравить собираются?

— Пейте, — строго велела рыжая. — Станет легче... нас учили... я попробую вас

поднять... здесь вообще есть кто-нибудь, чтобы вам помог? А то, извините, сиделка из меня несколько... неудачная...

Он сделал глоток.

Питье оказалось на удивление приятным. Кисловатым, сладким и... именно таким, как нужно, чтобы треклятая жажда отпустила. Он пил, надеясь, что не слишком разливает воду, а она молчала.

Помогала.

И...

Зачем?

Знакомы-то всего ничего, и знакомство это прошло отнюдь не лучшим образом. Любовь с первого взгляда? Или... что-то еще?

Лепестки над водой.

Венок из ромашек... у той глаза были синие. Яркие, что небо весеннее... не догонишь, не пытайся... или пытайся... кружится, хохочет, голову запрокидывая.

Будешь меня любить?

Буду.

Вечно?

А как иначе, только так и любят, чтобы до последнего вздоха... и после него, конечно, тоже... губы ветром поцелованы, щеки мягкие, пахнут ромашками. И улыбка ее с ума сводит...

Нет ее...

Ушла...

Собственной рукой, а она... она только вздохнула и сказала:

— Дурак...

Если бы оправдывалась, если бы молила о пощаде... пощадил бы, не сумел бы, а она дураком... за что?

— У тебя жар. — Она положила руку на лоб, и ладошка ее была холодна.

Нельзя верить.

Нельзя...

Женщины что ветер... ложь, ложь, и только... яма вот есть... в яму падают, стенки скользкие... он лезет, лезет... а все равно соскальзывает туда, где вьется стальной рой... Марена же стоит наверху и смотрит. Смотрит, смотрит, смотрит... хоть бы руку протянула.

Помогла.

Нет.

Нельзя...

— Лежи, — велела она, и что-то горячее прижалось к вискам. — Я, конечно, целитель так себе, но... я позову кого-нибудь, ладно? Проклятье... кто ж тебя, дурака эдакого, бросил одного? Руслана! Беги за помощью...

— Барышня, а вы...

— А я тут... поговорить? Конечно, поговорю...

Им этого не хватило.

Наверное.

Были поля. Была скачка безумная, когда порой сутками в седле, и кони падали, и люди сыпались. Иных оставляли там, на дороге, а коней добивали. Кровь и огонь, огонь и кровь. И еще грязь, слякоть... вши и болезни... клопы, от которых одежда шевелилась, и жрали они, казалось, живьем... травки не помогали, а магию невозможно использовать — вычислят.

Жил?

Как? Как удавалось... от боя до боя, только там оживал, наполнялся самому непонятной лютой ненавистью. И сабля кружила, пела... звала... он слушал, только ее и слушал... и еще Ульяну...

У нее глаза синие.

А губы шелушатся, это от ветра... ее бы в шелка и фамильные опалы на шею, а у нее — веревка витая. Руки за спиной связаны.

— Дурень...

— Бредит... я напоила, а он упал... — Этот голос доносится издалека. — Почему он один остался? Это ведь опасно, в конце-то концов! Поразительная безответственность...

— ...А кто вы?

Дурень... как есть дурень...

Кровь и грязь... крови было на нем всегда много, а тогда и в грязи извозился. Это ложь, что на войне можно ее избежать. Или после, когда война закончится, отмыться... Он мылся, в семи треклятых водах мылся, только хуже становилось.

— Невеста. — Жесткий женский голос заставил очнуться.

Почти.

— Он сам мне обещал. — Рыжая девица стояла, уперев руки в бока.

У него нет невесты.

Больше нет.

Он ее повесил. За предательство.

Лизавета уходила с беспокойным сердцем. Оставить его... он, конечно, чужой человек, почитай и вовсе посторонний, а она...

Невестой назвалась.

Просто... этот целитель смотрел на Лизавету с презрением... конечно, прилетела... незамужняя девица, а в покоех мужских что у себя дома... Что еще он мог подумать? И Руслана тут же, держится позади с упреком...

И все же стоило остаться.

Пусть уверили ее, что теперь всенепременно позаботятся... пусть, кроме целителя, прибыли и два его ученика... и взялся откуда-то степенный господин, назвавшийся другом... ее, если подумать, практически выставили за дверь.

А Стрежницкий бредил.

Сперва-то он Лизавету вполне узнал, пусть и выглядел далеко не лучшим образом: лицо стянуто бурой коркой регенерационной мази, левый глаз закрыт повязкой, а правый

слезится, но... раненых Лизавета повидала. Случалось ей и в госпитале бывать...

Особенно когда писала материал про то, куда уходят финансы, выделяемые на содержание больницы для бедных...

Хорошая статейка вышла.

Достойная.

И после нее, говорят, кое-что изменилось, и даже в лучшую сторону.

Но не о том речь. Раны были... неприятными, однако же не смертельными. И да, шрамы, сколь успела Лизавета понять, останутся. А вот чтобы лихорадка и бред... и радоваться надо, что Руслана быстро целителя отыскала. Глядишь, и спасут...

— Барышня, — подала голос Руслана, которая держалась в отдалении и тихо-тихо. — Вы бы... поспешали, а то опоздаете...

— Куда?

— Так... конкурс же ж... сегодня первый день... задание... а вы что, не знаете? Должны были конверту прислать. С записочкой...

Лизавета закрыла глаза и про себя досчитала до двадцати. Конверт, значит. С записочкой... И где он, спрашивается? Не там ли, где и встречающие? Этак она поверит, что ей здесь не рады.

ГЛАВА 21

Она все-таки опоздала.

Самую малость.

Она увидела их издалека: пеструю толпу, собравшуюся вокруг чего-то...

Кого-то...

— ...И вы должны осознавать, что все зависит исключительно от вас... — дама в темно-синем наряде гофмейстерины с портретом ее императорского величества на груди оглядела собравшихся красавиц, задержавшись взглядом на Лизавете, — и только от вас. Понятно?

— Да, ваше высокопревосходительство, — хором ответили красавицы.

А Лизавета вздохнула.

И отступила, позволяя даме — не узнать Анну Павловну Керненскую, супругу его высокопревосходительства генерала Керненского, было сложно — пройти мимо. Она замерла, боясь дышать, ибо веяло от княгини чем-то таким...

Недобрым?

Скорее равнодушным. Будто бы ей все равно было и что Лизавета опоздала, выказав тем самым немалое неуважение, и что прочие смотрели вслед с завистью, и что, не дождавшись ухода, зашептались, обсуждая и стати Анны Павловны, и родимое ее пятно, изуродовавшее левую щеку, однако не помешавшее некогда сделать великолепнейшую партию, и платье, и даже фрейлинский шифр на банте. Хотя его-то уж чего обсуждать?

— У вас не так много времени. — Анна Павловна не ушла вовсе, но присела в тени плетеной беседки и вытащила круглые, мужского вида часы. — И оно уже пошло...

Тут-то девицы засуетились, ринулись к длинным столам, которые Лизавета только теперь заметила. И главное, как ринулись, позабывши про чины и достоинство, подпихивая друг друга локотками, а порой и вовсе матерясь, правда, шепотком и с оглядкой.

— А... — Лизавета сглотнула, осознав, что спрашивать не у кого. Она огляделась, но Авдотью не заметила. Видать, не сочли ее в достаточной мере здоровую... или просто не пошла, решивши, что хватит с нее конкурса? После Лизавета заглянет, но... Снежка стоит у столика, раскладывая какие-то веточки.

И Лизавета решилась.

Подошла.

— Привет, — сказала она, пытаясь сообразить, что говорить дальше. Но Снежка поняла и без вопросов.

— Надо составить букет, — сказала она, пытаясь пристроить веточку полыни меж двумя срезанными розами. — Который отразит состояние души... и с учетом языка цветов. Но это глупость. Люди не могут слышать цветов.

— Ага...

— Там можно взять... материал. — Снежка махнула в сторону столов.

— Только там?

Девицы расходились, унося охапки зелени и цветов, а столы... столы радовали взгляд пустотой. Снежка же задумалась.

— Нам, — она пришла к определенным выводам и даже повеселела, — сказали, что мы можем воспользоваться материалом на столах, но нам не говорили, что мы не можем взять что-то еще...

Ага...

Три раза ага... и что это дает? Лизавета огляделась и, заприметив махонький столик, вроде того, за которым работала Снежка, подошла к нему. Прочие девицы тоже заняли свои места, правда, столики оказались слишком малы, чтобы уместить на них добычу, поэтому многие свалили горсти срезанных цветов прямо на землю.

Розы белые.

Розовые.

Желтые с лепестками, слегка тронутыми позолотой. Алые и пурпурные в кровь... тонкие фрезии и тяжеловесные лилии, которые издали казались каменными.

Язык цветов...

Лизавета читала ведь.

Когда-то давно... что-то там желтый цвет нехорошее означает, но... ладно, слева от Лизаветы девушка увлеченно выплетала башню из роз, время от времени останавливаясь, чтобы сунуть пальцы в рот. Похоже, удалять шипы садовник не стал...

Справа из горы белых роз выглядывали тонкие ветки аспарагуса.

Так.

Успокоиться надо, в конце концов, Лизаветина же специализация. И глядеть отнюдь не на красавиц, которые нет-нет да оглядывались, чтобы полюбопытствовать: вдруг кто удачное придумал. Лизавета обернулась.

Кусты.

Снежнаягодник, правда, с листьями темно-пурпурными. Если взять веточку... а вот и хмель. Обыкновенный, но Лизавета ведь недаром училась. У нее с растениями получалось ладить куда лучше, нежели с людьми. Она отняла боковой побег, быстро зарастив ранку, а с хмелем поделилась силой, которой ему явно не хватало. Хотя странно, императорский сад пронизан нитями заклинаний, а хмель до магии очень охоч.

Лизавета провела по веточке мизинцем, сосредоточиваясь на внутренних ощущениях.

Вот так... с красным хорошо будет белый смотреться... и такой, полупрозрачный, будто хрустальный. Она выбрала невысокую приплюснутую вазу. Проверила губку... а воды не налили, что странно. Или еще одна часть испытания?

Кувшин под столом.

Три кувшина.

В одном вода пересолена, в такую ставить растения нельзя. Вторая... не та, причем сложно сказать, что именно с ней неладно, но пальцы закололо, и Лизавета спешно вытащила их. А испытание грозило быть интересным. Она нашла взглядом Снежку и подняла кувшин. После показала три пальца, надеясь, что свяга поймет правильно и что врожденного ее чутья хватит.

Не выгнали бы за подсказки.

Хотя...

Беседка, в которой устроилась портретная дама, была оплетена все тем же плющом и столь плотно, что казалась сотворенной из него. Нет, оттуда не видно, и...

Еще одна веточка снежнаягодника... но Лизавете пришла в голову интересная идея. А что, если немного ускорить? Цветы у снежнаягодника невзрачные, розоватые, но ягоды будут в тему... сил потребуется немало, с другой стороны, в последнее время она и не тратилась.

Растение откликнулось охотно, будто только и ждало.

Листья чуть приподнялись.

А цвет стал мягче, лишь по краям осталась темная кайма... цветы... ягоды... крупные, и еще крупнее, такие гроздья белых шаров... вот так. С хмелем вроде бы смотрится, но чего-то не хватает...

— Деточка, — раздался скрипучий голос, отвлекая от работы. Лизавета обернулась. — А не подскажешь, как отсюда выйти-то?

Женщина была немолода.

И одета просто.

Темное вдовье платье, чистое, аккуратное, но от Лизаветиного взгляда не укрылось — перелицовывали его и подшивали, старательно, но несколько неумело. Кружевной воротничок, служивший единственным украшением наряда, пожелтел от старости.

Шляпка давно вышла из моды.

А ридикюль потрескался на уголочках.

— Простите...

— Сын у меня тут служит... навещала вот, — смущаясь, произнесла женщина. И плечи ее опустились. — А он в карауле... сказали, сегодня не сможет... так-то он меня провожал, а тут пошла и заблудилась... сынок у меня хороший...

Она вздохнула и замолчала.

Только смотрела так растерянно, напомним тем самым тетушку, которая тоже не умела просить. Вот вышивать умела, и крестиком, и гладью. Шить и вязать. Дом содержать. Готовить... а просить — нет.

И как быть?

Недоделанный букет смотрелся несколько жалковато, особенно по сравнению с цветочными фигурами других конкурсанток, но...

— Идемте. — Лизавета торопливо сунула в горшок веточку золотистого вьюнка. Все одно ей не победить, а у человека беда. И как знать, не обидят ли? Среди гвардии тоже всякие встречаются. Увидят. Пристанут с расспросами, потом, может, еще и сыну несчастной попадет, что ходят по саду всякие... — Только я тоже не очень хорошо тут ориентируюсь... а вас к воротам?

Женщина закивала.

— Здесь обойдем... ни к чему нам лишний раз на глаза попадаться...

А то мало ли, вдруг да взгляд благородной особы оскорбится.

— И тропиночкой... сын, стало быть?

— Единственный, — вздохнула женщина, прижимая ридикюльчик к груди. — Батюшка нас оставил... теперь вот маюсь... когда б не Лешечек, точно в монастырь бы ушла...

— К чему вам в монастырь? — удивилась Лизавета. Никогда-то ей, любящей жизнь, не было понятно это вот стремление укрыться от мира.

— Людям служить...

— Так по-разному служить можно. — Лизавета огляделась. Кажется, вот тот огромный трехъярусный фонтан находился в самом центре сада, тогда им надо чуть левее... или правее? Вот же... хотела сделать доброе дело, а в итоге... — Сходите в городскую лечебницу, им всегда свободные руки нужны.

— Я не умею...

— Научат. Там не сложно... главное, желание. Или вот еще... школ много, а учить грамоте некому. Вам за это и платить будут...

Сущие гроши, но все же... и тетушке учить нравилось. Сперва она тоже не больно-то хотела идти, приговаривая, что чему она научить способна? А после втянулась. Почувствовала себя нужной и вовсе не такой уж беспомощной, как самой представлялось.

— Куда это вы собрались? — поинтересовался уже знакомый писарь, выбираясь из кустов. А Лизавета в очередной раз подивилась, во-первых, его вездесущности, а во-вторых, престранной привычке местного люда игнорировать дорожки.

Для них же проложены.

А он кусты ломает. Им, между прочим, неприятно.

— К выходу, — честно ответила Лизавета и новую знакомую под руку взяла. А то еще перепугается, чиновники на обычный люд воздействие оказывают парализующее — что на волю, что на разум.

— Решили удалиться, окончания конкурса не дожидаясь?

— Решила помочь. — Чем-то сей господин, который в серости своей казался еще более унылым, нежели большинство его собратьев по чину, раздражал Лизавету. — Если позволите...

— Позволю, отчего ж не позволить... но вы не в ту сторону идете... — Чиновник поправил очки. — И если уж на то пошло, то вам бы вернуться, барышня... а то ж время...

Он часы вытащил.

Преотменнейшие, подобные Лизавета видела в мастерской, куда батюшкины носила, пытаюсь заложить.

За батюшкины ей предложили пятнадцать рублей, и то сироту жалеючи, а вот подобные этим стоили двести пятьдесят семь. Она точно запомнила.

И откуда у обыкновенного писаря подобное богатство?

Он же по стеклышку пальчиком постучал и ручку скрутил бубликом, предлагая почтенной вдове. А та, помявшись, ручку приняла, только зарделась слегка.

— Идите, идите. — Писарь махнул рукой. — А то опять опоздаете...

А он откуда?..

Когда рыжая скрылась за поворотом, Дмитрий позволил себе скинуть маску. Не полностью, нет, но спина распрямилась, плечи расправились, и дурной пиджачишко затрещал, предупреждая, что не стоит вовсе уж из образа выходить.

— И позволено ли мне будет узнать, что сие означает? — осведомился он, глядя на спутницу свою строго. А та лишь отмахнулась: мол, что вы к слабой женщине прицепились.

— Устала я сидеть... тоскливо...

— А если кто узнает? — произнес Дмитрий с упреком.

— Кого? Анастасию Павловну? Узнают всенепременно... сын у нее тут служит, она к нему каждый месяц навещается. В этом вот прихворнула, так не страдать же мальчику без солений...

— Я серьезно...

— Дорогой, неужели полагаешь, что моих сил не хватит на такую малость, как смена

обличья? Поверь, даже если встречу я с мальчиком, он матушку свою во мне признает...

— Морочишь?

— Не без того. Но люди и сами морочиться рады.

Пара добралась до арки из плюща и падуба. Красные ягодки поблескивали в темном глянце листьев, будто кто-то бросил горсть ярких бусин.

— Зачем?

— Хотелось своими глазами взглянуть... знаешь, она восьмая, к кому я подошла...

— И?

— И первая, кто согласился помочь...

— Их больше сотни, — проворчал Димитрий, испытывая не то чтобы гордость, но всяко чувство странное, несколько непривычное.

— Так и я ведь не одна. Аннушке это тоже показалось забавным, а найти помощниц... здесь любят игры.

В этом Димитрий не сомневался.

— И что теперь?

— Теперь... не знаю. Посмотрим, но... конкурс — на то и конкурс, чтобы были и проигравшие, с кого-то да надо начинать. А ты здесь что делаешь?

— Да... — Признаться, что просто прогуливался, было как-то неловко. Дел у него множество превеликое, а он прогуливается, будто бездельник дворцовый. Того и гляди сонеты писать начнет.

А может, и вправду?

В отставку — и сонеты...

Луна, глаза, слеза и роза, и что там еще, может, какая мимоза. Очарование ночи... главное, потренироваться, а там уж стих пойдет. А то навалилось... вот-вот должен был прибыть Кульжицкий, отец покойной, с которым беседа предстояла непростая. Там и Тарушкевич, с ним тоже поговорить следовало, и тягостно, и перепоручить неприятное дело некому...

Стрежницкий опять же, зараза белобрысая... не мог не подставиться... и вот теперь валяется, пытаюсь справиться с неизвестной отравой. Лешек, конечно, помог, но и он не всесилен. Что сумел, то сделал, только поздно позвали...

А промедли еще с четверть часа, так и вовсе пользы не было бы.

Хитрый яд.

Как попал? С отравленной пулей? Иначе и не объяснишь... а звучит как бред из грошового романчика, до которого прислуга так охоча... но свезло Стрежницкому, иначе и не скажешь... целитель сперва не заметил, а когда уже заметил, то...

И главное, рыжая там опять отметилась.

ГЛАВА 22

Лизавета успела до того, как часы в Дворцовой башне пробили полдень. А из беседки появилась Анна Павловна с блокнотом в руках.

— Прошу, барышни. — Она указала на столы, на которых уже успели навести порядок. — Будьте столь любезны представить нам результат своей работы... не спешите, места хватит всем.

Последнее было произнесено с явною насмешкой.

Лизавета вздохнула.

Спешить?

Куда ей спешить... хотя... она коснулась листа снежнотопольника и вздрогнула. Каменный? Вот не бывает такого, чтобы... он был живым, Лизавета чувствовала это раскрепостно, но все же... все же прохладная жесткая поверхность листочков, выточенных из яркой яшмы.

И белый нефрит ягод.

Золото выюнка, чьи цветы-колокольчики будто бы светились. И заиндевшая хрупкость хмеля... Это было невозможно.

Но было.

И... и что теперь скажут?

Она огляделась. Почти все девушки выставили свои работы, каждую снабдив табличкой, на которой писалось имя. Таблички лежали здесь же, на столах... а вон и местечко свободное, с самого края... и надо поспешить. Каменный или нет, но другой букет составить она не успеет. И Лизавета не без труда подняла вазу, надеясь, что донесет ее до столов, не уронив. Все ж каменные растения весили изрядно.

Не уронила.

Поставила.

Повернула и, не удержавшись, коснулась выюнка, который на прикосновение отозвался дрожью, и цветы-колокольчики зазвенели. Надо же...

Табличку Лизавета подписала.

Отступила.

— А теперь, — Анна Павловна хлопнула в ладоши, — предлагаю вернуться. Время обеда... а уже после него высокая комиссия беспристрастно...

Тут она определенно смеялась.

— ...оценит результаты вашей... тяжелой работы...

Обед проходил в напряженном молчании, и в отсутствие Авдотьи кусок в горло не лез. Почему-то представлялась она белой, изможденной, утопающей в перинах, укутанной одеялами, но все одно зябнувшей. Лизавета старательно гнала прочь вымышленные сии картины, пытаясь переключиться на работу, но выходило не слишком хорошо.

И все вздохнули с явным облегчением, когда обед подошел к концу.

Сад...

Сад был многолюден.

Лизавета и прежде предполагала, что дворец царский скрывает немалое количество

народу, но ныне была удивлена, и не сказать чтобы приятно.

Дамы.

Кавалеры.

Фрейлины и гофмейстерины, окружившие женщину столь удивительной красоты, что Лизавета разом ощутила собственное несовершенство. Впрочем, она тут же успокоилась: рядом с этой женщиной все были одинаково несовершенны.

Бледная кожа.

Белая.

Белоснежная даже. Подобной белизны Лизавета не встречала ни у мрамора, ни у первого снега. Впрочем, гляделась она не сказать чтобы неестественной. Золотые волосы, заплетенные в две тяжелые косы, а те, связанные друг с другом, даже на вид казались непомерно тяжелыми. Но красавица держалась спокойно, будто привыкла к этой тяжести.

Черты лица правильные.

Бледноватые губы.

Зеленые глаза. Каменные... определенно... и пусть говорят, что камень мертв, но этот был более чем живым.

Лизаветино сердце пропустило удар, и она поспешно отвела взгляд: нехорошо вот так глазеть на ее императорское величество. Прежде Лизавете казалось, что парадные портреты несколько преувеличивают красоту императрицы, а теперь она понимала: преуменьшают.

Безбожно.

Анна Павловна хлопнула в ладоши, и гомон стих, а люди, до того бродившие вдоль стола, казалось, бесцельно, скоренько отступили, освобождая дорогу ее императорскому величеству.

Лизавета и сама не поняла, как получилось так, что она и другие девицы оказались по правую руку императрицы, а все прочие придворные — по левую. И оказалось их не так чтобы много... человек сорок, может, пятьдесят. Главное, что они явно затаились, чего-то ожидая. И это ожидание Лизавете крепко не по нраву пришлось.

Вот не ждала она от придворных ничего хорошего.

Дамы раскрыли веера, пряча улыбочки. Кавалеры отворачивались, изредка обменивались репликами друг с другом.

Императрица прохаживалась вдоль стола, останавливаясь то перед одним букетом, то перед другим...

— Кто хочет начать? — голос у нее оказался по-девичьи звонким.

А ответом послужила тишина. Впрочем, ненадолго.

— Я, пожалуй, — выступила Аглая Одовецкая. Ныне, одетая в светло-бирюзовое платье, чем-то похожее на гимназический скромный наряд, она смотрелась моложе своих лет.

Простая коса.

Из украшений — камья под горлом.

А букет она составила довольно простой. Темная ветка падуба, в которой поблескивала пара ягод, тонкие нити аспарагуса и золотистый крыльник, чьи тонкие хрупкие цветы дрожали на невидимом ветру.

— К сожалению, я несколько далека от... того, что называют языком цветов. — Аглая

осторожно коснулась острых листьев. — А потому составила букет на свой вкус.

Кто-то хихикнул...

Лизавета повернулась. Так и есть, круглолицая барышня закрылась веером, но глаза ее подозрительно сияли, а склонившийся над ухом кавалер шептал... что-то там шептал. Лизавета покраснела.

— Настойка падуба способна облегчить боли в спине, а смесь аспарагуса и крыльника снимет отек и напряжение в мышцах... правда, я еще не нашла мышанку, без которой настой будет неполным, но в это время года она встречается лишь в березовых рощах...

— Дура, — стоявшая подле Лизаветы девушка произнесла это явно с чувством глубочайшего удовлетворения. — Здесь ей не лечебница...

— Благодарю. — Ее императорское величество коснулась следующего букета. — Всегда отрадно осознавать, когда что-то делается со смыслом...

Розовая башня, символизирующая великолепие империи, рассыпалась, стоило к ней прикоснуться.

— Берясь за работу, следует проверить инструмент, — не выдержала Анна Павловна, когда следом за башней распался лилейный лебедь и огромный торт, сложенный из нескольких видов цветов.

Кто-то разрыдался.

Кто-то не смог скрыть торжествующей усмешки...

Говоря по правде, Лизавета несколько устала. Светило солнце, а зонтов им не предоставили, не предложили стульев. Впрочем, сидеть в присутствии императрицы все одно было неприлично.

Припекало.

Трепетали веера... кто-то что-то говорил, уже не чинясь.

Рассыпалось прахом очередное сооружение из цветов.

Слезы.

Вздохи.

И ощущение, что ноги налились свинцом, а в голове — пустота... и так не бывает, чтобы ни с того ни с сего усталость вдруг навалилась. Если разобраться, Лизавете случалось куда больше времени проводить на ногах да в условиях не самых лучших. И она уставала, но не так... всеобъемлюще.

Она огляделась.

И нахмурилась.

Девушки молчали. Стояли бледны, растерянны... красота куда-то ушла. Кто-то торопливо обмахивался, кто-то озирался, явно пытаясь найти хоть что-то, на что можно было бы присесть... кто-то что-то пытался рассказать об очередном букете, но...

Анна Павловна не слушала.

Она стояла за левым плечом императрицы, которая, казалось, всецело была сосредоточена на этих растреклятых букетах, но смотрела исключительно на девушек. И время от времени что-то черкала тоненьким карандашиком в блокноте.

А если...

Конечно, ее ведь предупреждали, что просто не будет, и если все так, как Лизавета предполагает... Она отыскала взглядом Снежку, которая казалась отстраненной и задумчивой, она стояла в сторонке, погруженная в собственные мысли. А вот княжна

Таровицкая не выглядит уставшей, вполне свежа и весела, окружена группой кавалеров... что-то говорит... смеются и говорят уже ей... Одовецкая наблюдает за соперницей с какой-то непонятной ревностью, но тоже ни тени усталости...

Лизавета сосредоточилась.

Щит.

У нее не всегда получалось, но если попробовать... из воспоминаний. Вот отец берет ее на первую охоту. Матушка возражает: где это видано, чтобы девицы охотились? У нее от ветра кожа огрубеет, а на руках появятся мозоли, и вообще неприлично в мужском седле ездить.

Увидит кто...

Увидят, отец в этом уверен. И похвалят... они идут по снегу... прохладному белому снегу, который прихвачен морозцем, и белая корочка хрустит, а ноги в снегоступах проседают, но не проваливаются. Это потому, что в Лизавете веса меньше, чем в белке.

Усталость отступает, медленно и нехотя, дышать и то становится легче. И Лизавета дышит, а отдышавшись, ловит на себе одобрительный взгляд. Анна Павловна? Но... взмах рукой. Очередь? Конечно, Лизавета едва не забыла про букеты. И выходит, пора...

Разом нахлынула неловкость, но с нею Лизавета справилась на удивление легко. Просто подумала... да, про ту же охоту, которая была неудачной. А что поделаешь, если по лесу она шла шумно, бестолково? Зато был вечерний костер на поляне. И теплый хлеб. И сало, вкуснее которого она, казалось, не едала... смех отца, ее неловкость...

От императрицы пахло вересковым медом.

И еще летом.

И чем-то иным, незнакомым, но приятным.

— Я... не знаю, что говорить. — Лизавета коснулась каменных листьев, убеждаясь, что хуже не стало. — И понятия не имею, как получилось, что они стали... такими.

Зазвенели колокольчики.

Тихо так.

И кто-то заметил:

— А она использовала магию!

Почему-то простые эти слова заставили девиц очнуться от морока. Да... сильные эмоции разрушают ментальные чары. Красавицы же определенно испытывали сильные эмоции.

— Магию?! — поинтересовалась блондинка в морском платье. — Разве можно было...

— А разве вам кто-то запрещал? — Анна Павловна захлопнула записную книжку. А императрица, склонив голову, посмотрела этак с насмешкой, будто знала о чем-то, о чем сама Лизавета и не догадывалась.

— Честность, — сказала она, — безусловно, хорошая черта...

А кому сказала?

И зачем?

Непонятно.

Главное, когда вручили приз победителю — кулон из живого золотистого янтаря, — Лизавета почему-то почувствовала себя обманщицей. Ведь не ей должен был достаться... ведь все получилось случайно.

И не будь вокруг столько людей...

Кто-то поздравлял.

Кто-то хлопал.

Кто-то... ее вдруг окружили, задавая сразу тысячу вопросов и притом совершенно не интересуясь ответами, будто важным было лишь оказаться рядом с нею. И оказывались.

Улыбались.

Прикасались к платью... что-то такое советовали, то ли портных, то ли модисток... локоны в моде, но носить их... разве что по особому случаю... ювелир будет рад сделать гарнитур, хотя, конечно, камни подобрать будет сложно...

Перчатки.

Туфельки.

Волосы в порядок привести, потому что милая простота хороша сейчас...

Конечно, возраст не скрыть, но если... императрица ценит необычные таланты, и послушайте доброго совета, не теряйтесь... просите... что? Какая разница. Что-нибудь да просите, все просят. И если быть настойчивой и вовремя попадаться на глаза... а получить покровительство...

Лизавета сама не поняла, как вырвалась из толпы.

Она, кажется, забыла, что такое вежливость, а пару раз даже наступила кому-то на ногу, но сейчас ей простили... сейчас, когда императрица, окруженная придворными дамами, была здесь, наблюдая за происходящим с показным равнодушием, Лизавете готовы были простить многое. Вот только после за это прощение отыграются сполна, и...

И кажется, она знает, о чем написать новую статью.

Вот о той пухленькой баронессе, которая нарочито громко обсуждает прическу. И ведь встала так, чтобы девица, чью прическу, собственно, и обсуждали, слышала каждое слово. И вот о подружке ее, не стеснявшейся показывать пальцем на рассыпавшиеся букеты. О седовласом, сонном с виду господине, не постеснявшемся поставить подножку более молодому сопернику. И о дружках последнего, рассмеявшихся, когда приятель их растянулся у ног Одовецкой.

Паноптикум.

Эта мысль неожиданно успокоила. В конце концов, ей здесь не жить. К счастью. И Лизавета, спрятав кулон в рукав, подняла вазу. Огляделась, пытаясь найти кого-то из прислуги.

— Вам помочь? — подошла отчего-то сама Анна Павловна.

— Да... если можно... их бы посадить, а то... живые ведь.

Каменные листья снежника постукивали друг о друга, и звенели золотые колокольчики.

— Что ж... это неплохая мысль. Идемте...

Спорить Лизавета не посмела.

ГЛАВА 23

Барон Тарушкевич был кряжист, грузен и криворот. Он сидел, завалившись на левый бок, и руку прижимал к груди. И было во всей его позе, в выражении лица и взгляде такая странная беспомощность, что Дмитрий испытывал непонятную самому неловкость.

— А я говорил ей... упреждал... просил... разве ж слушала... это все он, зараза этакая... — Барон говорил негромко, хотя все одно срывался на крик и тут же спохватывался. — Не уберег... он это... найдите, казните ирода...

— Вы про ее... приятеля?

— Какой он приятель... проходимец. — Тарушкевич тяжело вздохнул. — Я ж, как моя-то померла, так прям осиротел... и она... но я про себя больше думал. Что у Аленки... нянек семерь... мамки... девок сенных с дюжину... я ж ни в чем ей не отказывал. Охота романов? Со столицы выписывал коробами. Пускай читает... глупость, конечно, но ведь и она девка... не доглядел... у баб и так голова пустая, Аленка же ж... начиталась про всякие любви... это уж после мне доложили, что в романчиках этих похабщина одна. Куда цензура смотрит?!

— Посмотрит, — пообещал Дмитрий. — Может, целителя кликнуть...

— Не поможет... жаба у меня... грудная... а она этого Микитку... в церкви встретила... он издали глядел... выглядел, сволочуга.

— Кто таков?

— Микитка Шелуднев... Шелудень... писарчуков сынок... не думайте, будь он человеком годным, я бы не поглядел, я ж понимаю, что с нелюбым жить — мучиться только. Потому и не искал Аленке никого, думал, поедем ко двору, там уж оглядится, выберет по вкусу... а кто ж знал, что этот поганец... сгинул, мне доложили, сразу за Аленкиным отъездом...

Он тяжело поднялся, потер грудь, саднящее сердце.

— Что мне моя Любушка скажет? Не уберег... и виноват, кругом виноват... сразу ехать надо было, а я все от землицы оторваться не мог... чудилось, уеду, так и вовсе порастеряю память... — Он покачал тяжелой седой головой. — Микитка... мне когда доложили, что подле нашего сада он околачивается, я и велел своим людишкам разведать, что за человек. Даже обрадовался сперва. Думал, если порядочный, то и плевать, какое у него там звание... присмотрит за Аленкою... а остальному... денег у нас хватит и детям, и внукам, и правнукам... благо деготь еще нужен, да и мягкой рухлядью торгуем с прибытком немалым... у меня лучшие говоруны на всем Севере... лис привадили... норок... песцов вот привезли, малое поголовье пока, но лет через десять...

Вздохнул.

Пожаловался:

— И кому теперь? Родственничков тьма... моих... только и ждут, когда... а Микитка этот — дрянь человечиска... письма он писал... ласковые... сам прослезился читая, чего уж про Аленку говорить? Ее светом поманили, и полетела, глупенькая моя... Умел бы, объяснил, только аккурат в тот вечер, когда мне про Микитку этого доложились, она и сунулась со своей любовью. А я не сдержался... у меня норовов все дурноват изрядно, а тут уже... — Он махнул рукой. — Показать бы ей... он про любовь писал, а сам с бабой одной сожительствовал. И главное не то, что детишек ей сделал троих, да без браку, то на его совести всецело... колотил он ее, пару раз, сказывали, едва до смерти не забил. И не только ее... детишек тоже не щадил... вот...

Он вновь потер грудь.

— А черного кобеля добела не отмоешь. Где одна, там и другая... может, пока я живой, еще и поостережется, а мне уж недолго. И останется Аленка с этой вот нелюдью. Как скоро он ее в могилу сведет...

— Почему не объяснили?

— Так... не умею я... с бабами говорить... тогда наорал, а другим разом... девка ж она неразумная... любила его, подонка этакого, сумела бы оправдать. Небось людишки мои, когда с той его сожительницей беседу вели, тоже спрашивали, отчего терпит... из любви... тьфу на такую вот любовь.

Он плюнул смачно на узорчатый паркет и сапогом растер.

— Я-то сперва подумывал нанять кого, чтоб объяснили Микитке этому, куда лезть не надобно, только... поймите, я порядочный человек, смертоубийство — грех... намяли б ему бока раз, другой... помогло бы, я эту породу знаю, трусоватые... но когда б меня не стало, появился бы вновь. И тогда что? Нет... надо было Аленку пристроить, чтоб в руки надежные. А тут конкурса эта. Чем не повод? Я и подумал, отправлю, пушай оглядится. Что она видала, кроме нашенской глухомани? Глядишь, понравился бы кто... мы люди небедные, я б за Аленкою приданое положил... а этот шельмец, верно, почуял, что уходит... следом... и убил... убил...

Тарушкевич покачивался, повторяя это слово на разные лады, не способный поверить, что и вправду нет больше его Аленки.

— Найдите... — Он замер и вновь грудь потер, пожаловался: — Ноет, проклятущее... найдите — и веревку... на площади, чтоб неповадно было...

— Найдем, — пообещал Димитрий, хотя и сомневался, что этот самый Микитка, шельмец и охотник до легких денег, и вправду столь уж виновен.

Как он добрался до дворца?

Каким образом проник?

И главное, зачем убил Алену? Она-то к его планам отношения не имела, да и сама Алена ценна была живой. И как показывала память, первой своей любви она не изменила, готова была к побегу. Но Микитку определенно найдут.

Для порядку.

С Кульжицким вышло иначе.

Отец покойной держался подчеркнуто вежливо, да и убитым горем вовсе не выглядел, скорее уж во взгляде его виделось некоторое недовольство. То ли тем, что умерла дочь до крайности не вовремя, то ли тем, что разговорами своими привлекла к роду ненужное внимание.

— Сочувствую вам. — Димитрий указал на кресло. — И понимаете, почему мы не хотим предавать историю огласке...

— Потому что слухи пойдут не на пользу короне.

Бартольд Кульжицкий при дворе жил давно, полагая себя если не опытным интриганом — как раз интриг-то Кульжицкие чурались, — то всяко человеком сведущим, тонко чувствующим происходящее.

— Именно, — не стал отрицать Димитрий.

— Понимаю. Положение и без того нестабильно. Его императорское величество нездоровы, а императрица, говоря начистоту, не имеет должной поддержки.

Надо же, какая откровенность.

— Наследник, — Бартольд поморщился, — успел проявить себя... весьма определенным образом. И опровергнуть эти слухи будет весьма затруднительно. Я понимаю желание короны реабилитироваться в глазах подданных и подыскать Алексею подходящую невесту. Брак, несомненно, укрепил бы его позиции... это мудро, да...

Он щелкнул пальцами, вызывая махонький огонек.

— Мне лишь непонятно, кому в этом благом деле помешала моя несчастная дочь.

— Мне тоже. — Дмитрий откинулся, разглядывая собеседника. До того он с Кульжицким дела не имел. Нет, с Бартольд и сыновьями его случалось сталкиваться, все ж людей во дворце было не так уж и много. Но одно дело — раскланяться на званом вечере, а другое — по делу беседовать.

— То есть вы понятия не имеете, кто ее убил?

— Увы.

— И надеетесь, что я вам помогу?

— Хотелось бы... видите ли... ваша дочь имела неосторожность вести разговоры весьма определенного толка...

— Дура, — прервал Бартольд и поморщился. — Не подумайте, что я ее не любил. Любил. Однако это не мешало мне здраво оценивать ситуацию.

Черный строгий сюртук.

Белоснежная рубашка. И единственным украшением — серебряные запонки с жемчугом.

— Это все матушка моя... — Он поскреб розовым ноготком подлокотник кресла. — Понимаете... она происходила из рода древнего, но, как бы это выразиться, несколько поиздержавшегося, а потому и в принципе стал возможен брак между нашими родителями. Однако матушка, сколько себя помню, никогда не забывала о происхождении. Более того, всячески подчеркивала, что вынуждена была согласиться на подобный мезальянс, чтобы спасти семью.

Димитрий попытался вспомнить. Он, конечно, проглядывал дело, но так глубоко не копал. Старшая Кульжицкая происходила, кажется, из Бужевых... и вправду род древний, не единожды роднившийся с царским, правда, верно сказано, что поиздержавшийся. Во время Смуты Бужевы сперва держались в стороне, когда же император отрекся, споро перешли на сторону бунтовщиков, отказавшись и от рода, и от имени. За что и поплатились.

Нет, их не казнили.

Старый Бужев, кажется, помер от туберкулеза в осажденном Арсиноре. Старший сын его был ранен и от раны не оправился. Что поделать, если большая часть целителей происходила из родов аристократических, вот их и постреляли, не подумав, что самим пригодятся. Положа руку на сердце, Смуту подавили не только и не столько войска, сколько голод и вспышки заразы, остановить которую оказалось некому.

Младший...

А вот что с ним стало, неизвестно. Правда, высочайшим указом был он заочно осужден и признан виновным, отрешен от всех титулов и лишен земель... то есть что бы ни было, но на трон он претендовать не может. Однако... если не на трон?

— Задумались? Бросьте... мой дорогой дядюшка был не слишком умным человеком. Боюсь, все они... как бы это вы разиться... — Бартольд поднялся и предложил: — Пройдемся? А то ведь... не могу сидеть... этакая вот странность. Матушку она в свое время безумно злила. Виделось в том свойство низкой крови, хотя наш род не намного моложе, но... видите ли, я не был избавлен от необходимости встречаться с этими, с позволения сказать, родственниками...

Они появлялись в поместье с завидной регулярностью, и визиты эти приводили матушку в невероятнейшее возбуждение. Она, получив весточку, принималась командовать ключницами и сенными девками, хотя обычно до дел хозяйственных не снисходила.

Мигом вытиралась вся пыль.

Скоблились полы.

В доме повисал тяжелый запах ароматизированного воска. Снимались и перестирывались гардины, а из сундуков доставалась самая лучшая посуда. Но и этого оказывалось недостаточно.

— Боже мой, какая убогость... — повторяла Белена, заламывая тонкие ручки.

Она поднималась в детскую, осматривала Бартольда и вновь же морщилась, щипала его за щеки, стеная, что щеки эти чрезмерно пухлы и вообще недостает ребенку аристократического изящества. И это означало, что на завтрак отныне станут подавать холодную, сваренную на воде овсянку, а на обед — жидкий супчик. И Белена сама станет караулить няnek, чтобы не смели подкармливать калачами.

Отчасти поэтому к родственникам Бартольд относился без особой любви.

Они были...

Сиятельны и великолепны. И в этом великолепии блекло столь любимое Бартольдом родное поместье. Оно словно бы обесценивалось, стоило старшему Бужеву бросить презрительный взгляд на дом... на луг... Он только смотрел, а вот сыновья его, которых полагалось именовать любимыми дядюшками и никак иначе, не сдерживали себя.

— Видел того жеребца, о котором вы говорили, — средний мало ел и держал мизинец оттопыренным, — на редкость отвратительный выбор. Не понимаю, чем вы руководствовались... в нем ни изящества должного...

Жеребца купил батюшка и сказал, что первый же жеребенок, от него рожденный, будет Бартольдовым. И он, ожидая этакого чуда, сам носил жеребцу яблоки. А тот шумно вздыхал и брал угощение аккуратно, сдержанно.

И вовсе характер имел ласковый.

— ...Где это видано, чтобы жеребец был что кошка...

Отец помалкивал.

Правда, гости задерживались ненадолго, ночевали, а наутро, пожаловавшись на слишком жесткие перины и простыни льняные, отбывали восвояси. И сперва Бартольд искренне полагал, что визитами этими они делают Кульжицким немалое одолжение, пока однажды не услышал:

— Хватит, — отец говорил громко, что с ним случалось редко. — Я достаточно терпел. Я выкупал векселя, которые твои родственнички плодят, не задумываясь о том, кто и как будет их оплачивать. Я выписывал чеки, но при этом еще и их терпеть...

— Ты не понимаешь...

— Ты права, я не понимаю. Не понимаю, как можно быть настолько беспечным? Я взял тебя без приданого, хотя мог заключить куда более выгодный брак. И матушка меня предупреждала...

— Она всегда меня ненавидела!

— Она в отличие от меня понимала, что вы все из себя представляете... древний род... благословенная кровь... и что толку с этой крови? Твой отец только и способен просаживать деньги. Сколько я выплатил за тебя? Десять тысяч рублей? И куда они ушли?

Бартольду полагалось бы уйти, но он остался, раз уж никто не видит. Благо в гостиной имелось достаточно укромных мест. А десять тысяч... в неделю батюшка выдавал Бартольду рубль, естественно, если неделя эта проходила без приключений и учителя докладывали о том, что учится Бартольд старательно и от занятий не отлынивает. Рубля хватало на... на многое.

А десять тысяч?

Это ведь... это сколько всего купить можно!

— На правильных жеребцов? На карточные долги?

— Дело чести... к сожалению, вам, торговцам, не понять...

— Нам... стало быть, все еще нам... что ж, дорогая, ты всецело права, нам, торговцам, непонятно подобное отношение к деньгам. И потому, будь добра, передай своим родственникам, что это был последний чек. Больше я не собираюсь тянуть еще и их. У нас, в конце концов, есть сын. Подумай о нем.

— Я думаю. — Матушка произнесла это таким тоном, что у Бартольда похолодели руки. — Ты собираешься сделать из него очередного... торгаша...

— В торговле, дорогая, нет ничего дурного. Торговля дает те самые деньги, которые ты тратишь на меха и драгоценности, на обновление мебели, на перестройку дома...

Дальше разговор был скучен.

Зато на следующий день батюшка взял Бартольда с собой на прядильную фабрику. Потом была поездка на склады, с которых грузились маленькие речные пароходики, на суконный заводик и в почерневшие, пропахшие дымом дегтярные мастерские. Так уж вышло, что, втягиваясь в семейное дело, он постепенно все больше отдалялся от матушки. Впрочем, никогда-то Бартольд не был с нею близок.

— Она, конечно, изъясляла недовольство. Были и слезы, и скандалы, но при всей своей уравновешенности отец имел удивительную черту. Однажды приняв решение, он держался его. Как-то после очередной ссоры матушка даже изволила отбыть из дома, верно, полагала, что муж примется умолять вернуться, но...

— Не умолял?

Кульжицкий шел по галерее неспешно. Он заложил руки за спину, и появилась в фигуре его некоторая несуразность.

— Нет. Она вернулась сама, и на редкость недовольной. Как мне теперь кажется, в родном доме ей были не рады. Потом случилась Смута... к сожалению, мой отец оказался не в том месте и не в то время... рабочие его фабрики пытались защитить, но...

— Сочувствую.

Кульжицкий дернул плечом.

— Я успел перевезти матушку. Дом наш сожгли, но в принципе отец был достаточно разумным человеком, он многое понял и успел перевести основные активы за границу. Мне было на что восстанавливать дело... и да, я не воевал. Я уехал. Возможно, вы сочтете это трусостью, но... я отвратительно управляюсь с оружием.

— Я знаю, что вы и без того многое сделали для победы. Солдаты у короны были. А вот оружия не хватало.

И не только оружия.

Одежда.

Продовольствие.

Эликсиры и бинты. Амулеты, которые благодаря Кульжицкому поставлялись обозами. Он находил нужных людей и сводил их друг с другом. Он делал деньги, не без того, но никогда не зарывался в отличие от многих других. И первым вернулся в разоренную страну восстанавливать бывшее имущество рода. А уж следом, убедившись, что бунт и вправду подавлен, потянулись другие.

— Что ж... я рад, что вы понимаете. — Кульжицкий сложил руки за спиной. — Однако... отстроить дом — это лишь малое из того, что мне пришлось сделать. Наши фабрики были разорены, два завода из пяти сгорели, а три оставшихся... проще было отстроить заново, чем восстанавливать. Все это требовало немалых вложений. Ссуды брать по понятным причинам я не хотел, а вот жениться женился. Моя супруга — очень хорошая женщина. Мне несказанно повезло с ней... она родила мне троих сыновей и Гдыславу.

Он вздохнул.

— К сожалению, я слишком много времени уделял делам, полагая, что Голуба справится сама. Не учел, что она, будучи характером тверда, все же не способна противостоять моей матушке. И если сыновей я сизмальства приучал к делу, то дочь... матушка воспитала из нее собственное подобие. Вновь вспомнила про кровь. Про угасающий род. Пошли эти безумные разговоры, что Гдынечка достойна лучшего... я нашел ей мужа, хорошего человека. Не старого. Очень порядочного. Вдовца, да... но я узнал, как он относился к первой жене, а потому был спокоен, что мою дочь не обидят...

— И когда должна была состояться свадьба?

— В том и дело... стоило мне заикнуться, и матушка моя вместе с дочерью ударились в истерику. Не то чтобы я собирался отступить, все же я в доме хозяин... но эти идиотки сбежали из дому, кинулись в ноги моему партнеру...

Кульжицкий сжал кулак.

— Выставили меня... эта их выходка едва не стоила мне нужного человека. С трудом удалось убедить его, что я не избиваю дочь...

— А вы...

— Помилуйте! И вы туда же... я бы в монастырь ее отправил на пару месяцев, а пока просто запер в поместье. Матушка вилась угрем, уговаривала, сказала, что Гдыся способна сделать куда более яркую партию... И признаюсь, устал от них обеих, если позволил себя уговорить. Они обе так рвались во дворец, что я... не устоял, да... подумал даже, чем бес не шутит? Авось и вправду пристрою дуреху... имя у нас есть, приданое положу. Хочется ей в княгини, так пускай...

— Только в княгини? — поинтересовался Димитрий.

И Кульжицкий остановился.

Замер.

Вздохнул.

— Моя матушка... пребывала в странной уверенности, что происхождение ее позволяет Гдысе претендовать на большее. Но это моя матушка. Я же прекрасно осознавал, сколь ничтожны ее притязания. И не думал, что бабьи разговоры способны... на что-то повлиять.

Способны или нет, это еще Димитрию предстоит выяснить.

— Поймите. Я не желал ссориться с нынешней властью. Более того, здесь еще помнят меня, ценят. Позволяют много больше, чем другим... Нет, я не нарушаю закон, упаси боже, но просто мое имя при дворе что-то да значит. А случись переворот, то мое положение сыграет против меня. Я помню, что случилось с моим отцом, и не желаю повторять его судьбу. И уж точно не хочу подобного для моих детей. А новый бунт... теперь они точно никого не пощадят.

ГЛАВА 24

Императрица-матушка запрокинула голову и вздохнула, когда прохладные руки Аннушки легли на виски.

— Не стоило вам выходить, — с упреком произнесла княгиня Керненская, берясь за гребень.

— Всю жизнь взаперти не просидишь.

Косы изрядно потяжелели, и расплетала их Аннушка споро. Падали на пол золотые пряди, шевелились, расплзаясь, и было в этом зрелище нечто одновременно до крайности притягательное и столь же отвратительное.

Впрочем, двери закрыты.

Боярыням сказано, что императрица-матушка притомилась на солнышке, а уж они расстараются, разнесут по двору, перевирая...

Пускай.

Гребень скользил.

Светился.

А с ним и Аннушкины заботливые руки.

— Всю, не всю... но сегодня-то зачем?

— Отчего бы и нет? — Императрица потянулась, и золотой ковер волос распался на сотню прядей-змей. — Ишь ты... расшалились... надобно будет сказать, чтобы послали кого на Север. Там жилы молодые к самой поверхности вышли. И мне съездить бы...

— Сейчас? — Аннушка позволила себе неодобрение.

— Нет, конечно... рано еще под землю. Но просто съездить, потом, когда закончится... давно стоило. Люди должны видеть власть. Вы слишком другие.

— А вы?

— А мы... сложно сказать. Я властна над жилами земными, и даже отец не способен лишить меня этой власти. Разве что сердце вырвет. Но... это вряд ли.

Аннушка склонила голову.

Верная.

И не из благодарности, хотя есть за что. Она тогда нуждалась в опоре не меньше, нежели молодая императрица, оказавшаяся вдруг в чужом мире. Для Аннушки мир был своим, но не слишком добрым. Пусть древнего рода — люди отчего-то ценили, позабыв, что самая сильная кровь с годами слабеет, если не призывать ее, — но обедневшего. Остались им лишь гордость да слабая надежда, что кто-то польстится на титул и возьмет в жены бесприданницу.

Такую...

Ее вывезли ко двору, не озаботившись гардеробом, амулет же, пятно скрывавший, непостижимым образом уродовал правильные в общем-то черты лица. И весьма скоро Аннушка узнала, что такое быть слабой.

Насмешки.

Презрение.

И шуточки, порой злые, стоящие на самой грани дозволенного. Если бы не императрица, которой понадобились фрейлины — а желавших служить чужачке как-то не

находилось, — грань бы пересекли. Но...

Первым делом императрица разрушила амулет.

Вторым...

Третьим и пятым... это был долгий путь, но он, пожалуй, стоил того. Ныне все рады служить что императрице, что княгине Керненской, которая, несмотря на родимое пятно, считалась одной из первых красавиц двора, но обе знали цену этой службе.

— Земля знает, что я есть. Камни слышат мой голос. Им этого довольно. А люди... люди должны видеть царя. И императрицу...

Путешествие было давней задумкой. Да и что сказать, тянуло ее к горам. Плакали жилы, пробиваясь наверх, дрожали камни, лишённые благословения, без которого не могли они напитаться земляной силой. И ей легче станет, уйдут оковы отцовы в землю, переродятся алмазами или, быть может, изумрудами. Главное, что косы потеряют вес свой.

— Тогда поедem, — сказала Аннушка. И погладила особо живую змейку, которая обвила руку статс-дамы. — Ишь ты... разгулялись... может, им молочка принести?

— После... надо к ужину выйти. Список огласить.

— Может, я?

Молочко императрица любила. И еще свежий горячий хлеб, чтоб непременно в печи испеченный, с темною корочкой, которая бы хрустела, а нутро — мягкое, теплое. Об этой привычке ее знали, правда, поговаривали, будто молоко чудесным образом избавляет от отрав всяких.

Пускай.

От отрав императрица и сама избавлялась с легкостью, а молоко просто было вкусным.

— Не стоит... ты будешь чувствовать себя виноватой, хотя не понимаю почему.

Аннушка подбирала змей.

Она гладила их, собирая избытки силы, которые вливала в кристаллы, благо их имелась целая коробка. Темные куски необработанного горного хрусталя наливались цветом, становились прозрачнее и... менялись.

Позже Аннушка отнесет коробку в сокровищницу.

— Мне жаль этих девочек...

— Стоят ли они твоей жалости?

— Не знаю... просто... этот конкурс... он кажется мне не совсем честным.

— И тебя это мучает?

Аннушка склонила голову.

— Возможно, и так... но... посмотри, никто не заставлял их. Они пришли сюда, желая... чего? Славы? Богатства? Выгоды?

— Так, но...

— Но ничего не бывает даром. — Камень в руке императрицы потемнел, съежился, становясь размером с крупную каплю воды, правда, угольно-черную. Стало быть, прибудет и редких черных алмазов. Впрочем, сколь императрица помнила, в сокровищнице уже имелась дюжина.

Хватит, чтобы заказать пару браслетов.

Лешеку пригодятся.

— Чем они готовы были платить?

— Когда ты так спрашиваешь... я теряюсь.

— Не стоит. — Императрица погладила подругу по щеке. Всем Аннушка была хороша. Умна. Тактична. Неболтлива. Вот только в честности своей порой слепа. И наверное, это свойство всех хороших людей: полагают они, будто бы и прочие, даже прогневившие душой, тоже хороши, просто изменились в силу обстоятельств. И если обстоятельства эти вновь переменить, то и люди исправятся. — Просто поверь, они знали, что будут проигравшие, но не предполагали, что это будут они. Давай по очереди. Кто первая?

— Стражевская Ксения. По силе — огневичка, однако воспитание получила домашнее, и ее явно баловали. Совершенно не способна управиться с собой. Контроль отсутствует... и такта никакого. Вчера отхлестала по щекам горничную, а старушке отказала в словах совершенно непотребных. — Аннушка вздохнула. — Ее бы в пансионат отправить хороший... огонь без контроля опасен.

— Вот и отправь. К Игерьиной, допустим... Справится?

— Полагаю...

— Напиши письмо. И родителям этой красавицы тоже... от моего имени.

Возражать Аннушка не стала, в силу особенностей характера своего она, конечно, девушке сочувствовала, ибо видела в нынешнем ее поведении исключительно родительское упущение. Была ли права? Как знать...

— ...Конюхова... очень груба, заносчива. Грозилась, став императрицей, отправить двух девушек на конюшни, а всем низкорожденным вовсе запретить жить в столице...

— Надо же...

— Ее родители погибли после Смуты. Вальяжский голодный бунт. Растил дед, а у него... специфические взгляды.

— И ее в пансионат отправь. Хотя нет... кто она по профилю?

— Целитель.

— Тогда в городскую лечебницу... для бедных. Пусть поработает, скажем, год...

— А повод?

— Повод? — Императрица задумалась. Как все-таки сложно с людьми. Повод... — Скажем... я желаю, чтобы отныне все барышни благородного сословия примером своим показывали людям простым, что есть милосердие и сострадание, и организую особый отряд...

— Отряд?

— Не придирайся, как назовешь, так и будет... так вот, начнем со столицы, а там... а то, право слово, целителей не хватает что воздуха, а эти выучатся и по домам сидят. Расточительно оно как-то... Эта красавица как, дело знает?

— Одовецкая о ней неплохо отзывалась.

— Значит, знает... вот пусть подберет себе дюжину товаров... И представь это наградой. Точно, — императрица взяла другой камень, с сожалением прикинув, что и его в черный алмаз переменить не выйдет, силы иссякли, — особая служба при ее императорском величестве... в память родительских заслуг и все такое... грамотку покрасивше найди.

Аннушка фыркнула и назвала следующее имя.

Ах, все же утомительная это работа — находить дело бесполезным людям. Впрочем, спустя час императрица была уже не столь уверена в бесполезности их. Если по-

хорошему разобраться, то сколько ресурсов пропадает...

Димитрий разглядывал покойниц, пытаясь найти меж ними общее. Девушки лежали в холодной, на двух столах, обе укрытые простынями до самых подбородков, будто и после смерти пытались сохранить свое достоинство.

Вскрытие провели.

И результаты его были однозначны: смерть наступила в результате асфиксии, причем если в первый раз душили ремнем, то во второй явно использовали ленту, причем именно ту, которую нашли при девушке. И о чем это говорило? О том ли, что ее выбрали заранее?

Но почему?

Они не похожи.

Димитрию попадались дела о безумцах, одержимых жаждой убийства, но... не похоже... одна высокая, другая, напротив, миниатюрна. Цвет волос разнится. Черты лица... Тогда почему выбрали ее?

Не потому ли, что была влюблена, растеряна и являлась легкой добычей?

Такую просто убедить... в чем? Да в чем угодно. Она так ждала письма от своего сердечного друга, что с готовностью поверила в эту записку.

В побег.

Он вздохнул. Девушек было жаль. И себя тоже...

А Бужевых надобно проверить. Если кто и выжил, то и отрешенный от титулов, лишенный былой власти, вряд ли он смирился с такой потерей. Вернуть все? Не в этом случае... да, государь простил многих, без этого никак, но не Бужевых.

Они возглавили хлебные рейды, опустошая деревни.

Они руководили уничтожением Шебейского храма. И обороной Кардаша. И руководили, что говорить, довольно грамотно. На той высоте много крови пролилось. Нет, их не простили бы... попадись он, что бы ждало?

Суд?

Всене непременно. А там... может, ссылка, может, каторга. А может, найдись кто, способный в лицо высказать обвинения, то и веревка. Нет, рисковать не стали бы. Тогда что? Уйти за границу, как некоторые? А что им за этой границей делать?

Остаться?

Кем?

Судя по рассказу Кульжицкого, они и при титулах не больно-то с жизнью управлялись... Друзья? Отрекуются, а то и первыми сдадут властям. Родственники? Единственной осталась сестра родная. А вот она... она смогла бы принять блудного брата?

Пригреть его?

Спрятать?

Пожалуй, что да... а больше если? На первое время, допустим, действительно хватило бы малости. Вряд ли бы Бужев вышел из боя вовсе без потерь. Добавить опять же опасения, что и сестра предаст... тут и суды, и казни, пожалуй, усмирившие страну куда быстрее, нежели войска...

Да, он бы затаился.

Постарался бы скрыться, и не факт, что рискнул бы появиться пред сестрицей, которая ко всему не сразу из-за границы вернулась... а уже потом, когда все подуспокоилось...

Возможно?

Вполне.

Кульжицкий сказал, что после его женитьбы матушка запросилась отдельно жить, своим, так сказать, домом, поблизости, но все же... все же... случайность? Или блудный брат вернулся, и она поняла, что Бартольд молчать про родственника не станет?

А тому помощь нужна.

Надобно послать кого побеседовать со старушкой... и жаль, что Стрежницкий слег, его старушки очень даже жаловали, особенно такие, которым былая слава жить спокойно не давала. Кого послать? Или... что-то подсказывало, что коротает дни престарелая боярыня отнюдь не в родовом поместье. Но снизойдет ли она до беседы с каким-то писарем?

Или даже лучше, что писарь?

Высокие господа людишек ничтожных полагают априори глупыми, и потому... Решено, ныне же с визитом наведается, принесет письмецо соболезнующее от императрицы матушки.

Лизавета ерзала.

Уж больно... внимательно ее разглядывали. Особенно вон та сурового вида дама с лорнетом на палочке. Почему-то не отпускало чувство, что палочкой этой дама с превеликим удовольствием перетянула бы Лизавету по плечам, а после...

Лизавета отвернулась.

Не хватало еще. Будь ее воля, она бы вовсе к ужину не вышла, тем более тот оказался куда менее приватным, нежели предыдущие.

Зашелестел веер.

Донесся раздраженный шепоток... а Лизавета, уже не чинясь — все одно равной ее не признают, — задрала голову, разглядывая узорчатый потолок аванзалы. Выбеленный, он был расписан звездами и младенчиками, протягивавшими друг другу миртовые ветви.

Встречались и голубки.

— И вот представьте, эта особа, совершенно не представляющая, что есть настоящее искусство, получает... — голос у дамы с лорнетом оказался высоким, пронизывающим. — Тогда как моя девочка вынуждена была...

Понятно.

Матушка.

Или бабушка? С магами сложно понять, они, достигнув определенного возраста, словно бы застывают во времени. Лизавета чуть повернулась, скосила взгляд. Платье на даме дорогое, из темной переливчатой тафты. Прическа сложная. И поблескивают в ней капельки драгоценных камней. На шее ожерелье. На пальчиках — перстни...

И магией от нее сквозит.

А вокруг Лизаветы престранная пустота, будто стесняются к ней подходить. Или опасаются? Вокруг дамы собрались другие... о чем говорят, и гадать нечего. Жаль, расслышать не выйдет, но... Лизавета коснулась янтарной капельки и поискала в зале хоть кого-то знакомого.

До начала банкета оставалась самая малость...

А знакомые есть. Вон Григорий Освирцев аппарату свою устанавливает, ходит у стеночки, сопровождаемый сразу двумя гвардейцами. То ли уважение великое, то ли, наоборот, недоверие. Впрочем, правильно, у Гришки характер преподаннейший, пусть он и числится главным обозревателем в «Коронных вестях». До того, к слову, приличным человеком был, а после...

«...Ты, Лизка, конечно, бойкая, но пойми, бабе в нашем деле не место. Найди себе мужика... а можешь и меня, только не замуж, я жениться пока не собираюсь. Просто время проведем с приятностью. Я и за нумер заплатить готовый».

Идиот.

И главное ж, обиделся, когда Лизавета его послала лесом. Мол, уважение ей, бестолковой, оказывал. Все ж знают, что маги на это дело падкие.

Дважды идиот.

А там в «Коронные вести» позвали, так он и вовсе с бывшими знакомыми здороваться перестал, Федюничка, который на скачках сплетни собирал, сказывал, встретил давеча, так Гришка проплыл мимо барин барином, кивнуть даже не соизволивши...

А тут у стеночки.

Позвали, стало быть, запечатлеть. И думать нечего, к вечеру уже разразится Гришка высокопарною статейкой, восхваляющей и его императорское величество, и императрицу, и всех вообще. Как это у него получалось? Талант.

Лизавета ощутила знакомый зуд.

А она... она тоже напишет. И снимочки... главное, ракурс подходящий взять. Вот, скажем, пройти к окошку... снимать всяко лучше по свету. И бочком... и вот две дамы потянулись друг к другу. Главное, улыбаются, а выражение лиц такое, прехарактерное... Или пухлый полковник тайком прихлебывает из фляжечки, а супружница его, тоже пухлая и из-за платья в обильных оборках кажущаяся вовсе необъятною, неладное почуяв, бьет бедолагу веером по голове.

И Гришеньку снять, сторбленного, выгнувшегося престранной дугой, пускай наши порадуются.

А вот конкурсантки сбились разноцветной птичьей стайкой. Лизавету увидели. Глаза злые. Губы кривятся... отлично должно выйти. А подписать... скажем: «Радость за ближнего»...

Или как-нибудь еще.

Она двигалась вдоль стеночки, то и дело останавливаясь, чтобы сделать кадр. После отберет верные, благо память у кристалла приличная, на сотни две снимков хватит. И вазу снять, а главное, лихого поручика, который в нее сморкнулся, а нос, воровато оглянувшись, штормкою утер.

Нет, заголовок надо будет хорошенько обдумать.

Скажем: «Простые нравы сложных людей»...

— Лизка, ты ли это?! — Гришка таки заметил ее. А может, и не заметил, может, нарочно выглядывал. Список-то конкурсанток еще когда отпечатали, правда, в нем Лизавета баронессой значится, но... — А я думаю, ты ль это или не ты ль.

— Не тыль, — сказала Лизавета, поморщившись. Все ж встречаться со старым знакомым желания не было, да и опасеньце кольнуло: вдруг да прознает, за какой такой она тут надобностью.

— Шутишь, — хохотнул Гришка.

— Шучу. — Лизавета согласилась: ей батюшка еще когда говорил, что спорить с дураками — занятие напрочь бесперспективное.

— А ты, погляжу, неплохо устроилась... мужа поискать решила?

— Решила.

Гришка одет был с претензией, в темно-зеленый шерстяной костюм с искрой. И крой неплох, вот только жарко ныне было во дворце, Гришка потел, отчего раздражался и потел еще больше.

— И как оно?

— Неплохо...

— Ты это, после мне интервью дашь. — Гришка не спрашивал, а ставил Лизавету в известность. — Платице на тебе, конечно, дрянное... поглядела бы, что приличные люди носят, право слово. А ты, получается, при титуле?

— Баронесса.

— Ага... — Он задумался, сунув меж зубами спичку. — А чего молчала?

— А зачем говорить?

— Ну так... ты это, Лизка, тут не особо усердствуй. Я жениться решил.

— Поздравляю. На ком?

Ее императорское величество задерживалась, и придворных это заставляло нервничать. Взгляды то и дело останавливались на узорчатых дверях, за которыми скрывалась Малахитовая гостиная.

— Пока не знаю. Это я так... на перспективу... у тебя только титул? Или и имение имеется?

Захотелось Гришку пнуть.

Ишь ты, женишок, забыл небось, откуда сам родом, как прибыл в столицу из Верхних Конюхов, только и умея, что писать поганые стишки. Теперь же...

Злость пришла.

И ушла, стоило коснуться янтарного кулона. А тут же, будто того и ждал, раздался гулкий удар колокола, возвещая о приближении императрицы.

— Все, я работаю. — Гришка подхватил малый артефакт... а хороший, не чета Лизаветиному. И памяти в нем более чем на тысячу снимков, и четкость иная, говорят, будто даже в полной темноте снимки выходят вполне приличного свойства.

Гришка ужом нырнул в толпу и как-то сразу ухитрился оказаться перед самыми дверями. Он бы и ближе подошел, когда б не гвардеец, положивший руку ему на плечо. Это сразу и уняло служебный Гришкин пыл.

Лизавета коснулась артефакта.

Правда...

Что бы она ни писала про двор, это простят, а вот императорскую чету трогать не стоит. Да и не хочется. Она сделала пару снимков, запечатлевая фрейлин, окружавших ее императорское величество. Не удержалась, сделала портрет Анны Павловны, которой нынешний ее наряд был весьма к лицу, да и лицо это... не сказать, что черты правильные, а поди ж ты...

Или вот императрица.

Невысока.

Хрупка.

И... золото волос.

Камни диадемы.

Платье... на удивление простое. Ни тебе шитья, ни драгоценностей, но почему-то смотрится...

Глаз не отвести.

Играли трубы. И герольды зачитывали обращение, Лизавета же смотрела на императрицу и, чего скрывать, на Лешека, который держался за матушкой и казался огромным...

— Говорят, он без нее и шагу ступить не способен, — раздалось рядом. — Совсем заморочила, нелюдь проклятая...

Лизавета чуть повернулась и сделала еще один снимок.

Зачем?

Она не знала, просто... женщина с сухим лицом, на котором застыло выражение величайшего недовольства жизнью... редкий портрет.

— Тише ты...

— Это все знают... и беспокоятся... император болен, наследник — идиот, императрица — нелюдь. Что нас ждет?

Ничего хорошего, если так.

— А они конкурсы устраивают... почему? Понятно же... ищут кого-нибудь своему...

Она добавила слово, которое вообще к людям применять не стоит, не говоря уже о том, чтобы к отпрыскам правящей династии. И бледная губа оттопырилась, а в подведенных глазах блеснула такая лютая ненависть, что Лизавете стало крепко не по себе.

Но она по прежнему делала вид, будто всецело увлечена шествием.

Вот императрица добралась до середины залы. Повернулась к подданным. Вот расступились фрейлины, двигаясь столь слаженно, что любой караул позавидует. Императрица подняла руку, и в зале наступила тишина.

— С преогромной печалью вынуждена сообщить вам... — ее голос был негромок, но, диво дивное, слышно было каждое слово.

А женщина зашипела.

— Выставит неугодных, — бросила она, поднимая руку. И сверкнул тоненький браслет в виде змейки, до того умело выполненный, что казалась эта змейка живой. Тронь — и развернется, зашипит, а то и ужалит чужую наглую руку.

— Мы пристально наблюдали за конкурсом и в полной мере оценили усилия, которые...

— Недолго ей осталось.

— Прекрати!

На них все же обернулись, хотя и не Лизавета, благо выдержки и опыта хватило оставаться неподвижной и выражение лица держать соответствующее — восторженно-удивленное.

— А потому сочли возможным...

— Нелюдь, — едва слышно прошептала женщина. — Проклятая нелюдь... проклятая...

Список отстраненных и вправду был длинным, хотя... конечно, Лизавете думалось, что будет все иначе.

— ...И мы сочли возможным поставить... во главе...

Она слушала речь императрицы, в то же время стараясь расслышать еще что-то, ведь люди переговаривались, пусть тихо, шепотком, но... кто-то удивлен.

Или возмущен.

Кто-то проиграл... стало быть, ставки принимают, тут Лизавета не ошиблась. Кто-то... молчал, но выразительно так. И стало вдруг неуютно, показалось, что попала она в самый центр круговорота, который того и гляди подхватит, закружит, затянет в темные глубины человеческой ненависти.

Но почему?

— Вот посмотришь, — сказал кто-то над самым Лизаветиным ухом. — Скоро наступит наше время...

— Наше — это чье? — не удержалась она от вопроса.

И, как ни странно, ей ответили:

— Человеческое.

ГЛАВА 25

Приняли Димитрия не сразу.

Помурыжили.

Подержали в людской, мол, госпожа отдыхать изволят. Нервы-с, года-с, с годами небось человек не молодеет, а уж коли судьба такая, переживательная, то и вовсе... Но оно и к лучшему. В людской многое узнать можно, если уметь слушать.

А Димитрий умел.

Похвалил крутобокую распаренную кухарку.

Подмигнул круглолицей помощнице ее.

Бросил конюху, что подвизался в месте, вовсе для низкой прислуги не подходящем, монетку на знакомство... И вот уже глазом моргнуть не успел, как очутился за столом. Нет, не за тем, за которым прислуга белая ужинать изволют, за другим, кухонным, выскобленным добела. От него пахло маслом и травами, пучки коих висели тут же, заслоняя собой череду медных сковородок.

Пылала жаром печь.

Поблескивали кастрюли. Ряды кухонной утвари отчего-то навевали Димитрию ассоциации с пыточной, но их он, проявляя похвальное благоразумие, держал при себе. Кухарка, женщина беззлобная, овдовевшая в позапрошлом годе — утоп, заразина, — к тощим мужчинам относилась снисходительно и даже с жалостью. Тут же на столе появились перепелки в меду, кусок телячьего языка, щедро сдобренный диким чесноком и орехами, а заодно расстегаи, булочки, изрядный шмат соленого мяса, усыпанный зеленью столь густо, что поневоле возникали некоторые опасения относительно пригодности оно́го мяса к употреблению, впрочем, зряшние.

Травяной взвар был горячим.

Разговор неспешным.

Боярыня? Что боярыня? Капризная, конечно, но так-то они все... с невесткою не ладят, вот честное слово, и изводила она ее, сердешную. Коль одна скажет — бело, то у другой оно чернее черного. И главное, молодая-то мужу не жалится, терпит, хотя, бывало, до слез... после-то он сам, пусть и мужик, а толковый, сообразил, что мира в доме хоть и худого, а не будет, отселил матушку.

Злилась?

А то... небось сынок-то дюже не нянькался, заявил, мол, матушка, коль вы не желаете понимать, что уж не хозяйка туточки, то езжайте туда, где хозяйничать станете. Только... покричать покричала, посуду еще побила, правда, сервизец выбрала, который поплоче... после поплакалась — ей красивойшей купили.

Внучка?

В бабку вся... и балованная. Молодая-то боярыня пусть и худого рода, но с воспитанием. И дочке не дюже потакала. Приставила к ней эту... точно, гувернерку, чтоб языкам учила и обхождению. А та норманнских кровей, лицом — чистая кобылица. Да что там, и кобылицы иные покрасивше. В сером платье. Ботиночки черные. Ручки на груди сложит и ходит, зыркает и никогда ни с кем разговору не ведет.

С нею-то сперва по-человечески.

По имени и отчеству, с обхождением, а она... губки подожмет, скажет по-своему, а чего — поди-ка пойми, хвалит она или наоборот. Сперва-то полагали, что, бедолажная, вовсе обыкновенного языка не ведает, а оказалось еще как по-нашенски говорить способная... ее тут Трофимка, который во саду подвизается, видел, как она с горшечником одним торговалась.

Стало быть, не захотела просто.

Ее воля...

Так чего?

Барыньку она строго блюла. А та побаивалась. У бабки только волю получала, оттого и бежала к ней с родного дома что на лето, что осенью. В городе-то болезней тьма. А бабка и радая, привечала. Конечно, кровь-то не водица... с невесткою даже замирилась за-ради такого. Вот как из паломничества вернулась...

Какого?

Да... как на дом свой съехала, почитай, так и решила. Может, батюшка наставил, может, сама поняла, что с роднею лаяться — дело распоследнее. Вот и поехала, стало быть, отмаливать грехи... сама? А то, только Агнешку взяла, это ейная камердинерка. Ага, точно... она туточки и не заглядывает, при барыне все, да и сама уже чисто барыня.

Надолго?

Так вот почитай с полгода по монастырям и ездила малым поездом, кроме Агнешки еще баб двух взяла, богомолиц... где? Да кто ж их знает. Только Агнешка жалилась после, что ничегошеньки не умели. И в каждом монастыре менялись...

Вернулась?

Так... похудела.

Еще иконок привезла всяко-разных и свечек церковных, тонюсеньких, с благословением. И их всем раздала. У кухарки тоже есть, хранится для особого случая, когда надо будет, чтоб молитва крепче стала. Вот... Чего еще привезла?

А!

Так батюшку своего... какого? Обыкновенного. Какие батюшки бывают? Собою... так срам какой батюшку разглядывать, хотя слабенький. И лицом скорбный, скособоченный весь. Жалко его, сердешного. Нет, жены у него нету, вдовый, верно. Но хороший, тут при храме службы ведет... барыня-то поспокойней стала, истинная правда.

Молится все.

По храмам-то ей тяжко, а вот при доме... и покои у батюшки свои... кто прибирается? Так Агнешка... и девку при себе взяла, только та немая, а заодно и дурковатая. Ее спросишь чего, так она только глазами хлопает и мычит, чисто корова...

Вот-вот, внучка после того и вовсе жить переехала. Барыня же скоренько от гувернерки избавилась. Сама учить стала. Чему? Инструменту вот мучить, как начнут играть, так спасу никакого немашечки, собаки и те воют. Еще с иглой сидеть и книги читать заставила. Какие? Так кто ж их знает. Толстые... вот, но девка ничего, терпела... крепко она бабку любила.

Молилась?

А то... еще как...

Во дворец?

Так все ж об том и говорили... тогда старая боярыня крепко на нее разозлилась. Молодой во дворец хотелось крепко. А барыня не пушала. Тогда-то девка и сбегла к маменьке, а от нее на конкурсу, стало быть...

Тут-то о Дмитрии и вспомнили.

На кухне появился лакей, и беседа стихла.

Отчего-то у Дмитрия сложилось впечатление о Кульжицкой, в девичестве Бужевой, как о женщине весьма преклонных лет, старой и даже дряхлой. Однако той, что принимала

его в кабинете, обтянутом зеленым с амарантом штофом, было далеко до старости.

Магичка.

И не из слабых.

Нет, годы прошедшие чувствовались. Они делали женщину... более хрупкой?

Изящной?

Димитрий отметил простую прическу и платье несколько грубоватого кроя, но тем самым лишь подчеркивающее естественное изящество. Ее белые руки, лишенные колец и перстней. Простые, без камней, серьги и драгоценную яшмовую камею — единственную уступку статусу.

— Будьте столь любезны. — Она подала знак, и женщина в сером, тяжелой ткани платье возникла перед Димитрием. Возникла словно бы из ниоткуда, и темные глаза ее недобро блеснули, а губы растянулись в неискренней улыбке. — Передайте ее императорскому величеству, что мы принимаем ее соболезнования.

Голос дрогнул.

А женщина в сером, надо полагать, та самая Агнешка, про тянула запечатанный конверт.

— Соболезную... — Димитрий конверт принял. А боярыня махнула рукой и вяло поинтересовалась:

— Что вам еще нужно?

— Узнать.

Агнешка отступила и... надо же, какое редкостное умение, если бы не наблюдал, не заметил бы, как расплылась женская фигура, сродняясь с тенью. Ишь ты... а поговаривали, будто это знание утрачено. А еще, что оно и к лучшему, ибо слишком уж...

Сложно.

Такого человека не остановят преграды, даже защита дворца окажется бессильной. А если... с виду Агнешка не выглядела хрупкой, сил задушить кого у нее хватит.

Но зачем?

Димитрий вздохнул и вытащил золоченую бляху особого ведомства.

— Падальщики, — с какой-то печалью произнесла Кульжицкая. — Конечно... значит, она не сама... бедная моя нетерпеливая девочка...

Нетерпеливая?

Интересная характеристика.

Кульжицкая же опустилась в кресло и махнула рукой:

— Агнешка... можешь идти. Действительно можешь идти... простите, она верна мне... с младенчества... знаете, у старых родов свои обычаи.

— Кровной привязки? — Димитрий сказал наугад, но оказался прав.

— Тогда это было еще вполне себе законно... при наличии договора.

— И он у вас имеется?

— Само собой. Если вам так уж интересно, ее продали родители... низкое сословие, недаром называют его подлым. Матушка служила у нас в доме... не помню, право слово, кем, но она подошла к моим родителям... знала обычаи. И получила сто сорок пять рублей.

Вполне приличная сумма, если подумать, правда, младенцу с нее вряд ли что перепало. Разве лишь сомнительная честь стать тенью благородной дамы. Она в отличие от тех же крепостных была обречена служить до самой смерти...

— Не думайте, я не обижаю Агнешку. Считается, будто обряд односторонний, но когда рядом оказывается кто-то, кому можно доверять с... гарантией, это сближает. Пожалуй, она мне роднее многих...

— И вашего брата?

— У меня не осталось братьев.

Она коснулась резной камеи.

— И рода не осталось... вам, наверное, сложно представить, каково это... всю жизнь гордиться принадлежностью к чему-то, а после...

— Вы привезли его из своей поездки. Полагаю, вы и ее затеяли лишь затем, чтобы подобрать вашего родственника, не вызывая подозрений. Вы не слишком верили сыну...

— Он чересчур похож на своего отца. Практичен, но напрочь лишен понимания дворянской сути. Кровь...

— Где он?

— Кто?

— Я не собираюсь его задерживать...

Во всяком случае, пока... и следовало бы взять дюжину гвардейцев в поддержку, но нет, не посчитал нужным... а теперь?

Агнешка предупредит?

Несомненно.

Но кто мог предположить... экая наглость...

— Вам и не за что... — Она потянулась и коснулась ленты. — Отец Святозар неподвластен суду мирскому. И... да, полагаю, у вас найдется что ему предъявить, но поверьте, он свое отмучился...

— А вы?

— Все... не так просто...

В комнату заглянули.

— Передайте отцу Святозару, пусть заглянет. А вы ждите... не надо опасаться, ему некуда бежать. Он был уже беглецом и многое понял. Все мы многое поняли, жаль, поздно.

Она замолчала и повернулась к окну. Выходившее на реку, то казалось каким-то чересчур уж темным. И профиль Кульжицкой выделялся четко. Она сама казалась грифельным наброском, который лишь тронули акварелью, но так и не решились раскрасить.

— Вы не хотели, чтобы ваша внучка участвовала в конкурсе?

— В этом балагане? — Кульжицкая слегка поморщилась и приподняла ладонь. С запястья соскользнули янтарные четки. — Естественно, я не хотела... Гдынечка... она была особенной... она так походила на меня в молодости... конечно, внешность имела несколько простоватую, все же и ее мать, и мой супруг были мещанами, это не могло не сказаться, но душа... я видела в ней себя саму. И хотела уберечь от ошибок.

— Каких?

— Вам подробно перечислить? Пожалуй, главной была эта моя убежденность, что я спасу семью, пожертвовав собственным будущим. Я вышла замуж за человека, которого мне подыскал батюшка. Я пыталась смириться с новым положением, с тем, что двор был отныне закрыт, что я вовсе отлучена от света, где никогда бы не простили... — ее голос дрогнул. — Моя внучка должна была блистать... я планировала вывести ее в свет...

И выйти самой, пусть в иной роли, но все же оказаться во дворце. И что ж их всех туда тянет? Вот сам Димитрий с превеликим удовольствием уехал бы куда... да хоть на край мира гонять медведей, лишь бы подальше.

— Я нашла ей подходящего жениха, кого-то, кто помнит, на что способна старая кровь...

— Но она...

— Она хотела получить все и сразу.

— Ваш брат...

— Полагаю, молится. Он очень боится умереть без покаяния...

— Смерть ему пока не грозит.

Янтарные бусины скользили меж пальцами, хрупкие, напоенные светом, они казались единственной яркой деталью в темном образе.

— Что же произошло?

— Говорю же, девочка оказалась слишком нетерпелива... и несколько преувеличивала свое значение. Видите ли, у каждого древнего рода есть свои тайны. И Гдынечка полагала себя моей преемницей, тогда как я видела в ней лишь хранительницу. Да, герб Бужевых сожжен, но знание... оно не должно было быть утрачено. У Гдынечки не хватило бы сил воспользоваться тем, чему я ее учила. Но вот у ее дочери, рожденной в правильном браке... а там... сила дает право претендовать на возрождение рода. Я понимаю, что это непросто, но...

Вполне возможно.

Лет через двадцать. Или тридцать, когда память о Смуте попритихнет, а вина перестанет быть очевидной. Влияние.

Служба.

И небольшая просьба: сперва восстановить право на герб для младшего сына, а уж там, постепенно... Что ж, следовало признать, что Кульжицкая была выгодной невестой.

— Она...

— Моя внучка... как бы это выразиться... боюсь, в том есть и моя вина, но она была донельзя избалована, ко всему полагала себя умной, оставаясь при том честолюбивой. Правда, все честолюбие сводилось к удачному браку. И единственный, кого она полагала достойным своей руки...

— Цесаревич?

— Именно. Я, говоря по правде, не знаю, откуда взялась эта безумная идея. — Кульжицкая перебирала четки, и бусины беззвучно скользили по нити. — Не от меня... я внушала мысли о смирении... о долге... о том, что стоит обратить внимание на Вышняковских...

— Почему на них?

Кульжицкая пожала плечами, будто утомительно ей было объяснять кому-то вещи столь очевидные.

— Род старый, не растерявший крови и наследия, но несколько оскудевший. Вышняковские всегда были... плодовиты. А еще имели похвальную привычку выделять младшим родовую долю. С одной стороны, несомненно, их нынешнее влияние велико, в

основном благодаря поддержке тех самых младших ветвей, которые исключительно формально считаются свободными родами...

А с этой точки зрения Димитрий политику не рассматривал. Впрочем, его извиняло, что политику он вовсе старался не затрагивать, здраво полагая, что недостаточно хорошо в ней разбирается. Имелись на то советники...

Вышняковские.

Были ли от них кандидаты?

Надо будет взять лист и посмотреть... подумать...

— С другой стороны, главная ветвь ослабела. Да и бунт изрядно подкосил их, не столько физически — наследников у них в достатке, сколько материально — их земли разорены.

Точно, владения Вышняковских располагались аккурат на южных землях, где бунтовщики погуляли от души.

— Виноградники сожжены, винодельни разрушены, не говоря уже о малых фабриках. И сколь я знаю, им пришлось изрядно сократить расходы. Старший подумывал о займе, но понимал, сколь это... опасное мероприятие. Я предложила ему иной вариант.

— Даже предложили?

Бег янтарных бусин ускорился, и стали они будто бы ярче. Димитрий моргнул, избавляясь от наваждения. Никак заговорить пытаются? Но служебный амулет остался прохладен, и если так...

Хотя что они знают о той, старой магии, которой ныне почти не осталось?

— Более того, мы заключили предварительное соглашение...

— А ваш сын...

— Не думаю, что он возражал бы. Его делам подобные связи пойдут на пользу...

— Ваша внучка...

— Я пыталась поговорить с ней, однако... скажем так, в ее голове прочно угнездилась мысль, что она сама способна устроить свое... будущее...

— И ваша договоренность...

— С Вышняковскими? Осталась в силе, естественно. Поверьте, я нашла бы способ воздействовать на внучку. А если не я, то мой сын и его супруга. Они сполна оценили бы партию...

Димитрий вынужден был согласиться. Пожалуй, союз этот и вправду был выгоден обеим сторонам.

— Более того, даже участие Гдынечки в этом нелепом конкурсе никоим образом не повлияло на Вышняковских... скажем так, если бы девочке удалось добраться до финала, это прибавило бы ей весу. Поэтому, сами понимаете, мне Гдыня нужна была живой.

— Вы...

— Вы бы не пришли сюда из-за несчастного случая... мой сын вам поверит, но не потому, что глуп. Скорее уж ему выгодней поверить и избавить себя от неудобных вопросов. Я же... лишь надеюсь, что смерть моей девочки не останется безнаказанной.

— Не останется, — пообещал Димитрий. — А вы...

— Я... что ж, мой сын еще в силе, как и его жена... думаю, мне будет несложно уговорить их еще на одного ребенка... девочку...

— Вы уверены...

— В старых родах свои тайны. Придется, конечно, потерпеть эту глупышку... впрочем, я пристрастна, она не глупа. Недостаточно образованна, напрочь лишена такта... — Кульжицкая замолчала, определенно раздумывая над чем-то важным. — Но... полагаю, и она сумеет оценить перспективу... Святозар прав... и был прав изначально... это все моя гордыня. Что ж, не ошибается тот, кто ничего не делает, а у меня есть еще шанс... и есть время.

Она поднялась, давая понять, что аудиенция окончена.

— А ваш брат...

— Полагаю, ждет нас. Будьте к нему снисходительны.

ГЛАВА 26

Некогда Святозар Бужев был, несомненно, видным мужчиной. Не то чтобы Димитрий помнил его, все ж он появился на свет уже после войны, а о мире, существовавшем до нее, знал исключительно с чужих слов. Однако ему легко было представить этого седого старика менее седым и облаченным в куда более подходящие его статусу одежды, нежели простая суконная сутана.

Правильные черты лица.

Скульптурный нос. Высокий лоб.

И искореженная щека. Кожа на ней растянута, ноздревата, рассечена мелкими шрамиками. И уголок рта оттого кажется поднятым, будто святой отец улыбается, и не просто так, но с издевочкой. Левый глаз смотрит спокойно, а правый затянуло бельмом.

— Предваряя ваш вопрос, — он коснулся двупалой рукой этого глаза, из которого сочился гной, — целители сумели сохранить глазное яблоко, но не вернуть зрение.

— Где вас так?

— Падынская пустошь.

О той битве Димитрий тоже слышал. Всякого.

Одни кричали о беззаветной храбрости полков, преданных его императорскому величеству, который только-только объявился этаким знаменем, объединившим разрозненные группы дворян. Другие шептались, что храбрость эта была наведенною, ибо не пойдет нормальный человек по искореженной магами земле. Третьи говорили про эту самую землю, которая то раскрывалась огненными рвами, проглатывая конные сотни, то вскипала, вздымалась гребнями. Про ледяной град, когда иглы пронизывали насквозь людей, несмотря на тулупы и амулеты. Про кровь и месиво. Про наступление, которое захлебывалось раз за разом: бунтовщикам отступать было некуда. И, осознавая свою судьбу, они сражались с какой-то дикой, первобытной яростью.

На Падынской пустоши и ныне трава не растет.

И поговаривают, что время от времени земля сама собой приходит в движение, выплевывая чьи-то кости, а порой и целые, сохранившиеся тела. Рассказывали о туманах, в которых доносятся голоса, о плакальщицах и выжрыгах, раскапывавших могилы, чтобы отыскать подходящее тело. О том, что время от времени в ближних селах появляется некто, называющий себя беглецом. Таких сразу жгли.

— Я командовал конницей... остатками конницы...

— Почему?

— Почему командовал? Больше никому. Я остался единственным, кто более-менее представлял, что нужно делать.

— Почему вы вообще присоединились к бунтовщикам?

Святозар двигался неловко, прижимая иссохшую правую руку к боку. И ступал этак бочком, останавливаясь после каждого шага. Впрочем, помогать ему Димитрий не собирался.

Долг требовал доложить.

Измена государю сроку давности не имеет, но...

Бужев ведь знает. И про долг, и про суд, и про петлю. Ему бы поплакаться, рассказать о том, как тяжело пришлось, что заставили его, вынудили. Это ведь просто. Поди-ка отыщи свидетелей обратного. А с раскаянием, глядишь, и минет петля. Ссылка же...

— Сложно сказать. — Святозар присел, но как-то неловко, бочком, задрал сутану и выставил кривую ногу, обмотанную тряпьем. — Не могу в обуви. Лучше б ее отрезали,

право слово. Тогда нам казалось, что это наш шанс... отец... понимаете, сейчас, оглядываясь назад, я прекрасно осознаю, насколько мы были... тщеславны и не особо умны. А планы... смех... он говорил, что ни один бунт не продлится долго. Что народу нужен государь, правитель, кто-то конкретный, чей лик можно узреть в присутственном месте, кому можно написать челобитную, искренне веря, будто государь самолично ее прочтет и совершит справедливость.

— Он собирался занять трон?

— Он полагал, что у него будут неплохие шансы. Кто стоял во главе? Вчерашние крестьяне, не способные сложить два и два? Идеалисты-интеллигенты, слабо представлявшие, что есть власть? Они хороши были, выступая перед толпами, но в остальном... анархисты или народники... меньшевики... кто там еще? Созданное ими правительство только и способно было, что делить хлебные склады. Прости меня, Господи. — Он осенил себя крестным знамением. — Но даже оборону Арсинора организовывали мы, те, кто прежде стоял у власти. Думаете, отец был один? Просто у него хватило дурости открыто заявить о поддержке мятежа, войти в это треклятое правительство в надежде, что рано или поздно, но он просто подомнет его. А там уже...

Как ни странно, но у них могло бы получиться.

Род древний.

И как знать, возможно, в отсутствие иной альтернативы и проклятая шапка Мономаха отозвалась бы. А нет... что ж, найдутся и иные способы удержать власть.

— Сперва все шло, как должно.

Как должно?

Голод на Приморье. И захват оружейных заводов Тали. Ербург, куда отвезли семью отрешенного государя. И вой во всех газетах о суде и трибунале...

Свобода, местами выплеснувшаяся в анархию.

— Я тогда мало понимал, что происходит. Мы были в городе, а там удалось сохранить порядок. Во многом благодаря полкам Красницкого...

Который застрелился, когда к столице подошли войска его величества, и во многом благодаря этой смерти, изрядно ударившей по бунтовщикам, город удалось взять малой кровью.

— Он сам происходил из простых людей, и, сколь понимаете, несмотря на все таланты, в армии его недолюбливали. Офицеры, — счел нужным уточнить Святозар. — Солдаты же, напротив, его боготворили. Пожалуй, пожелай он занять трон, он бы его занял. Но он искренне полагал, что служит народу, что действует во благо ему. Знаете, умнейший человек, но в то же время до невозможности наивный. Что ж... неважно, главное, я, и не только я, видел, что изменилось не много. Продуктовые карточки? Это справедливо, зато голода нет, а в остальном... присутственные места открыты. Почта работает. Телеграф тоже. Газеты выходят. Правда, читать их почти невозможно, ибо во всех пишут одно и то же, но они ведь выходят. Кого-то там арестовывают, но это же, право слово, такие мелочи... о расстрелах не писали. Не желали пугать людей.

Надо полагать, не только о них.

Димитрий начинал с архивов, куда сперва свозилось все: что пухлые папочки, в которых скрывались листы гербовой бумаги, щедро усыпанные печатями, что огрызки бумаг, писанные зачастую на коленке и с ошибками. На иных, выцветших, и вовсе сложно было разобрать.

Чрезвычайный комитет в лице...

Постановил...

Расстрелять... повесить... во имя революции...

Этих корявых самописных бумажек было куда больше. А Дмитрий крепко подозревал, что до архива добралась едва ли пятая часть. Их осажденные, осознав, что революция захлебнулась кровью и яростью, сжигали, как сжигали и списки своих, а заодно убивали и люди, которые знали слишком много.

— Уже после, когда объявился Александр, взбунтовался восток. Восстали северные порты, заслышав про появление нового царя-батюшки. Отец нас отослал. Он еще верил, что все наладится. Кто там объявился? Царь ли, самозванец... неважно, главное было — успеть вовремя. И будь один, успел бы... да, мы бы лишились и хлебных восточных провинций, и северных мануфактур. Возможно, остались бы без выхода к морю, но сохранили бы новый порядок. Он сумел бы... хотелось бы думать.

Нога Святозара подергивалась, а из слепого глаза сочился гной.

— Только... правительство решило иначе. Они были слишком жадны, не желали терять земли, которые полагали своими. И идеалистичны. Верили, что их идеи захватят мир, что вот-вот революция вспыхнет у саксов или норманнов, что все угнетенные поднимутся в едином порыве... отцу дали войска, но не слишком много. Веры не хватало, чтобы остаться без защиты.

— И вы...

— Вышли за пределы города... впервые за те три года, что шла Гражданская война. Мы... сперва шли по землям, которые условно можно было считать нашими. Усмиренные. Проникнувшиеся идеями революции или, вернее, опасаящиеся что-то высказывать против оной. Там хорошо поработали идеологи...

— Которые с револьверами?

— И эти тоже... знаете, я впервые увидел повешенного именно там, на окраине маленькой деревеньки, не помню, как она называлась. Не поймите превратно, мне случалось видеть смерть. И воевать приходилось, я все же боевой маг... был.

А теперь жалкое подобие самого себя?

— Но это другое... а там... ветка березы и покойник, над которым потрудились вороны. И жена покойника, что бродила за оградой деревни, а ее не пускали. Родственники и те отреклись, потому что боялись. Кинешь кусок хлеба из жалости, и мигом донесут, что сочувствуешь врагам революции... не скажу, что меня это как-то слишком впечатлило. Брат вот... он ее зарубил.

— Из жалости?

— Возможно. Я... не берусь сказать. Он всегда был несколько более отрешен от мира, чем я. Потом были и другие... покойники или изгнанные, живущие в лесных норах, питающиеся корой. Были расстрелянные. И я сам командовал отрядами зачистки. Были партизаны. Были... кровь была. В какой-то момент я понял, что потерялся... мы убивали. Убивали нас. Я перестал различать, кто передо мной. Мужчина с оружием, или женщина, или ребенок, или старик. Однажды такой старик напоил разъезд квасом на ягодах черноглазника. Четверо ушли сразу, трое еще мучились... Почему? Всю его семью сожгли живьем... заперли и сожгли... не пощадили даже младенчиков. За что? Прятали хлеб, а кто-то донес...

А жениться Лешеку надобно.

И детей всенепременно. Наследников, и чтоб не меньше четырех, чтоб и шанса не было, что этот кошмар повторится. А уж об остальном Дмитрий позаботится.

— Мы его повесили на сосне и живот вспороли, а он хохотал... говорил, что бесы идут по наши души, что сам он стал бесом, что вся страна ныне стала бесовской. Тогда мне начали сниться кошмары. Приходили... все те, кого я, казалось, не помнил. Спрашивали, получил ли я корону, которой так желал... а меж тем мы отступали. Теряли людей, силы... многие сбежали, поняв, что это конец. Отец... было бы куда, не сомневаюсь, и он бы сбежал. Только вот... за границу? Так до нее добраться еще надо. Да и там что делать? Он... полагаю, он понимал, чем все закончится. Я тоже...

Святозар замолчал, неловко провел пальцами по лицу и пожаловался:

— Не ощущаю почти... я взял на себя конницу. Нам бы поторговаться, глядишь, и удалось бы чего получить, но остались лишь те, на ком было слишком много крови, чтобы надеяться на прощение, или те, кто был фанатично предан идее. Я возглавил атаку. Я понимал, что мы все там обречены, что рано или поздно... Силы объединенных армий Гришаева и Вышняты превосходили нас на голову. Маги, артиллерия... огненные установки... а мы... я и пара недоучек...

— Я читал, что и на стороне бунтовщиков имелись маги. И немало.

Будь оно иначе, пустошь, глядишь, и не стала бы пустошью.

— Амулеты. Отсроченные ловушки. Кое-что из запрещенного... домашнее обучение имеет свои преимущества. Я был молод. Я готовился умереть. Я полагал, что стоит это сделать так, чтобы враги запомнили. Накануне мы... я принес жертвы. Более сотни человек, и я самолично вырезал их сердца.

А вот это признание было куда более серьезным, нежели даже обвинение в измене.

— Именно благодаря их силе нам удалось выдержать первую волну. И вторую. И когда сила моя заемная иссякла, я повел конницу в атаку, намереваясь умереть красиво...

Сотня человек.

Это...

Это многое объясняет. Но о жертвоприношениях в архивах не писали. Не нашли место? Или, что вернее, по мятежникам били со всей силы, уничтожая все живое на той треклятой пустоши. А после... кто там разбирался? Вот и затерялась сотня проклятых душ, привязанных к миру живых пролитой кровью.

Надо будет доложиться.

Вопросов не избежать, и скрыть воскрешение Бужева не получится. С другой стороны, Димитрий и не собирался. Понять бы еще, что делать с этой информацией? Выпустить, пополняя ряд страшилок о делах военных? Подкрасить черной краской изрядно облезший за десятилетия образ революционера? Или надежно похоронить в архивах, поручив церкви отмаливать несчастных?

— Думаете, что со мной делать?

— Не без того. Как вы выжили?

— Не знаю... Божьим промыслом, не иначе. Я помню, как летел... коня... мой драгоценный жеребец шалеманской породы издох еще на первом году пути, после чего был другой и третий. Война отучила меня интересоваться конской родословной. Я перестал требовать изящества и норова. Держал бы всадника, и хорошо. Тот конь был неплохим. Буланой масти, с ребристыми боками. Он хрипел, и, если б не пал, его пришлось бы забить через неделю-другую... я помню рукоять сабли. Простую, обмотанную шнуром, чтобы не скользила... помню Гришку Отрепьева, моего адъютанта. Он держался рядом и кричал что-то такое... во славу или просто матом... а после вдруг пелена и боль. Много боли... мне сказали, я попал под удар серой гнили...

Еще одно запрещенное заклинье.

И выходит, той, проклятой магией пользовались не только бунтовщики.

— Да... будьте осторожны, заглядывая в прошлое, — счел нужным предупредить Святозар, подтягивая левую ногу к правой. — Как знать, что вы увидите.

— Вам повезло.

— Наверное. Не знаю. Может, кровь сыграла свою роль. Может, родовой амулет помог. Может... чудо, главное, я выжил. Я не сгнил заживо. Меня не растоптали свои же. Не добили чужие. Я несколько дней пролежал на поле, пока монах-игнатинец не отыскал

меня...

— Только вас?

— Монастырь Святой Урсулы Благословенной, забытый, брошенный. Сложенный из камня. Стены его темные поросли мхом... там жили с полдюжины монахов, давших обет молчания, и два десятка тех, кому выпала удача выжить. Мы... как-то сразу поняли, что не стоит задавать вопросы. Там вдруг стало неважно, на чьей ты стороне. За мной убирали. В первые месяцы я просто лежал, глядя на стену, на камень, мох, жучки еще порой ползали. Было сыро и холодно, несмотря на медвежьи шкуры, которыми нас укрывали. Нам повезло. При монастыре был травник, причем целитель не из последних. Он многих поднял. А мне сказал, что держит меня не проклятие, но собственные грехи, что тело мое ныне соответствует душе. И зеркало принес.

Пальцы надавили на глазное яблоко, а после скользнули по рясе, стирая гной.

— Я не поверил... я... я кричал. Просил добить меня. Боль была невыносимой. И запах... я гнил заживо. Несмотря на все примочки, настои и силу, которую в меня вливали. Но мне казалось, что ее дают слишком мало. Я... начал требовать. Я умолял не тратить на остальных. Кто они, а кто я? Потом уже тот самый целитель сказал, что ему-то все едино, кого лечить, но если вдруг в монастырь нагрянет разъезд, они не посмотрят на мое состояние. Тогда-то я и понял, что меня больше нет. Того, прежнего... не скажу, что легко принял это. Больше двух лет я провел в том монастыре. Начал вставать... Храм... я сидел перед иконами, темные лики почти неразличимы, но сила, в них сокрытая, ощущалась остро. В храме становилось легче. Я пробовал... сперва это была не молитва. Ярость. Обида. Я молодой, успешный... я наследник древнего рода... не сомневался, что отец мертв... И кто? Уродец, которому не всякий подаст... после приходило раскаяние... и сны вернулись. Порой доходило до того, что я устраивался в том храме спать, прямо на лавке. В храме они меня не беспокоили. А мой наставник...

— Наставник?

— Тот самый целитель... он некогда был известным человеком в империи, но... это не моя тайна, тем паче что он уже давно умер... Но он сумел... он учил меня — не смирению, просто слышать... себя... и прочих тоже... Я помню, как вместе с ним впервые спустился в деревеньку. Я боялся, что меня узнают, и хотел этого, ведь это означало бы, что я, прежний я, еще существую. Но правда была в том, что там, в этой рыбацкой деревушке, никому не было дела до великолепного Бужева. Да, нам рассказывали что-то про царя, коронацию, но было видно, что для местных это все сродни сказкам. Их куда больше интересовало, что цены на соль поднялись, а на рыбу, напротив, упали. Что урожай в кои-то веки соберут, и быть может, он даже останется в амбарах, а зерно можно будет покупать вольно. Я читал газету, попавшую в эту деревню чудом, и удивлялся тому, что мир живет. Я — нет, а он живет.

— И вы...

— Смирился. Понял...

— Что?

Святозар покачал головой:

— Словами этого не объяснить, но... я осознал, что и вправду умер на том поле. А то, что есть, существует едино силой Божьей. Чего ради? Не знаю... Искупление? Я понимаю, что сотворенного моими руками не искупить. А потому... просто живу.

Сумбурно.

И откровенно. Хотя... ему ли кривить душой после признания в жертвоприношениях.

— Я принял сан. Стал монастырским целителем. И когда мой наставник решил, что я готов, он отправил меня прочь. Для тех мест хватало одного целителя, я же нужен был миру. Так он сказал... а после за мной явилась сестра.

— Сама?

Святозар кивнул.

— Я не собирался беспокоить ее. Как ни странно, но меня всецело устраивала моя новая жизнь. Я впервые, пожалуй, делал то, к чему и вправду лежала душа. Целительский дар во мне был всегда, но отец... Это ведь для хуторных почетно целителем быть, а наследник древнего рода обязан воевать. Монастырь, принявший меня, был велик и довольно богат. Братья занимались бортничеством, держали пимокатню и суконную мастерскую. Собирали и переписывали книги, те, которые в печать отдать невозможно. Впрочем, типография у них тоже имелась. При местном храме была лечебница, при которой трудились пятеро целителей. Я стал шестым. И сперва держался наособицу, а уже после как-то получилось... у меня появились если не друзья, то всяко приятели. А еще на душе становилось спокойно... хотя бы иногда. Они приходили, те люди, которых я лишил жизни. И продолжают приходить. Но я хотя бы не просыпался в поту... А потом приехала она и сказала, чтобы я собирался домой. Признаюсь, никакого желания у меня не было. Мы и без того изрядно успели испортить ей жизнь. — Пальцы на сухой руке дернулись, и Святозар поморщился, но жаловаться не стал. — Я говорил ей, что и сан мой не избавит меня от суда, если кто признает во мне прежнего Бужева, и что ей самой с того не будет пользы, что за укрывательство каторга положена, а у нее сын. И внуки. И жизнь хорошая, а моя мне тоже по нраву. Однако ж она не слушала...

Он замолчал, неловко поднялся, опираясь на стул, заковылял к окну, подволакивая искалеченную ногу.

— Она пригрозила, что раскроет отцу настоятелю истинное мое имя. И я пошел к нему сам. Я рассказал как есть... это не исповедь, исповедовался я не раз, только облегчения должного не получал. Верно, раскаяние мое не столь уж глубоко, как мне думается, ежели Господь в милости своей не простил грешника. Настоятель выслушал. Он сказал, что я не первый и не последний, у кого душа смятенна, а руки в крови измараны. И лишь от меня будет зависеть мой дальнейший путь и сама судьба. А еще велел мне отправляться с сестрой... Таково мое послушание.

Димитрий тоже встал.

Он принюхался. Так и есть, сладковатый аромат болотной травы исходил от святого отца. Этот запах пропитал и рясу, и тряпье, и всю фигуру...

— Балуетесь?

— Что? А... это... да... не сам я. Ко мне приходят люди. Порой я могу им помочь, но чаще лишь облегчить страдания... сам... было время, когда потреблял, ибо приносила эта трава немалое облегчение. Но наставник мой, прознавши, крепко осерчал, — улыбка у него вышла кривой донельзя. — Ох и отходил же он меня клюкой, а после что-то этакое сделал, что действовать она перестала. Что? Не спрашивайте... он тоже происходил из рода древнего и с чужой кровью работать умел. Как умерла моя племянница?

— Вам разве не доложили?

Святозар стоял, опираясь на спинку кресла, в котором не так давно сидела его сестра.

— Лишь то, что она погибла...

— Что вы о ней скажете?

— В последнее время она переменялась... в последние полгода, пожалуй. До того она часто гостила, но... понимаете, она была молода и красива, а я уродлив. Я видом своим заставлял думать о вещах неприятных.

— Она вас избегала?

Святозар наклонил голову, что можно было счесть согласием.

— Она посещала службы, исповедовалась, но... у меня складывалось ощущение, что делает она это лишь потому, что принято. И чтобы не расстраивать мою сестру. Они были по-настоящему близки.

Вот только близость эта была отнюдь не бескорыстна.

— Не судите ее строго... для нее все это по-прежнему важно...

Настолько важно, что Кульжицкая не отступится от своего желания занять новую внучку. Впрочем, это уже дело исключительно внутреннее, пускай сами разбираются.

— Что до Гдыни, то я заметил, что в ней появился гнев. — Святозар потер лицо. — Поймите, я могу ошибаться, но... она злилась именно на меня. Несколько раз обмолвилась, что я ныне жалок, а однажды в лицо выкрикнула, что мне лучше было бы умереть, нежели влачить подобное существование. Что видом своим я позорю древний род.

— Она знала?

— В том и дело, что нет. Для нее я был всего-навсего священником, которого ее бабушка пригрела в доме. Про меня ходят тут самые разные слухи, но все они далеки от правды...

То есть был кто-то еще, кто раскрыл девице глаза и вложил в прехорошенькую головку правильные мысли.

— Я полагаю, это тот же человек, который написал сестре письмо...

— Какое письмо?

— То, в котором рассказывалось, где меня найти. — Святозар поморщился, впрочем, гримаса вышла на редкость уродливой, ибо часть лица осталась неподвижна, а часть будто судорогой свело. — Я много думал, кто это мог быть, но...

— Не придумали?

— Нет... и в связи с этим я осмелюсь повторить вопрос. Как она умерла?

— Ее задушили.

Святозар прикрыл глаза. Он стоял, раздумывая над чем-то, а Дмитрий не спешил прерывать молчание, тоже раздумывая над тем, как быть с этим...

Доложить придется, но...

Процесс над священником?

Чудовищные обвинения, на которые, мыслилось, у него найдется чем ответить? Как он сказал? Обе стороны... и если подумать, если приглядеться пристальней... не стоит, и вправду, как знать, что увидишь.

— Позволено ли мне будет взглянуть на тело?

— На тела.

— Сколько? — Он не выглядел удивленным, этот человек, который легко — и как виделось, с немалой радостью — готов был принять новую свою судьбу.

— Две.

— Задушены?

— Да.

— Невинны?

— Да.

— Тогда, если возможно, я бы хотел взглянуть на обеих. И, предваряя ваш вопрос, я не уверен... я пока не уверен...

ГЛАВА 27

Госпожа Кульжицкая велела заложить экипаж. Она больше не показалась, отправив вместо себя озлобленную тень, по недомыслию притворявшуюся человеком. Агнешка морщилась, кривилась и, казалось, с трудом сдерживала кипящие страсти. А Димитрию припомнилось, что существа, подобные ей — все ж человеком в полной мере она уже не являлась, — частенько сходили с ума.

— Будьте вы прокляты! — Она все же плюнула в спину и отскочила, повернувшись, и ворох юбок поднялся, обнажив толстые распухшие ноги.

— Простите ее. — Святозар залезал в экипаж боком, морщась, но не жалуясь. — Ее гневу не найти выхода...

А может, она?

Она верна Кульжицкой, но это еще не значит, что не способна навредить, пусть не хозяйке, с которой срослась душой, но самому роду. Хотя отсутствие Агнешки наверняка заметили бы, да и во дворце особа столь яркая не осталась бы незамеченной.

Ехали молча.

Святозар перебирал четки, на сей раз простые, вырезанные из дерева и отполированные до блеска. Губы его шевелились, из прикрытого глаза сочился гной, а запах травы почти выветрился. Он выглядел одновременно и жалко, и в то же время...

Нельзя его казнить.

Мысль оформилась и прицепилась.

Нельзя, и все тут. Пусть закон, правда и прочее, но...

Улицы.

Город. Булочки и газетчики. Старуха с бочонком прошлогодних моченых яблок лущит семечки. И у ног ее рядятся голуби, курлычут. Старый пес дремлет под телегой, и, урча, отплевывая клубы дыма, ползет по улочке новомодный экипаж. А за ним бегом, вереща от переполняющего их счастья, несутся дворовые мальчишки.

И никто уже не помнит про революцию.

Бунт.

Голод. Им, этим людям, начиная со старухи и заканчивая парочкой барышень в ярких платьях, кажется, что так вот было всегда... и пусть кажется дальше.

Уже во дворце, в той его части, куда благородные люди старались не заглядывать, ибо делать там было совершенно нечего, Димитрий спросил:

— Кто-то еще из вашего рода мог выжить?

— Не знаю, — честно ответил Святозар. — Еще недавно я бы сказал, что сие невозможно, но... мне нужно взглянуть на тела.

В мертвецкую он вошел, и слугитель, попивавший кофий, подскочил, согнулся в поклоне, а перед Димитрием он держался с обычной прохладцей. Надо же, что ряса с людьми делает.

— Вы позволите? Силы у меня остались, но я чувствую здесь другую магию... нечеловеческого свойства.

— Свяга.

— Отпускала души?

— Именно...

Интересно, а с теми, что заблудились на проклятых пустошах, девушка справится? Или... она одна, а их много, потерянных, обездоленных и наверняка злых на весь мир живой.

— Помешает? — поинтересовался Димитрий, пытаясь отделаться от такого неприятного ощущения, что здесь и сейчас он лишний.

Святозар покачал головой и, откинув простыночку, склонился над телом. Он положил здоровую руку на грудь, а больную на голову. Прикрыл глаза.

Вдохнул.

И выдохнул в самые мертвые губы, наполняя их теплом и светом. И губы дрогнули, шелохнулись, а покойница раскрыла глаза.

— Ш-ша... — сказала она, забившись вдруг в руках Святозара. — Ш-шу-шур-шу...

— Спи спокойно, дитя. — Он убрал руки, и все вернулось на круги своя, а Святозар потер переносицу и сказал: — Вторая где?

И эта отозвалась, задержалась, будто пытаясь подняться, вот только из горла ее донеслось сиплое рычание. Впрочем, стоило Святозару убрать руки, как и она затихла.

— Это не мой брат. И не кто-то из моей родни, — сказал он, вытирая руки полотенчиком, которое служитель подал с полупоклоном, не сводя с престранного батюшки взгляда. — Однако...

Полотенчико он протянул.

И осенил покойниц крестом.

— Хоронить их надобно на освященной земле, и скажите, чтобы на шею повесили цепочки серебряные, непременно с иконами. Пусть заступницы удержат...

Димитрий подобрался: вот только умертвий ему для полного счастья не хватало. И родне не прикажешь несчастным головы резать. А может... если сердце вынуть и чесноком набить... непорядочно, конечно, однако безопасность превыше всего.

— Сейчас не встанут, но если убийца позовет... я не уверен, что все сделал верно. Понимаете, в любом древнем роде есть свои тайны. Моя сестра полагает себя хранительницей, но на деле...

Он отошел от стола, разом меняясь, будто силы, недавно кипевшие в искореженном этом теле, вдруг иссякли.

— Лишь наследнику будет известно все. Я был посвящен лишь потому, что шла война... и то, полагаю, далеко не во все. Я сумел провести то жертвоприношение, но после понял, что ритуалу недоставало многого. Он был каким-то урезанным, что ли? Сложно объяснить... главное, наш род работает с кровью. А тот, кто убил этих несчастных... кровь ему не требовалась. Он выпил силу. И отчасти разрушил тонкое тело. Полагаю, и души успел затронуть, хотя свяга... если бы не она, то души остались бы привязанными к хозяину, который мог бы тянуть из них силу. Вы представляете, сколько сил скрывается в бессмертной душе, несущей частицу божественного?

Нет.

И честно говоря, представлять не хотелось.

Соломон Вихстахович был недоволен.

Нет, он о том не заявил прямо, но Лизавета достаточно хорошо успела изучить своего начальника, чтобы почуять это самое недовольство, прикрытое вежливыми строками.

Ее для чего сюда послали?

Скандалов искать.

А она, почитай, светскую хронику ведет. Хроника, конечно, тоже дело хорошее, простым людям всегда любопытно, как оно там, за гербовыми дверями, живет, но желательно показывать не только виды дворцовые. Скандалы, они народному сердцу милей.

И конечно, загадочное исчезновение конкурсанток — тоже скандал, но какой-то очень уж неопределенный. Может, с любовником сбежали, может, в погребе их кто закрыл, а может, и вовсе удалились от дворца бабушку престарелую проводить. Напечатать-то статейку напечатают, однако без особого на то желания. Вот с шуткою — дело иное, тут тебе страстей целое ведро, и главное, политика совершенно ни при чем, одни лишь личные интересы.

В общем, начальство желало скандалов.

Лизавета перечитала письмецо.

Сожгла.

И задумалась.

Если написать об убийствах... то «Сплетником» заинтересуются куда как сильнее, нежели прежде. А скандалы... будут ему скандалы.

И Лизавета, сунув в шкатулку новую статейку, аккуратно о дворцовых нравах и милости императрицы, которая при ближайшем рассмотрении милостью не выглядела, — авось и рискнут выпустить, хотя и пахло сие творчество крепко подцензурною политической статьей, — переделалась. Платице она нарочно выбрала, которое попроще, рассудив, что, может, с прислугой ее и не путают, но и за важного человека всяко не примут. А раз так, то и чиниться не станут.

Она выскользнула из комнаты, пожившись: все ж мысль о том, что где-то тут гуляет убийца, не давала покоя. И Лизавета потрогала нож, проверяя, на месте ли. Оно-то, конечно, деваться ему некуда, однако...

Прямо.

И выглянуть в коридор.

Никого.

Во второй... две благородные дамы о чем-то сплетничают и руками машут... подслушать бы, но... вокруг них воздух звенит от магии, а значит, вмешательство не останется незамеченным. А вот и полупустой коридор, ведущий, сколь Лизавета помнила, к комнатам конкурсанток. Правда, стоило сунуться, как...

— Что ты тут вынюхиваешь? — раздраженный голос княжны Одовецкой доносился откуда-то сбоку, где, надо полагать, имелся скрытый альков.

— Я вынюхиваю?

А это кто?

Неужели две красавицы устроят драку? Пожалуй, такой скандал Соломону Вихстаховичу по душе придется. Лизавета подобралась и прижалась к стеночке. Пусть и маг она невеликой силы, но кое-какие умения за годы работы приобрела.

Паутинка заклинания, по сути своей наипростейшего, однако требовавшего немалой концентрации, соскользнула с пальцев. И теперь, кто бы ни прошел по коридору, Лизавету он заметит, лишь столкнувшись с нею. А уж она постарается до этого не доводить.

Шаг.

И еще ближе... мерцание светляка. Так и есть, альков, укрытый меж двумя колоннами. В таких свидания устраивать — милое дело.

— Я лишь хотела с тобой поговорить, — неожиданно мирно произнесла княжна

Таровицкая. — В конце концов, эта нелепая вражда не может длиться вечно.

— Не может, — согласилась Одовецкая, однако тон у нее был... скажем так, престранный был тон.

Лизавета подступила еще ближе. И замерла, успокаивая сердце. Девицы тоже магички, только... то ли позабыли про защиту, то ли не сочли нужным устанавливать.

— Ты мне показалась достаточно благоразумной, — меж тем продолжила Таровицкая все так же спокойно, тем самым напрочь убивая Лизаветины надежды на пристойный скандал. — Я долго присматривалась...

— Следила.

— Если тебе так проще... но на деле присматривалась. Пыталась понять, насколько ты...

— Насколько я что?

— Способна думать.

Тени покачнулись. И если подойти поближе, то Лизавета сможет разглядеть не только их. Однако чутье и врожденное благоразумие подсказывали, что приближаться не стоит. И без того все слышно.

— Не обижайся, пожалуйста. Просто... меня все это изрядно утомило. Я не хочу видеть, как мучится отец... да и дед тоже... ты знаешь, он мог бы жениться, и не раз?

— Что ж не женился?

— А то ты не знаешь. У него одна любовь, только безголовая.

— Ты о ком?

— Я о том, что твоя бабка что-то себе придумала и теперь носится с этой фантазией.

— Придумала? — Одовецкая зашипела рассерженной гадюкой. — Она придумала? Это вы... вам было мало... не получилось браком, все равно нашли способ... прибрали земли...

А все-таки скандал может получиться. Надо будет набросать задание, пусть кто поищет...

— Нужны они нам.

— Если не нужны, то верните, — голос Одовецкой звенел от ярости.

— И что вы с ними делать станете? Ты вообще представляешь, сколько в них было вложено? Ты же понятия не имеешь, как землями управлять. Или думаешь, достаточно управляющих назначить? Так за ними тоже присмотр нужен, иначе изворуются... как ваши прежние.

— Зато нынешние, видать, хороши...

Кто-то вздохнул, и обе тени покачнулись.

— Чего вы от нас хотите? — вопрос задала Одовецкая и, верно, сумела взять себя в руки, если голос звучал спокойно.

— Я? Я хочу, чтобы, наконец, мой отец перестал думать о той истории и чтобы про него не распускали безумные сплетни. Тоже мне, нашли убийцу...

И убийство тут же?

Ах, плохо, что Лизавета из дворца отлучится не способна. Она бы в архив городской наведальась, выяснила бы... а тут... прислуга с большего молчаливая, попусту сплетничать не станут, ибо платят дворцовым хорошо, и боязно потерять местечко. История же... грозила быть прелюбопытной.

Соломону Вихстаховичу точно глянется.

Старые роды.

Вражда.

Тайны. Самое оно для сенсации.

— Хочешь сказать, он не причастен?

— Хочу сказать, что вы не там ищите...

— А где надо? — Тень Одовецкой покачнулась. — Где?!

— Я не могу ответить... я слово дала и... просто поверь, не нужно ворошить прошлое... всем плохо будет.

Почему-то Лизавета ей поверила.

Авдотья примеряла полосатое платье. Прямого кроя, с широким матросским воротником и блестящими пуговками. Платье было прелестным, а главное, несказанно ей шло, скрадывая некоторую угловатость фигуры.

— Нравится? — поинтересовалась она, повернувшись боком. — Мне сказали, что такое нынче в моде.

И вздохнула.

Тяжко.

Дернула за пуговку, признаваясь:

— У нас бы, выглянь девка в таком, точно б грязью закидали...

— Отчего? — Из головы Лизаветы не шел подслушанный разговор, и вновь же что-то подсказывало, что стоит прислушаться к совету Таровицкой и оставить секреты прошлого этому самому прошлому, но... что она еще узнала?

Что княгиня Вересковская, возглавлявшая Общественное объединение поборников трезвости, тайком потребляет коньяк, а потребивши, имеет обыкновение подремывать в алькове? Или что баронесса Тюхина подсовывает в корсаж новомодные каучуковые блины, чтобы формы ее выглядели попышней? Лизавета аккуратно поймала ее, поправляющую съехавшее бюстье. Баронесса пыталась вернуть оное на место и тихо, душевно материлась.

— Так... короткое. — Авдотья попыталась вытянуть юбку. — Еще немного, и колени видны будут.

— Мода...

— Тебе легко говорить, а у нас...

— У вас штаны носят, ты рассказывала.

— Так... — Авдотья юбку оставила в покое и крутанулась перед зеркалом, все ж новый наряд не оставил ее равнодушной. — Зимой в юбках не больно походишь. Знаешь, как холодно? Порой и птица на лету мерзнет, что уж про людей говорить... значит, мода... а ты чего?

— Ай, у меня тетушка тоже моду современную не признает. — Лизавета погладила клетчатый подол старого платица. — Она и это считает чересчур вольным, потому как лодыжки видны. Хотела кружевом надставить, но я не дала...

— А...

Авдотья подняла второй наряд — из текучей темно-алой ткани. Открытые плечи, на которые просился палантин, искра золотая... Красота.

— Откуда?

— Так... цесаревич прислал.

— Тебе?!

— А что? — Авдотья мигом надулась. — Раз мне, так оно и удивительно?

— Неудивительно, — задумчиво произнесла Лизавета. — Просто... не все могут понять подобный шаг... правильно. Слухи пойдут...

Было еще и платье цвета шампань, причем двойное. Подобное Лизавета в последнем выпуске «Модного дома» видела. Атласный чехол и газовые волны, бисером украшенные. И вправду прелесть неимовернейшая.

— Пускай идут... раз дуры такие. — Авдотья мигом вздохнула. — Думаешь, не понимаю? Кто он и кто я? Мы не древние... и папенька в фаворе, пока границу сторожит. На ней сидеть и будет. Что у нас? Родни, которая б поддержала, нету. Денег тоже не особо. Заводов оружейных, как у Давыдовской, тоже немашечки. Пара полков, и те царские. Куда мне в невесты? Душу потешить вниманием... да и не сам он... прислал эту, как ее... швею главную с девками. Целый день меня муржили...

В ее словах была горькая правда.

А Лизавете подумалось, что мало чести невестой царевича быть. Каково это, жить, зная, что взяли тебя не по велению сердца, а из-за тятенькиных заводов. С другой стороны, весь свет так и живет, иного не зная. Плохо это? Хорошо?

Муторно.

И потому Лизавета поспешила тему сменить:

— Ты поэтому на конкурс не явилась?

— Я хотела, — к платьям прилагались шляпки, следовало сказать, премиленькие, ведерками, украшенные перышками и каменьями, — но целитель велел пока отдыхать. Только какой же ж это отдых, на табуретке стоять? Все бока булавками искололи... Так а что было?

И Лизавета, подавив в себе зависть — нехорошее чувство, недостойное воспитанной барышни, будут и у нее наряды не хуже, — принялась рассказывать. Получилось...

Забавно, пожалуй.

И еще подвеску показать пришлось. Нагревшись за день, стала она словно бы немного больше. И ярче.

— Экая красота, — восхитилась Авдотья.

— Красота...

— А ты тоже, гляжу, не больно рада... примеришь? — Она протянула фетровую шляпку с кокетливо загнутым краем. Поблескивал атласный розовый подклад, дрожали перышки, выкрашенные в тот же розовый колер, и белые жемчужные бусины казались такими диковинными ягодками.

Шляпка была к лицу.

И само лицо стало словно бы тоньше, изящней.

— Не то чтобы не рада... но понимаешь, я к тому не имею отношения. Я могу ускорить рост растений, вывести на цветение или на плодоношение. Изменить окраску листы. Создать гибриды, хотя это долго и тяжело. Точный расчет нужен. И вообще, основы гибридизации на старших курсах проходят. Но я не смогу обратить живое в камень так,

чтобы оно живым осталось!

— Не ори, — строго велела Авдотья, шляпку снимая. — А то еще услышат... можешь, не можешь... неважно. Раз дали, значит, заслужила... нелюди, они справедливые.

И вот тут Лизавета не поняла, а переспрашивать постеснялась. Да и то как-то неловко стало... и пожалуй, снявши лиловую шляпку, она потянулась к крохотной алой, украшенной лишь огромным белым пером.

— Еще фильдеперсовые чулки надобны, — задумчиво произнесла Авдотья, ткнув в перо пальцем. — Не знаешь, где взять?

— Понятия не имею.

Лизавета искренне полагала, что чулки во дворце где-то есть, может, шелковые, может, фильдеперсовые, но определенно без чулок дворец не проживет.

— А у меня жених появился, — сказала она невпопад, перо поправляя. Оно, пусть и закрепленное надежно, норовило лечь на Лизаветину макушку, и пушистый край вуалеткою свешивался на глаза.

— Да? — Авдотья оживилась. — Хороший?

— А кто ж его знает... бестолковый точно.

— Почему?

— В дуэль влез... теперь, может, еще не выживет.

— Из-за тебя?

Лизавета покрутила шляпку, но треклятое перо, выглядевшее превосходительно, все одно мешало.

— Из-за дурости... а я к дурости точно отношения не имею.

— И как?

— Помирает.

— А ты?

— А я нет... может, еще и не помрет. — Лизавета вздохнула, сама не понимая, сожалеет она о том или, наоборот, надеется на исход благополучный. Нет, зла она Стрежницкому не желала, но и замуж за него не хотелось.

С другой стороны, ясно же, что он не всерьез. Кто всерьез замуж позовет девуцу, которую видит впервые в жизни?

Авдотья решительно сдернула шляпку, причем за то самое перо.

— Идем, — сказала она.

— Куда?

— Жениха твоего проведывать... я им, за между прочим, говорила, чтоб без этих, без перьев... курицу нашли, право слово.

— Может...

— Идем-идем... женихами разбрасываться не след.

— Так я и замуж не больно хочу, — призналась Лизавета, вставая.

— Совсем?

Авдотья глянула этак с хитрецей. И Лизавета вынуждена была признаться:

— Просто... понимаешь... как бы так сказать... приданого у меня нет. Богатой родни тоже... зато сестры имеются, которых содержать надобно, и тетка престарелая. И сама я не больно-то молода. Я ж понимаю прекрасно, что... да, если кто из купцов, может, на титул и позарится, но... они люди склада специфического. Взять возьмут, но забыть, что бесприданница, не позволят... да и уклад их. Я к свободе привыкла, а сидеть за мужем, только его и слушая... и ладно, если нормальный попадется, так ведь... где их искать, нормальных?

Вот и сказала... даже тетке не говорила, отмахиваясь от предложений ее познакомить с очередным молодым человеком с немалой перспективой.

— Пошли. — Авдотья шляпку водрузила на столик, а вот платья, того самого, с морским воротником и пуговками, снимать не стала. — Поглядим, а после решим, чего с этим женихом делать...

ГЛАВА 28

Стрежницкий маялся болью и начальством, которое, не соизволивши сменить обличье — в этаком невзрачном Стрежницкий его и не узнал сперва, было занудно и по-своему душевно. Правда, душевность сия мешалась с зельями и лекарскими заклятьями, а потому порой Стрежницкий отключался, чтобы после вернуться и осознать, что и начальство тут, и беседа, призванная повисить уровень сознательности подчиненного, не окончена.

Стрежницкий даже застонал жалостливо, за что получил:

— Сам виноват.

Сам. Кто ж тут спорит... всецело сам. Недооценил, поверил в собственное бессмертие. Нет уж, вот выкарабкается, точно жену найдет. Исключительно продолжения рода ради. А то ж, если вдруг преставится Стрежницкий ненароком — а при его работе сие куда как возможно, — маменька в превеликое расстройство придет.

Маменьку было жаль.

Себя тоже.

И еще начальство, притомившееся распекать, а потому устроившееся в уголочке. Оно замолчало, сложило рученьки на портфеле и очи прикрыло, притворяясь дремлющим. Стрежницкий сделал было попытку приподняться — тонул он в пуховых перинах среди пуховых же подушек, разом начинал чувствовать себя старым и немощным, чего по складу характера терпеть не мог, — но тут же осел.

Сил не хватало.

Ранение — это ладно. Ранения с ним всякие случались, но треклятая отравка не желала покидать тело. Она отзывалась непонятной слабостью в руках, а ноги и вовсе немели, и порой начинало мерещиться всякое, к примеру, что ног этих вовсе нету.

— Лежи, герой, — велело начальство и пальчиком погрозило строго. — А не то вовсе к кровати привяжу. Или в госпиталь отправлю. Хочешь в госпиталь?

— Не хочу.

— Тогда лежи... не хватало мне... вовсе скажи спасибо Богу, что живой. И что у Лешека силы остались...

— Спасибо.

— Пожалуйста. — Начальство приподнялось, но тут же село на стульчик и полож отвращающий на себя набросило. А в дверях показался лакей, приставленный к Стрежницкому вместо Михасика.

Лакей Михасиком не был, а потому раздражал безмерно.

— К вам с визитом, — сказал он, глядя куда-то в сторону. И на лошадиной роже его, явно просившей кулака, появилось выражение легкого недоумения. — Невеста с подругой.

У Стрежницкого даже глаз дернулся.

Здоровый.

Какая невеста? Когда он успел только... правда, тут же вспомнил и выдохнул... невеста? Пускай себе... и подруга — это хорошо, подруги многое знают.

— Давай... — Он опустил на подушки, надеясь, что вид имеет в достаточной мере страдальческий, но при том опрятный. Страдальцев женщины по непонятной Стрежницкому причине жаловали.

И даже проникались к ним любовью.

— Добрый день, — сказала невеста, оглядывая комнату с явным интересом.

А сама-то...

Одета простенько, даже как-то чересчур.

Платьице серое, мышастенькое, давно вышедшего из моды кроя. Но сидело на рыженькой неплохо.

Надо будет заглянуть к Ламановой, поклониться и напомнить о долге старом, пусть глянет на девочку. Все ж, как ни крути, Стрежницкий ей жизнью обязан. Это, конечно, еще не повод жениться — мысль о том, недавно казавшаяся вполне логичной, вызвала непонятное отторжение, — но вот приодеть ее он приоденет.

Из благодарности.

А еще, глядишь, ближе станет: девицы весьма новые наряды ценят, и к тем, кто их дарит, относятся куда как благосклонно.

Стрежницкий перевел взгляд на подругу.

И...

— И вам доброго вечера, — сказала Авдотья Пружанская, глядя хмуро, с недоверием. — А батюшка таки говорил, что вы когда-нибудь да убьетесь... вижу только, что плохо старались...

— В следующий раз буду стараться лучше, — мрачно ответил Стрежницкий, раздумывая над тем, сколь сильно способна дочь старого приятеля испортить игру.

Сильно.

Помнится, прошлый визит к приятелю прошел вовсе не так уж гладко, как хотелось бы. И в глазах общества эта история с поручиковой женой выглядела преотвратнейше. Кто ж виноват, что эта дура решила бросить бесперспективного, как ей казалось, мужа. И ладно бы сделала это тихо, так нет, на весь городок объявила, будто знать его не желает и вовсе сожалеет о некогда совершенной глупости.

А Стрежницкий, стало быть, виноват.

Роковой соблазнитель.

Он, между прочим, ей ничего не обещал, а что браслетку с гранатами подарил, так он всем своим амантам подарки делает...

Да и не в любви там дело, но кто ж поверит, если правду сказать.

И кто позволит ее сказать.

Авдотья смотрела хмуро.

С упреком.

А ведь... сколько ей было? Годочков пятнадцать? Самое оно, романтическая барышня, история о любви, а тут любовь... с подвохом.

— Уж постарайтесь. — Она подошла и подушку поправила, правда, почему-то появилось ощущение, что с куда большею охотой Авдотья эту подушку на лицо положила бы да и прижала...

— Всенепременно...

И у постели присела, будто это она невеста. А рыженькая не перечит. Заняла другой угол, аккуратно напротив начальства, пологом прикрытого, взглядом вперилась. И молчит... с укоризной этак молчит... от взглядов этих лежать стало на редкость неудобно.

Стрежницкий глаза закрыл.

Застонал тихонечко.

И получил тычок в бок.

— А батюшка говорит, — вредным тоном произнесла Авдотья, — что мужчина должен переносить страдания молча, не жалуясь...

— Я и не жалуясь, — стало обидно.

— И правильно. Пить хотите?

— Пить — нет, а выпить не отказался бы. — Стрежницкий поерзал, пытаясь устроиться поудобней, правда, вновь скривился, на сей раз взаправду: руку свело судорогой, пальцы дернулись. А целитель утверждал, будто последствий не будет, но Стрежницкий нутром чуял — врет, собака этакая.

И завязать придется что со двором, что с дуэлями.

Как ни странно, но Авдотья встала, вышла и вернулась с бутылкой красного вина.

— А у вас там беспорядок, — сказала она между прочим, наполняя вином не особо чистый кубок. — Вы б хоть позвали кого прибраться...

Он бы позвал, только кого?

Лакей давешний до уборки не снизойдет.

Михасик, которому Стрежницкий доверял всецело, уехал, а прочие... как знать, чего накопают. Он-то за ними приглядеть не способен. Правда, начальство укоризненно головой покачало: мол, мог бы и сказать, неужто не отыскалось бы в конторе специалистов подходящих.

Вино Авдотья водой разбавила и поинтересовалась:

— Сидеть можете?

— Только если на подушках...

— А ему не вредно будет? — подала голос рыжая, но поднялась и подушки в гору собрать помогла.

— Глядишь, и не отравится... а вообще батюшка всем в госпитале красное вино велел выдавать. Оно для кроветворения полезное очень. Особенно если горячее и с приправами. Приправы есть?

— Нет, — с немалым облегчением сказал Стрежницкий.

— Плохо. Эй, милейший, — Авдотья окликнула лакея. — Будьте любезны, велите, чтобы на кухне вина согрели, с корицей, кардамоном и непременно с красным перцем...

Стрежницкий скосил взгляд, но начальство хранило молчание, а лакей поспешил исчезнуть, бросивши немощного подопечного наедине с подозрительными девицами. Авдотья же протянула кубок подруге и спросила:

— Будешь?

— Спасибо, но...

— И я не буду... зря перевели. Ничего, сейчас нам правильное вино доставят... — И глаза как-то нехорошо блеснули, отчего у Стрежницкого появилось преогромнейшее желание притвориться умирающим. Правда, что-то да подсказывало: не поможет.

Впрочем, горячее вино со специями оказалось не таким уж поганым. Правда, сразу на сон потянуло, но... он раненый, ему можно. И Стрежницкий позволил себе провалиться в сон, будто знал, что нынешний будет обыкновенным, глубоким и, главное, напроць

лишенным видений.

Наследник Арсийской империи изволил гневаться.

Он капризничал.

Отказывался примерять дорогой коверкотовый костюм с укороченными брюками и даже швырнул расческой в излишне занудного лакея. Впрочем, поймав расческу на лету, последний подал ее его императорскому высочеству.

Цесаревич выпячивал губу.

Раздраженно постукивал босую пяткой по полу, напрочь игнорируя теплейшую медвежью шкуру, на которой обычно и проходили примерки.

— А... Митька... вот скажи, что я в этом костюме похож на идиота. — Лешек отставил ногу, и брючина поползла вверх, обнажая розоватую кожу. — Еще носки придумали... длинные.

— Гольфы, — счел нужным уточнить портной, который стоял тихонечко, лишь лицо кривил в обиженной гримасе. — Полосатые...

— Вот правильно, полосатые носки поверх штанин — самое оно...

— Бритты так и носят! — Портной не собирался расставаться с безумною, на взгляд Дмитрия, идеей обрядить наследника престола по последнему слову бриттской моды. Он разложил на столике подтяжки, расшитые драгоценным бисером, и в тон им — подвязки, надо думать, для тех самых полосатых носков, примерять которые цесаревич отказался наотрез.

Тут же стояли тупорылые ботинки на высокой подошве.

А к ним шляпа борсалино.

Дмитрий окинул взглядом всю эту роскошь и вынужден был признать: таки Лешек прав. Пусть и модный преизрядно, но наряд этот навевал некоторые... недостаточно почтительные в отношении великого князя мысли.

— Вот! — Лешек верно рассудил, сдирая нелепый пиджачишко с торчащими фалдами. — Я ж тебе сразу сказал...

— Погоди. — Дмитрий все же поднял подтяжки, любясь игрою света. — Оставь... пригодится... завтра у вас очередной конкурс, так что...

Лешек вздохнул.

И, разом поутратив былой пыл, поинтересовался:

— Когда ж оно уже закончится?

Дмитрий и сам не отказался бы узнать. Но помог принять пиджачишко, передал его портному, который свое творение прижал к широкой груди, и вздохнул:

— Поговорить надо...

Наедине.

Ибо, конечно, Ставр Миронович человек неплохой, от политики далекий и всецело погруженный в мысли о высоком, сиречь тканях, пуговицах и прочих наиважнейших в деле его вещах, однако как знать, не обронит ли он ненароком ненужное слово.

— Оставьте, — велел Лешек, избавляясь от штанов, которые были, как на взгляд Дмитрия, чересчур уж узки. И пусть ткань ко дворцу поставляли наиотменнейшего качества, однако он не мог отделаться от опасения, что стоит Лешеку двинуться, и чудеснейшие брюки расползутся по швам. И ведь не скажешь, что с мерками Ставр

Миронович ошибся, это уже прямое оскорбление, значит, фасон такой, сомнительный.

— Еще отделку завершить надобно. — Ставр Миронович слегка оттаял. — Поверьте, вы привыкнете... надобно только немного терпения проявить.

Лешек вздрогнул.

И, дождавшись, когда портной с помощниками, которых было аж семеро, удалится, сказал:

— У меня глаз дергается.

— Целителей кликнуть?

— Да ну тебя... — Переоблачившись в домашнее, Лешек рухнул в креслице. — Представляешь, казаки отловили ночью троих... собирались ко мне с визитом. И главное, все в неглиже.

Хоть отловили, уже хлеб.

А ведь, главное, ни штатный целитель, ни штатный же менталист не почуяли воздействия на охрану. И кровь была чиста, и разум не нес следов постороннего влияния. Выходило, что они просто уснули.

Дважды.

Или... кто-то применил древнюю и забытую магию, что куда как вероятней. И, устроившись в удобнейшем кресле, Димитрий заговорил.

Про девиц, которых не просто убили, а оказывается, делали это медленно, намеренно разделяя душу и тело.

Про отступника, ставшего едва ли не святым. Люди Димитрия успели побеседовать с дворней. И в монастырь найдется кому съездить, правда, он полагал, что поездка эта будет бесполезною: святости у Святозара не поубавится.

Про дела дней иных.

И нынешних.

— Даже так? — Лешек протянул кубок из горного хрусталя. Наполненный ключевой водой, тот ожег руку холодом. И поползли, расцвели морозные узоры. — Что ж... следовало того ожидать...

Лешек прошелся по кабинету, остановившись у окна. Выходило оно на Невру-реку, и даже из кресла видно было, как поблескивает, переливается на солнышке булатная гладь воды. Как ползут по ней крошечные белые пароходики, торопятся добраться до пристаней.

— Шапка Мономахова лишь бы кому не подчинится. Отец говорил, что ее делали, дабы сберечь кровь и, главное, силу родовую.

Где-то там город жил своею жизнью.

Суетились грузчики, спеша исполнить заказ. Покрикивали на них приказчики, зорко следящие, чтобы ни тюка, ни бочонка не пропало, да только, сколь бы глазасты ни были они, у портового народца свои секреты. И значит, ждут уже скупщики да менялы, готовые принять что скрипучие калоши, что отрезки полотна, что иной какой товар.

— Мои предки были... не настолько самоуверенны, чтобы не предположить возможной гибели династии. Однако в достаточной мере ответственны, чтобы не лишать империю артефакта подобной силы...

— Значит...

Лешек вздохнул, отворачиваясь от окна.

— Есть ритуал... непростой... во многом по нынешним гуманным временам... неприятный...

— С жертвами?

— Куда ж без них...

— Много?

— Шесть дюжин... что, Митенька, кривишься? Это все родовая магия. Там если своих сил не хватит, то заемные помогут... — он криво усмехнулся. — Главное, хватит ли духу... или думаешь, что эту треклятую шапку иначе создавали?

На темы подобные, крамольного свойства, Дмитрий старался не думать. Нет, он был в достаточной мере здравомыслящ, чтобы предположить, что есть у старого друга свои тайны. Точнее, даже не столько свои, сколько родовые, что куда как поганей.

— Главное, я думал, что про этот ритуал забыли... есть хранители...

— Может...

— Нет, — Лешек покачал головой. — Они не совсем люди, вернее, совсем не люди, подчиненные духи... и они откроются тому, кого сочтут достойным. А кто уж это будет...

В прошлом году в портах налетчики отметились, залетные, местных порядков не ведающие, а потому полагающие себя самыми умными, самыми ловкими. Они-то, конечно, крепко нервы попортили полиции городской, зато и дыр в охране изрядно выявили.

Может, и вправду в город попроситься? Чин выбрать какой, чтоб не дюже на плечи давил. Околоток поприличней...

— Правда, — добавил Лешек, — сдается, что про этот момент забыли. Или...

— Всяк полагает себя действительно достойным?

— Именно.

Он протянул руку.

— Идем.

— Куда?

— Взглянем на твоего... святого с кровавыми руками. Авось чего и вспомнит... — И глаза старого приятеля блеснули зеленым малахитом.

ГЛАВА 29

Ночь прошла спокойно, а за завтраком Лизавета внезапно обнаружила, что место ее изменилось. Столов и вовсе стало меньше, ибо едва ль не треть красавиц выбыла, однако... вот не ждала она этакой милости сомнительного свойства.

Справа от Лизаветы устроилась княжна Одовецкая в неизменном сером платье прямого кроя. И надо сказать, что тощей, несколько угловатой фигуре ее это платье шло несказанно. Напротив сидела княжна Таровицкая в янтарного колера наряде, разбавленном лишь ниткой жемчуга.

А говорили, что с украшениями нельзя...

Рядом, слава богу, сидела Авдотья, которая после вчерашнего визита отговорила мигренью и внезапною слабостью, но дело не в слабости, отнюдь не в слабости. Стрежницкий тоже не соизволил принять, мол, не выглядит должным образом, и вообще...

Непонятно.

— Говорят, — княжна Таровицкая задержала взгляд на Лизавете, и удивительно, что не было в нем ни удивления, ни раздражения, один лишь интерес, — сегодня состоится второе состязание...

— Опасаешься не справиться?

— Отнюдь. — Одовецкую не удостоили взглядом. — Ищу тему для беседы. Не о погоде же говорить.

— А что, хорошая погода. — Авдотья была непривычно молчалива, и хотя новое платье из полосатой, будто матрасной, ткани весьма ей шло, держалась она на редкость скованно. Может, смутило новое место за столом, может... что-то другое. — Самое оно на тетерева идти... Доводилось?

— Я больше крупную дичь люблю. — Таровицкая держала махонький кусочек хлеба двумя пальчиками. — Волки, скажем... в наших краях волчья охота — даже не развлечение.

— А что?

— Необходимость. Не отстреляешь летом, зимою собьются в стаи. А те выходят к людям. Сперва-то еще наособицу держатся, но к середине зимы страх теряют. Было дело... волк появился. Огромный. С тельца...

— Быть того не может. — Одовецкая отложила вилку и нож. И ела она мало, то ли подражая новой моде, то ли по привычке.

— Я сперва тоже так решила. Он пастушка загрыз. И с коровами игрался. После крестьянок пару, которые одежду стирали. Тогда-то батюшка и велел облаву учинять. И что вы думаете? С сотню шкур сняли, но не тех. Старосты клялись, что волк огромный, глаза красным светятся...

— Может, вырвешь?

— Наши говорили, что магического следа не чувствуется. У нас и собаки особые. Места хоть и далекие, а все равно беспокойно, вот и держим. Волк это был. Он после облавы в дом забрался, крышу раскидал и всю семью вырезал. Есть не стал, забавы ради.

Лизавета слушала.

Все ж, если иных сенсаций не найдется, то и эта сойдет. Чудовище-людоед. Интересно, сколько таких историй по провинциям найдется? Надо будет подсказать Соломону Вихстаховичу, пускай объявит конкурс на самую удивительную историю, а там пусть в письмах и разбирается, куда репортеров слать.

— Так убили его? — не выдержала Авдотья, сунув в рот тонюсенький ломтик ветчины.

Таровицкая вздохнула:

— Год пытались, приглашали из Арсинора специалиста, только волк его задрал. Потом уже папеньке подсказали, где хорошего говоруна найти. Тот и выманил. Он и вправду огромным был, тот волк. И не совсем чтобы волк. Грудь широкая... — она развела руки, показывая ширину волчьей груди. — Шея короткая. И голова... гиену в зверинце видела, очень похожа...

— Грива черная? — уточнила Одовецкая. — Короткая. А на боках полосы, но не выраженные. И хвост конский.

— Точно.

— Ульгарская рысь. Точнее, она не рысь, реликт. В монастыре о таких читала, некогда их много водилось, но потом люди перебили. Выходит, не всех.

— Не всех. — Таровицкая задумалась, прикусивши черенок вилки. — Тогда... она же откуда-то взялась?

И Лизавета тоже мысленно присоединилась к вопросу. Если взялась одна рысь, то может взяться и другая, а зверюга, если представить, что описали, выходит преопаснейшая.

Тут, прерывая размышления, загудел колокол. А в трапезной появилась уже знакомая Анна Павловна, на сей раз в темно-синем, строгого кроя наряде.

— Доброго утра, барышни, — говорила Анна Павловна негромко, однако то ли акустика залы была такова, то ли сама статс-дама использовала магию, но Лизавета готова была поклониться: даже на дальних столах слышали каждое ее слово. — Я бесконечно рада видеть...

— Началось, — буркнула Авдотья, отодвигая тарелку.

— ...Ее императорское величество надеется, что все, собравшиеся здесь...

Одовецкая постукивала вилкой по салфетке, а вот ее заклятая соперница оную салфетку мяла, и обе думали, но каждая — о своем.

— ...сполна осознают бремя ответственности, которое ляжет на плечи той...

Лизавета украдкой оглянулась.

Лица у красавиц были...

Скучающие?

Раздраженные?

Нетерпеливые? Пожалуй что всякие, вот только об ответственности никто и не думал.

— ...Ибо не может быть красота далека от простого народа...

И вот тут появилось пренехорошее чувство подвоха.

— А потому ныне мы все отправимся в город...

— Зачем? — пискнул кто-то, и Анна Павловна слегка нахмурилась, выказывая неудовольствие.

— Ибо такова воля ее императорского величества, — сказала она, как почудилось, с легкой насмешкой. — А мы все верные слуги ее. Но в утешение могу сказать, что те, кто отличится в нынешнем задании, получают особые подарки из рук ее императорского величества.

Девицы загудели.

Подарков хотелось всем. А Лизавета коснулась янтарной капельки.

— Пока же настоятельно рекомендую вернуться к себе и переодеться.

Знать бы во что...

Лизавета переглянулась с Авдотьей, вот только... взгляд последней был рассеян, и Лизавета готова была поклясться, что думает Авдотья о чем угодно, кроме непонятного этого конкурса.

— Попроще, — подсказала Одовецкая. — Сдается мне, мы не на площади гулять будем.

И как ни странно, Таровицкая кивнула, подтверждая эту простую по сути своей мысль.

Выбирать долго не пришлось, ибо гардероб Лизаветин был все еще прост и скуден. Подумалось, что, верно, неспроста мастерицы Ламановой медлят, небось ждут, когда красавиц еще поубавится. И для казны экономия преизрядная выйдет.

Выбрала она все то же простенькое платьице, хотя Руслана и вздыхала, уговаривая взять другое, легкое, с заниженной талией и юбкой плиссе. К нему у Лизаветы имелись длинные перчатки и нитка жемчуга, правда, фальшивого, но премиленького с виду. И захотелось вдруг... а и вправду... небось остальные нарядятся, а Лизавета в своем сером будет выглядеть мыша мышою и...

Она мотнула головой.

Другой раз.

Если он будет.

Волосы Руслана заплела в тугую косу, но не удержалась, уложила ее вокруг головы короной и пару локонов выпустила.

— Погодите минуточку, — велела она престограм голосом, который никак не вязался с краснющими от стыда ушами. — Я... вот сейчас...

Она вытащила откуда-то кружевной воротник.

— Я вечерочком пришить хотела, — извиняющимся тоном сказала Руслана.

— Красота...

— Это меня маменька научила. Она из шелковых ниток вяжет. — Руслана приложила воротник к платью и споро приколола булавками. — Пока на живую нитку посажу, но незаметно будет...

Платье стало...

Не таким скучным? Пожалуй. И воротник вовсе не белый, как показалось, а розовый, нежного жемчужного оттенка.

— Вот так хорошо будет. Только вы, барышня, аккуратней. — Руслана зубами откусила нитку. — Наши говорили... я не сплетничаю, но... говорили, что многие на вас сердятся.

— За что?

— За то, что вы конкурс выиграли.

— Кто сердится?

Она пожала плечами и просто ответила:

— Все почитай... Страшинская скандалила давече... мне Маришка сказывала, которая к ней приставлена, что грозилась подруженьке своей, будто устроит вам развеселую жизнь... и другие еще тоже...

— Спасибо.

Вот только развеселой жизни Лизавете для полного счастья и не хватало.

А все ж таки с нарядом она не угадала.

Во всяком случае, Лизавете сперва показалось, что лишь она одна явилась в платье удручающе скромном, если не сказать бедном.

— Вижу, хоть у кого-то разум имеется, — произнесла Одовецкая, с прищуром озирая толпу разноцветных красавиц. Сама она была в простом чесучовом костюме с прямою юбкой. И туфли выбрала тупоносые, тяжелые с виду, зато на высокой подошве. — Мы с вами не были представлены, но... мое воспитание, по общему мнению, оставляет желать лучшего. Аглая.

— Лизавета, — сказала Лизавета, тоже озираясь.

А наряды... пожалуй, стоит взять на заметку, что носят нынешним летом.

Она, конечно, слышала, что в моде прямой силуэт, однако нынешние были какими-то чересчур уж прямыми. И блестящими. Платья из тафты и шелка, из плотного атласа, поверх которого накидывали легкие газовые шарфы, украшенные бисером и драгоценным тонким шнуром. Иные сияли камнями, что чешуей.

— Это очень вредно. — Одовецкая поправила крохотную шляпку с янтарным жуком.

— Что именно?

— Грудь перевязывать. Или вы думаете, что они все были рождены такими... гм... плоскими? — Она указала пальцем, кажется, аккуратно на Страшинскую, которая обрядилась в платье янтарного колера. — Помнится, утром еще ее формы были вполне естественны, а теперь...

— Очень вредно? — Лизавету не то чтобы сильно волновало, куда именно подевались формы Страшинской. Может статься, они у нее вовсе каучуковые, но тема весьма благодатная.

Чем не скандал?

Франкская мода уродует арсийских красавиц... или еще чего... про страшную моду в народе любят, а еще про Целительство, особенно такое, которое народное. Одно время Соломон Вихстахович подумывал даже отдельную газетенку выпускать, «Народный целитель», чтоб с советами и рецептами для страждущих, но после отказался. Оно-то выгодно, конечно, но после замаешься судиться с родичами тех, кто себя по оным советам пользовал, вместо того чтобы к нормальному целителю пойти.

Одовецкая же ответила:

— Прежде всего тем, что нарушается кровообращение, а это, в свою очередь, приводит к повреждениям тканей, которые не ощущаются, и не всякий целитель их обнаружит, однако впоследствии на месте этих повреждений возникают опухоли...

— Это вы о чем? — Таровицкая выбрала строгого кроя платье темно-кофейного колера. Волосы она заплела в тугую косу, а шляпку и вовсе держала в руках.

— О моде, — ответила Одовецкая, отворачиваясь. — Поразительная беспечность... А посмотрите на туфли! Разве можно носить такое?

— Носить можно. — Таровицкая проводила взглядом высокую девицу на тонких, что карандашики, каблучках. Туфли были, безусловно, прелестны, но и сама Лизавета гадала, как на этакой красоте вовсе передвигаться получается. Вот она бы не устояла, а девица ничего, порхает и выглядит вполне счастливой. — Дело не в туфлях.

— А в чем?

— В головах... папенька так и говорит, что почти все проблемы именно там.

Одовецкая вспыхнула было, но...

Появилась Анна Павловна, и девицы замолчали. А Лизавета испытала весьма нехорошее чувство удовлетворения, ибо одета статс-дама была нарочито просто. Синий костюм с вышитым шифром императрицы, белая блуза, плоская шляпка с махоньким перышком...

И знакомый блокнот в руках.

— Вижу, вы готовы. — И вновь почудилось, будто Анна Павловна с трудом сдерживается, чтобы не рассмеяться. — В таком случае сейчас я зачитаю список, действовать вам придется совместно, а потому надеюсь, что друг к другу вы отнесетесь с уважением и любовью. Ну что же, экипажи ждут. И ваши кураторы тоже. Они и объяснят вам суть задания... верю, вы подойдете к исполнению его со всей ответственностью...

Лизавета закрутила головой, пытаясь высмотреть в толпе красавиц Авдотью, но... то ли той не было, то ли скрывалась она.

Да и собственное ее имя прозвучало вовсе не в той компании, на которую Лизавета рассчитывала.

— Идем. — Одовецкая взяла Лизавету под руку. — Можно считать, мне повезло. Если придется работать в группе, то уж лучше с тем, кто не вызывает раздражения.

Пожалуй, это можно было счесть похвалой.

Арсинор был велик.

Разрезанный каналами, соединенный мостами, он казался Лизавете таким каменным кружевом, наброшенным поверх драной одежды. В нем удивительным образом находилось место и паркам, и особнякам, и суетливым, живущим какой-то своею собственной жизнью торговым кварталам.

Экипажи двигались цугом.

По Лифляндской улочке, громяхая колесами по камням старой мостовой, и уже на Севрюжий тракт, который власти несколько раз переименовывали, а он все одно оставался Севрюжым. Ближе к зиме потянутся по нему подводы, бочками груженные, повезут осетров и севрюг ко двору. Пока тракт был люден, но не сказать чтоб до заторов. Вот мимо прокатилась телега, груженная доверху сеном, а за нею вприпрыжку скакали босоногие городские мальчишки, и гимназистик к ним прибился, машет портфельчиком, свистит залиvisto, лошадку подгоняя. Только та, мохнатенькая, к таким фокусам привычна, знай бредет, копытцами постукивая.

Вот проплыли мимо модного дома, перед которым скопилось изрядно экипажей. Бродят компаньонки, стараясь не заглядываться на витрины. Беседуют о чем-то степенные господа. Поговаривали, что модный дом и по ночам работал, правда, тогда привозили сии господа не жен с дочерьми, но дам иного свойства, куда более милых сердцу и кошельку.

За модным домом начиналась Кофейная улочка, где жизнь текла неторопливо. И здесь кофейни сменялись небольшими лавками, многие из которых существовали не одну сотню лет. Далее были Садовая и Булочниковая. И Лизавета покосилась на спутниц. Одовецкая сидела задумчивая, кажется, не замечающая, куда их везут. Таровицкая, напротив, не скрывая любопытства, крутила головой. И рот приоткрывала, явно желая задать вопрос, но тут же закрывала.

Губки покусывала.

И вновь, забывая о приличиях, начинала ерзать нетерпеливо. Теперь, вне окружения дворца, она казалась совсем юной.

Когда первый экипаж свернул на боковую улочку, кривенькую, ведущую, сколь Лизавета помнила, к городской окраине, она удивилась. Однако и вторая коляска исчезла за поворотом, а там и третья затерялась в хитросплетении местных улочек.

Дома стали ниже.

Шире.

Беднее.

Они тянулись, прирастая один к другому, нелепо приклеиваясь серыми стенами, и лишь длинные крыши из битого шифера, наспех залатанного когда досками, когда соломой, казались единым полотнищем. Здесь дурно пахло, а мостовая исчезла, сменившись обыкновенною ухабистой дорогой. Теперь колеса поднимали пыль, но Лизавета все одно радовалась: весной здесь было бы куда хуже.

— Полагаю, — фрейлина, представившаяся Мартой Игнатьевной поправила перчаточку с обрезанными пальчиками, — пришло время объяснить вам суть задания. Вам, должно быть, известно, что ее императорское величество весьма озабочена...

Колесо попало в яму, заполненную грязью, и коляску отчетливо потрянуло, что, впрочем, несколько не повлияло на фрейлину.

— ...Живут в неподобающих условиях. И хотя искоренить бедность как явление не под силу и ей, — спокойно продолжила Марта Игнатьевна, — однако она делает все, чтобы помогать людям, которые и вправду нуждаются в помощи...

Запахло гарью.

И Одовецкая слегка поморщилась, а Таровицкая и вовсе прижала к носу платок, не особо стесняясь этакой слабости. Впрочем, весьма скоро Лизавета последовала ее примеру. В эту часть города она избегала заглядывать, небеспричинно опасаясь за свое благополучие.

А дома вдруг исчезли, сменившись сперва хибарками, сколоченными из чего попадая, а после и вовсе мусорными кучами, среди которых кто-то прорыл канавки. В них текла грязная мутная вода.

Дышать стало почти невозможно.

— Если вы интересуетесь не только журналами мод, то должны были слышать о том, что в позапрошлом месяце приключилось большое несчастье на Кузнечных горах, — голос Марты Игнатьевны звучал тише. — Подземный пожар уничтожил и продолжает уничтожать не только запасы угля, но и дома людей. Многие бежали...

Лизавета оглянулась.

Неужели бывает такое...

Вот он, Арсинор, стоит во всем своем беломраморном великолепии, правда, несколько потускневшем, ибо от этой земли поднимался желтовато-бурый туман. Он невидимой завесой разделял две части города: белую и ту, о которой предпочитали не думать.

— Эти люди пришли в надежде на помощь. К сожалению, вышло так, что... скажем так, — по лицу Марты Игнатьевны скользнула тень недовольства, — не все чиновники верно понимают свой долг, а потому несчастные оказались в этом месте...

Таровицкая отняла платок.

Сделала вдох и закашлялась.

— На, — Одовецкая протянула ей круглую баночку от монпансье. — Намажь ноздри, легче будет...

Та кивнула и... приняла. А после передала баночку Лизавете. От плотной розовой субстанции пахло сандалом и специями, пожалуй, чересчур мощно, но все же лучше, нежели окружающий смрад.

— Благодарю, — и Марта Игнатьевна не стала отказываться. — Вам предстоит выступить от лица ее императорского величества. Сегодня вы должны проинспектировать лагерь. Составить подушные списки желательно развернутого свойства. Определить нужды,

дабы после составить полный отчет о проблеме и, что важно, предложить варианты решения ее. А также вы должны позаботиться о грядущих нуждах несчастных. Вам будут выделены помощники, однако им велено не вмешиваться. Они будут лишь исполнять ваши распоряжения, но и только...

Коляска остановилась.

А Лизавета огляделась.

Земля... темна, больная земля. Она слышала, как плачут травы, не способные выбраться из гор мусора, как дрожат редкие деревца, а болезненные кусты еще цепляются за жизнь, но сил не хватает.

— Вот. — Марта Игнатьевна протянула три амулета в виде золотых заколок-шифров. — Защитные амулеты. Все же люди здесь отчаявшиеся.

Что ж, как-то иначе Лизавета представляла конкурс красоты. Но... она переглянулась с Одовецкой, которая решительно поднялась, и признала: это будет куда интересней цветочных букетов.

Одовецкая первая ступила на грязную землю и, оглядевшись, поинтересовалась:

— Могу я отправить кого-то во дворец за своим саквояжем? Полагаю, целитель здесь не будет лишним...

Марта Игнатьевна щелкнула пальцами, и подле княжны возник молоденький унтер-офицер.

— Погоди. — Лизавета порадовалась, что обувь у нее хоть и неприглядная, но крепкая. Не промокнет, не пропитается местной вонью. — Если все так, как есть, одного саквояжа будет мало...

— После составим список для лавки... можем мы привлекать иных людей?

Марта Игнатьевна вновь кивнула, уточнив однако:

— Вы можете привлекать кого будет угодно, но и эта помощь, и ваше участие будут оцениваться.

То есть переложить проблему на плечи специально обученных людей не выйдет.

— В таком случае будьте любезны передать княгине Одовецкой, что здесь крайне необходима ее помощь... и опыт. — Аглая потерла руки. — Я все-таки госпиталей не разворачивала...

— Думаешь, нужен будет? — тихо спросила Таровицкая.

— Оглядишься... во-первых, беженцы. Горел уголь, значит, дымом надышались. Половина будет с больными легкими. Вторая — с разной степенью истощения. Условия совершенно ужаснейшие, значит, здесь и дизентерия, и брюшной тиф...

Говорила она о том спокойно, будто о вещах обыкновенных.

— Погодите, — остановила унтер-офицера Таровицкая. — И батюшку моего отыщите...

— Зачем?

— Оглядишься... ты сама сказала про условия. Ты собираешься госпиталь тут ставить? — Таровицкая похлопала себя по бедру. — Оно, конечно, можно, но тогда все впустую. Убраться сперва надо, а огонь — лучшее средство от заразы...

И лицо ее потемнело разом, она осеклась, прикусила губу, глянув на соперницу исподлобья. Но та будто бы не заметила...

— Списки. — Одовецкая повернулась к Лизавете. — Наверное, стоит найти кого-то...

— Старосту. — Лизавета решительно перешагнула лужу. — И сказать, чтобы подвезли

еды...

— И воды. Хотя бы пару бочек для начала. — Солнцелика поморщилась. — Эта...

— Ее можно очистить, но понадобится время...

Марта Игнатьевна подала знак кучеру.

— Знаешь, — Таровицкая поежилась, — как-то здесь... неуютно...

ГЛАВА 30

— Благородные приехали! — радостный мальчишеский голос вспугнул выводок грачей. Черные птицы бродили, время от времени наклоняясь, чтобы расковырять очередную мусорную кучу. И тогда над нею поднималось мушиное черное облако. — Булки давать будут... тетка, булку дай!

Перед Лизаветой возникло что-то черное.

Грязное.

Неопределенного полу.

— Булки пока нет, — сказала она.

— Тогда копейку.

— Отведешь к матери, тогда дам.

— Нету мамки. — Нечто шмыгнуло носом. — Угорела.

— А с кем ты живешь?

— Так... с теткою. Только она злыдня. — Ребенок вновь шмыгнул красным носом, который вытер рукавом, и добавил: — За чуб таскает...

— А кто здесь у вас главный? — Лизавета вытащила из кошелька мелкую монетку. — Отведешь?

Ребенок закивал и, обернувшись, сунул два пальца в рот и засвистел громко, переливчато. Аглая приподняла бровь, а Таровицкая хмыкнула:

— Я и громче могу.

— Пиз... — искренне сказал ребенок. А наследная княжна древнего рода лишь фыркнула и, воровато оглядевшись, повторила фокус. И свист у нее получился если не громче, то всяко заливистей.

— Не пиз... — Ребенок был по-своему справедлив. И поинтересовался: — А почему без булок приехали? До вас были дамочки, две корзины привезли. Я Паську кривого побил...

— Зачем?

— А чего он вперед полез? У меня тоже малые жрать хотят... ничего, никшните, вы со мною, значит, Паська не полезет... и прочие тоже. А если рубль дашь, то весь день ходить стану. И помогу...

— Чем? — Лизавета вытащила рубль, решив, что спишет его на представительские расходы.

— Дык, — мальчишка (она все-таки решила, что перед ней парень) хитро усмехнулся, продемонстрировав выбитые верхние зубы, — я слышал, что приедут из комиссии и порешать станут, кому давать деньгу на отстрой, а кому нет. Наши все два дня срались, Паськины вовсе на дерьмо изошли...

Таровицкая легко перепрыгнула через канавку, в которой мокла давно издохшая крыса. Серый, изъеденный червями трупик не интересовал даже грачей.

— ...Тетка себе сирот набрала, чтоб побольше дали. Только она все одно их погонит после. Ну или сдаст куда... — Он замолчал, когда перед Лизаветой возникла вдруг простоволосая женщина в простом, но чистом платье.

— Боярыня! — завывала она громко. — Милости прошу...

И за ручку цапнула, плюхнулась на колени и давай целовать...

— Больные есть? — Одовецкая тронула мальчишку за плечо.

— Агась... здоровых нетути, только один дядька Хостей, да и он на спину жалится и кашляет кровью. Сдохнет скоро...

— Ах ты... — Женщина попыталась, не вставая с колен, ухватить пацаненка за ухо. — Иродово отродье!

— А чего? Сама говорила, что сдохнет...

— Куда полезла?! — раздался истошный бабий визг. — Людечки добрые, что ж это делается... Сабычиха барынек встречает...

— А не твою ума дела! Сиротинушек пожалейте... голодные сидят...

Лизавета огляделась. Люди подходили. Большею частью женщины, многие — с детьми. И все серые, какие-то задымленные и дымом пропахшие, будто бы он, угольный, ядовитый, не собирался отпускать своих жертв даже в Арсиноре.

Одовецкая тронула амулет.

Таровицкая подобралась... а толпа... толпа сходилась, и вот уже человеческие голоса сплелись в один вой, в котором слышались и мольба, и гнев, и обида. Женщины толкались, иные норовили выпихнуть детей вперед, кто-то тряс грязным младенчиком, и Лизавета не была уверена, что живым.

Она, сама замороженная происходящим, сделала снимок.

И еще один.

И... плевать, что статейка не про дворцовые скандалы, но это... нельзя молчать про такое. Рядом же город, другие люди, и пусть не все богаты, но есть же те, которые могут помочь... должны быть.

Она очнулась, когда из толпы полетел камень, ударился в щит, и тот пошел рябью. А в руках Таровицкой вспыхнуло пламя, заставив толпу отступить. Лизавета схватила княжну за руку, удивляясь, до чего та холодна. А ведь боится... по-человечески, по-простому боится вот этих всех, понимая, что если толпа ударит...

— Тихо! — будто со стороны Лизавета услышала свой голос.

Так говорил папенька, когда случилось ему деревенских осаживать. И услышали. Замолчали.

— Кто здесь за старшего? — Главное, держаться уверенно.

И не позволить Таровицкой спалить кого.

Вперед вытолкнули грузного мужчину. Седой, с пожженным лицом, он ступал, опираясь на кривую палку, то и дело останавливаясь, вздыхая.

А на плечо легла ладонь Одовецкой.

— Я помогу...

К ноге же жался давешний мальчонка, и Лизавета странным образом слышала, как дико, суматошно колотится его сердце.

Все будет хорошо.

Она коснулась грязных волос. И обратилась к мужчине:

— Нам нужен полный список всех. Имя и прозвание... возраст... семейное положение... кто на иждивении находится. Кормилец...

— Нет у нас кормильцев, — раздалось слезливое. — Погорели все...

— Следовательно, о том и пишем. — Главное, не позволить сбить себя с мысли. — И еще чем занимались прежде. Чего умеете. Шить там, вышивать... может, мастерством каким...

— Бортники мы, — крикнул кто-то.

— Пишите...

— А если капусту квасить...

— И о том пишите. Чем подробней, тем лучше...

— А детей с какого возраста...

— С младенчества...

Вопросы сыпались, но... в них уже не было прежней злости. И люди любопытничали, боялись упустить что-то важное, за чем им чудилась надежда на перемены в нынешней убогой их жизни.

— Кто грамотный? — Лизавета вновь перекрикнула толпу. — Садитесь где и пишите... а старший проследит, чтобы все было верно...

Рыжую Димитрий заметил издали. И вот как вышло-то? Была она невысока, субтильна, а поди ж ты, привлекала взгляд. Вот стоит, забравшись на огромный валун, руками размахивает, что-то объясняя крупным, мрачного вида женщинам. А те слушают превнимательно.

Поискав взглядом, он нашел и Одовецкую, пристроившуюся на кривобоком табурете, который, видать, из превеликого уважения к госпоже целительнице накрыли расшитым полотенцем. Сидела она, вытянув ножку, склонившись к дитенку, которого держала на руках бледная особа...

За нею выстроилась очередь, конца которой видать не было.

А вон и Таровицкая, мрачна и недовольна, понять бы еще чем: местом ли, в котором трудиться вынудили, или же компанией? Главное, рученькою машет, пальчиком белым тычет, командуя мужиками. А те и рады стараться, гребут мусор лопатами.

Это они, конечно, зря.

Не в том плане, что гребут зря, так оно жечь удобней будет, а вот местных следовало бы заставить потрудиться, а то ишь, бродят между барышнями да поглядывают. Вот Таровицкая рученьками над кучей повела, и поднялось, вскипело белое пламя. А сильна, ничего не скажешь, этак даже у Димитрия не выйдет. И главное, горит ровно, бездымно, аж земля плавится. Только и этих сил не хватит, чтобы старый пустырь расчистить.

Впрочем...

На то и дело, чтоб сами справились, а заодно научились силы свои оценивать.

— Что тут? — поинтересовался он у унтер-офицера, который не сводил с Таровицкой влюбленных очей. Ишь ты... и когда успел?

От вопроса унтер вздрогнул.

Вытянулся.

Но, разглядевши, кто спрашивает, разом успокоился.

— Да... думал было вмешаться, но обошлось. — Он положил рученьку на саблю, красуясь перед гражданским, который в военных глазах был человеком, может, и нужным, но по сути своей ничтожным, чести лишенным. — Но все ж... не дело это... девушек и в такое место...

Тут Димитрий мог бы ответить многое, но... зачем?

Он бочком, бочком отступил от почти влюбленного унтера, в затуманившемся взгляде которого с легкостью читались картины пречудесные, и слился с толпою. Не без усилий, конечно, ибо даже в чиновничьем сером мундирчике, который престранным образом делал людей невидимыми, он все же отличался от местных. Однако тут заклатьяце, там камешек круглый на ниточке... Ее императорское величество порой удивительные камни создавала.

И вот уже на Димитрия и не глядят.

А он...

Он подошел так близко, что мог бы прикоснуться к рыжей...

И кого к ней приставить-то? Стрежницкий не то чтобы отказывается, но объективности он всяко поутратил, а это для дела вредно. Другого? Нет других, чтобы сыграть могли... да и преподозрительно будет.

Или...

Самому?

Оставить в покое? Вот она отчаянно пытается объяснить бабам, что пропавшие без вести — это еще не значит мертвые и что сперва надобно выправить документы, а уже после рассчитывать на компенсацию по потере кормильца.

Те же стоят, рты приоткрывши. Кивают.

Хотят барышне глянуться.

Авось и накинет рублик или хотя бы платьем старым сподмогнет. Оно-то срамное — мысли эти простые были понятны, — однако из сукна добротного. Перелицевать, подшить — и детям ладно выйдет...

— Хорошо. — Рыжая махнула рукой. — Давайте по порядку.

По докладу если, то деньги свои она получила от купца, который подрядился новую серию мыла выпустить, а оттого и заключил договор на рекламу оного. Вот только...

Прежде он предпочитал брать девиц помоложе.

Или понадеялся на ее успех в конкурсе? Да и целая баронесса, как ни крути... баронесса небось немалых денег стоит. Может, и вправду все так, как оно видится, а Димитрию в другом месте искать злодеев надобно.

В «Сплетнике» о ней тоже отзывались снисходительно, мол, есть барышня такая, чего-то там пишет, несомненно, неважное, ибо важное девице кто ж доверит? Нет, она неплохая, главное, в дела настоящие, мужские, не лезет, не пытается прыгнуть выше головы. А что про цветочки, так... кому-то и про них надобно. Оно-то, может, и гордиться чтобы, так не особо есть чем, но все больше платят, чем если в школе какой.

Нет, Димитрий лично против женщин работающих, особенно если работают они не в угольных шахтах, ничего не имеет. Да и не ему, половину жизни сознательной в дерьме чужом копающемуся, осуждать кого. Так что... пусть пишет, хотя что на конкурсе она не только личиком светит, но и сплетни собирает для сотоварищей из газетенки своей, это понятно, главное тут, чтобы краю не потеряла. Вот за этим Димитрий лично проследит.

— Значит, денег вы не получали?

— Вот те крест! — хором ответили бабы, и перекрестились, и поклонились. Правда, одна уточнила:

— А пять копеек?

— Какие пять копеек? — устало поинтересовалась рыжая.

— Так... до вас барыньки приезжали. Медяков детишкам отсыпали. Мой пять копеек принес...

— Нет, это не считается. А по бумагам... расписывались?

— Где?

Расписывались и вспомоществование, согласно оным бумагам, получили в полном размере, включая по десять рублей серебром на обзаведение хозяйством и дополнительно — детские. Ведомость давно уж передали, чистенькую, аккуратненькую, заверенную тремя подписями.

Додумается спросить?

— В бумагах. Скажем, приезжал кто из чиновников?

— Был писарчук! — радостно воскликнула бабища в мужской одежде. — Аккурат вот как мы туточки пришли, так и появился... списки составлял.

— Составлял, значит. — Рыжая поскребла кончик носа. — А вы в тех списках...

— Крест ставила. — Бабища кивнула важно. — Он велел, я и поставила...

— Поставила... плохо...

Бабы замолчали, а рыжая махнула рукой:

— Разберемся... покажите пока мне, откуда воду берете...

Она прыгнула, и сразу оказалось, что этим огромным женщинам, в которых явно ощущалась иная, не совсем человеческого свойства кровь и позволявшая им выживать в горах, она едва достает до плеча. Впрочем, рыжую это, кажется, не слишком смущало.

— И мусор... отчего у вас тут беспорядок такой? — строго поинтересовалась она.

Димитрий пристроился следом.

— Неужели и дома такой был?

— Так то... мы... туточки... чего оно тут? А мы так... мы ж не знали...

Источник, некогда полноценный родник, выведенный сквозь каменную толщу к корням старого дуба, был чист и воду давал студеную, сладкую. Однако дерево почти погибло. Темная кора его отслаивалась кусками, а в трещинах виднелось гниловатое нутро. Редкие листья еще держались, слабо дрожа, но чувствовалось — и до осени не дотянут.

Каменное ложе разбили.

Вороны и лисы раскопали ямины, и вода текла, мешаясь с глинистой мертвой землей.

— Эх... хоть тут почистить могли бы, — вздохнула рыжая, опускаясь на корточки. Ботинки ее почти утонули в грязи, но она будто и не обратила внимания. — Мало ли где жить выпало... нельзя ж в таком беспорядке.

И бабищи загомонили, заголосили, выясняя, кто из них больше порядку желал и почему руки не дошли навести...

— Идите уже, — устало произнесла она. — Помогите... стыд... вы ж не свиньи, вы люди... и живите по-людски... тут или где еще... денег нет, так ведь мусор-то... мусор прибрать можно или здесь...

Она махнула рукой и повторила:

— Идите... помогите там.

— А...

— А я тут попытаюсь...

ГЛАВА 31

Вода была ледяной. Она хватала за пальцы и жаловалась, жаловалась. Лизавета слышала голос ее, как слышала и боль земли.

— Сейчас, — она погладила гладкую кору дуба, — сейчас помогу...

Если сил хватит.

Она закрыла глаза, настраиваясь... магия... магия — это придумки глухих людей, которые не способны слышать мир, так ей говорила Едэйне Заячья Лапа, которая лицензированным магом не была, да и вовсе читать не умела, во всяком случае книги, но вот во всех окрестных селениях знали: Едэйне способна мир исправить.

Как?

А обыкновенно.

Сядет она у костра, прямо на голую землю, и холода не ощутит, разве что круглые пятки порозовеют слегка. А она положит на колени белый бубен и задумчиво, легонько коснется его пальцами.

Задрожит тогда мир.

А Едэйне заведет заунывную песню свою. Она будет петь долго, ибо только так можно дозваться до духов, упросить тех о милости...

Духи упрямые.

У Лизаветы нет бубна.

Хотя...

Он ведь тоже на самом деле не нужен. Едэйне говорила, что Лизавета хоть и не из ненегов, но по своей особой крови способна слышать. Она учила сидеть на голой земле, отрешаясь от холода, жевать сухие листья и пить сырую кровь. И матушка злилась, потому что ни в одной классической школе подобными глупостями не занимались.

Классическая школа требовала прямых воздействий.

И Лизавета могла бы помочь дереву.

Влить силу.

Исправить сосуды. Зарастить раны. Выжечь заразу, которая грызет дуб изнутри. Исправить корневую, позволив корням уйти глубже, где земля чище, а вода не отравлена. Она бы нарастила листовую массу, и, быть может, дерево простояло бы еще не один десяток лет, но...

Этого мало, чтобы исправить мир.

И она сняла ботинки.

Чулки бы еще, но...

Опуститься на землю. Юбка измажется, да и само платье... вид у нее будет неподобающий, но мир... мир просит о помощи, теперь Лизавета распрекрасно слышит его. Она протянула руку, и в нее упал кусок дубовой коры. Пойдет... еще бы... конечно, острый камешек черкнул по ладони, и кровь окропила кору.

Так будет лучше.

Едэйне Заячья Лапа говорила, будто кровь — это узы мира...

Всего-то надо, что Лизавете слушать себя.

И тронуть кусок коры пальцами. Показалось — загудел низко и тревожно, и звук этот

отозвался в ткани мироздания.

Духи предков...

Каких?

Маму она знает... отца... бабушку со стороны матери? Ее бесполезно просить, она не снизойдет, а вот родичи отца умерли рано, но...

Она будет играть на несуществующем бубне, все ж кусок коры — это не то. Но Едэйне говорила, что главное, чтобы песня шла от сердца, и тогда, быть может, ее услышат.

Лизавета расскажет о месте, которое испортили люди. Они пытаются исправить все. Лизавета слышит и голос огня, сжигающего мусор, и вздохи ветра, который норовит разодрать ядовитый дым. До нее доносится эхо биения многих сердец, а еще Лизавета видит и боль, и отчаяние, и надежду.

Зависть.

Злость.

Страх.

Сколько всего... но это не то, ей надобно исправить землю. Позвать траву. Ну же, семена спят глубоко в земле, но Лизавета разбудит их, если не солгала Едэйне Заячья Лапа и в ней, обыкновенной, действительно есть капля той особой силы, которую мир услышит.

Не солгала.

Она, прожившая множество зим и сама не единожды мир правившая, попросту не умела лгать. Стало быть, получится дотянуться... попросить. Пусть набухнут семена, пусть проклянутся полупрозрачные корешки, а Лизавета даст им силы.

Силы у мира много.

Она возьмет крупицу в другом месте и...

Правильно.

Травы поднимутся, а...

Димитрий смотрел.

Сперва ему показалось, что рыжая окончательно утратила рассудок. Снимать обувь? Садиться в грязь? И еще так... странно... она содрала кусок коры с полумертвого дерева, а после, разрезав себе руку, щедро полила кору и юбку кровью.

Потом же...

Застыла?

Или...

Ее пальцы шевелились, а глаза смотрели куда-то... вовне? Димитрий, осмелившись, подошел вплотную и заглянул в них. Расплывшиеся зрачки и... ощущение силы, которая закручивается над головой этого бестолкового существа.

Разве ж можно входить в транс, не позаботившись об охране?

А вдруг кто... амулет амулетом, защита защитой, но здравый смысл-то куда подевался?

Рыжая же творила... что? Эта сила была слишком иной, чтобы понять. Димитрий просто чувствовал, как она кружит, вьюжит, то расплывается, то вдруг собирается в хрупком человеческом теле. В какой-то момент он и сам стал частью ее, потерялся, потому как, открыв глаза — а почудилось, лишь на мгновение закрыл, — увидел траву.

Она пробивалась сквозь вытопанную землю.

И сквозь мусорные кучи.

Она разрасталась, зелеными пятнами, густым ковром погребая под собою все, до чего еще не дотянулось пламя. И дерево заскрипело, закачалось, сбрасывая клочья гнилой коры, будто змея старую кожу. Оно, это дерево, помнило себя иным и теперь возвращало себе прошлое.

Да быть такого не может!

У нее силы не хватило бы.

Все признавали, что рыжая — талантливый маг, однако же силы невеликой, здесь же...

Димитрий огляделся: зеленый ковер добрался до огненных столпов, и пламя присело, а после, к превеликому удивлению Таровицкой, вовсе погасло. Она взмахнула было руками, явно выругалась, однако...

Зелень затянула еще горячие проплешины.

И было в этом что-то сродни слегка безумному чуду. Только... в какой-то момент все вдруг остановилось, а рыжая, открыв глаза, посмотрела на Димитрия и с немалым удивлением произнесла:

— А притворяться кем-то нехорошо...

Лизавета знала: Едэйне Заячья Лапа была бы довольна своей ученицей, пускай не самой сильной, пускай вовсе чужой, ибо не родилась она на землях ненегов, но все прихотью духов, не иначе, получившей редкий дар.

Таких немного.

И Лизавета дала себе слово, что когда-нибудь вернется на Север. Почему бы и нет? Что ее держит в городе-то? Сестер пристроит, тетушку... тоже что-нибудь да придумает, а после, когда ее семья перестанет нуждаться в Лизавете, она просто отправится домой.

Туда, где еще стоит изба-пятистенка.

И быть может, сохранились резные ставни, а изразцы на печи не потрескались. Конечно, дом этот принадлежит сейчас кому-то другому, но Лизавету пустят. Там, далеко на Севере, помнят, что есть корни... а она, поклонившись печи, поднеся живому огню в дар булку с собственной кровью, соберет свои пожитки и пойдет дальше.

Она заплатит табаком и солью, и найдется собачья упряжка, которая домчит Лизавету до стойбища.

Едэйне Заячья Лапа встретит.

И лицо ее будет все так же кругло.

Она по-прежнему мажет кожу собачьим жиром, а на лбу рисует священную змею. И лишь браслетов на запястьях прибавится, да может, шапка бисерная станет выше, показывая всем, до чего умела Взывающая.

Когда-нибудь потом.

Она глянет на Лизавету темными глазами и спросит:

— Зачем вернулась?

Что ответить?

Лизавета... не знала. Она упустила это, как и мелодию мира, которая ныне звучала почти ровно, почти правильно. И Лизавета чувствовала: отныне это место справится

само.

Корни молодой травы вытянут из земли отраву, и трава погибнет, но вместо нее вырастет новая, и люди не заметят перемен. Разве что вода родниковая покажется им куда как сладкою...

Духи окружали Лизавету.

Они касались ее призрачными ледяными крыльями, и она щедро платила тем, чем могла, — силой своей. Жизнью... и еще болью. Заберите. Унесите.

Избавьте.

Духи обещали покой, но Едэйне Заячья Лапа говорила, что верить им нельзя. Там, за краем мира, все иначе. Там небо низко, а земля высоко, и черное солнце катается на острых иглах.

Лизавета моргнула.

И, разжав руку, выпустила бубен. А после силой своей, остатками ее разорвала нить между мирами: не след тянуть в Явь холод мертвый. Этак все исправленное испортить недолго.

И миры разошлись.

Расступились, выпуская Лизавету, оставив ее наедине с человеком, который пристально вглядывался в ее лицо. Собственное же его текло и менялось, что вода в реке.

И было ложью.

Теперь, соприкоснувшись с миром иным, Лизавета могла видеть ложь. И та ее удивляла. А еще обижала, о чем и сказала она. Человек же прижал палец к губам и произнес:

— Никому не говори...

Она кивнула и...

Лизавета очнулась уже в коляске.

В чужой коляске.

Этот экипаж был напрочь лишен изящества, зато пахло в нем кожей и табаком, а еще молоком и медом.

— Пейте же, — велели ей, поднеся флягу к губам. — Не капризничайте, а то выгоню...

И Лизавета послушно сделала глоток. Питье было сладким... а Едэйне после камлания оленью кровь пила, но если Лизавета сейчас крови попросит, ее неправильно поймут.

— Вам не говорили, что баловаться непонятной магией опасно для здоровья?

— Она понятная, — возразила Лизавета.

И голос был неприятно сипл.

— А вы... вы... притворяетесь! — Она прекрасно помнила, кого увидела под невзрачною маской мелкого чиновника. — И вам не стыдно?

— Ничуть.

Он поддержал флягу.

— Надеюсь только, вы не станете распространяться? — причем произнесено это было таким тоном, что Лизавета явственно осознала: распространяться об увиденном действительно не стоит.

— Вот и умница, — сказал Димитрий, князь Навойский и второе после наследника лицо в империи. — А сейчас вы отправитесь отдыхать...

— Но...

— Там и без вас справятся, тем более что вы и без того помогли... где, к слову, научились?

— На Севере. — Лизавета допила молоко.

Холодно.

Божечки, как же холодно... будто она принесла холод с собой, и... ее, кажется, знобило, а еще выглядела она преотвратительнейшим образом. Грязное платье, мокрые чулки... ботинки... где ее...

— Погодите, — на плечи лег мятый пиджачишко, — сейчас полегчает...

А голову сдавили теплые руки.

— Закройте глаза и расслабьтесь...

Его сила была хмельной, что молоко с медом... то самое теплое молоко с медом, вкус которого ощущался на языке. Его сила была теплой.

Ласковой.

Она щекотала Лизавету и...

И шептала, что стоит расслабиться, закрыть глаза, отдохнуть... И кажется, Лизавета поддавалась, потому как второй раз она очнулась уже у дворца.

И стыдно стало.

Она не просто спала. Она забралась на бархатное сиденье с ногами, изрядно оное сиденье испачкавши, а Димитрий укрыл ее пиджаком. И голову на коленях своих пристроил, что было совсем уж неприлично. Только почему-то Лизавету эта неприличность совсем не смутила.

— Как вы себя чувствуете? — поинтересовался князь, убирая руку за спину. И почудилось в движении его нечто по-мальчишески хулиганское.

— Нормально. Кажется. Я... простите... я уснула...

— Целителю мы вас все одно покажем.

Она попыталась было сесть, но голова закружилась... а ведь Едэйне после камлания уходила в свой шатер, и три дня никто не смел приближаться к нему, кроме девочек, избранных ею в ученицы.

Теперь понятно.

Слабость была... оглушающей.

То есть Лизавета прекрасно ощущала собственное тело, но вот управиться с ним... ничего не болит, а рука будто свинцовая, и каждый палец к земле тянет.

— Покажите, — согласилась она.

И глаза закрыла.

А что, если она так и останется не парализованной, но слишком слабой, чтобы хотя бы на ноги встать? Экипаж стоит. Давно стоит?

— Два часа, — подсказал Димитрий.

— И вы...

— Не бросать же вас в одиночестве...

— Не бросать, — согласилась Лизавета. Мысль об одиночестве казалась тошнотворной. А еще хотелось сладкого или вообще чего-нибудь. В животе неприлично заурчало, а Дмитрий вдруг подхватил ее, усадил.

— Дойти вы не дойдете... в таком случае держитесь.

Он выбрался из экипажа, а после с легкостью подхватил Лизавету на руки.

— В следующий раз, когда вздумается заняться чем-то подобным... — его неправильное лицо вновь почти соскользнуло с настоящего, — озаботьтесь сопровождением...

— Обязательно.

— Вы рисковали!

Он шел и ворчал, но как-то не зло... и Лизавета объяснила бы... про Север, где свои порядки и девочек, конечно, не учат писать, хотя приходской священник разъезжает по стойбищам, уговаривая... Но зачем девочкам грамота?

Их учат песням.

Сказкам.

И именам предков, вереницы которых прочно удерживают землю привязанной к небу. А еще — правильным словам. Ведь земля слышит, а значит, не только земля...

Тот, у кого есть сила, на многое способен.

Он приведет рыбу к холодным берегам.

И обережет оленье стада от волков. Он скажет небу проложить пути для птиц и призовет первый снег, на котором зайцы проложат свои стежки.

— Надо же... — Князь Навойский остановился. — Интересно...

А она, оказывается, говорила вслух. Нехорошо... этак рассказать можно куда больше, нежели Лизавета хочет... А она хочет?

Хочет.

Она так давно ни с кем не разговаривала. Просто разговаривать — это же такая малость... У нее есть тетушка, но та озабочена лишь приличиями и еще замужеством Лизаветы. И ей неважно, что сама Лизавета замуж не хочет...

— Совсем? — Дмитрий усадил ее на лавку.

Вдвоем.

В саду.

И у Лизаветы вид совершенно неподобающий, а если кто увидит, то репутации ее придет конец. Не то чтобы она боялась, но... у нее кроме репутации ничего нет.

— Не увидит... так, значит, замуж не хочешь?

— Хочу, — говорить было легко. И про замуж тоже... разве это преступление — хотеть мужа? То есть не совсем чтобы именно мужа, но семью, чтобы дети и счастье, и кошка тоже...

— Кошка — это аргумент. — Кажется, князь улыбался. — А без кошки никак?

Без кошки тоже можно, но это уже совсем не то... неправильно. У них вот кошка имела. Полосатая, дворовая, с желтыми круглыми глазами. Она жила долго, а как родителей не стало, то ушла, будто не могла больше оставаться в опустевшем доме.

Лизавете же уйти было некуда.

И она вздохнула.

Говорить... сестры у нее хорошие... и маги сильные, но женщины... кто даст стипендию женщине? Все же знают, что женское предназначение дар передать детям... а они сильные маги. Несправедливо же? Лизавета ходила... искала... просила ссуду или вот направление... бывает, что купцы магам учебу оплачивают, а те после работают. Но купцы тоже не желали... у них имелись кандидаты.

Послабее.

И может, не такие умные, зато мужчины... Несправедливо же!

— Несправедливо, — согласился Димитрий.

А она сестер сама учила, у нее конспекты сохранились, и пусть не по профилю, но лучше так, чем никак — был бы шанс попробоваться в открытых состязаниях, которые каждый год устраивают. И Лизавета всерьез о них думала, а после узнала, что женщин на них даже не регистрируют.

Чтобы урона мужской чести не нанести.

Какой урон среди целителей? Или вот...

— Исправим, — пообещали ей, и Лизавета, вздохнув, поверила. Всенепременно исправят...

В третий раз она очнулась в своей комнате.

ГЛАВА 32

Ее императорское величество полулежала в кресле, окруженная дамами, большею частью пребывавшими в превеликом возбуждении, если не сказать — возмущении. Впрочем, оное они, памятуя о последствиях и очень уж крепкой памяти императрицы, продемонстрировать опасались.

Разве что...

— Ах, это так волнительно... — Княгиня Северцова в свои девяносто семь лет сохранила не только ясный разум, но и весьма соблазнительную внешность. Одевалась она по моде и с шиком, который прочие пытались повторить, но...

Не всем быть Юпитерами.

Северцова могла позволить себе меха в июле месяце.

И ярко-розовую тафту, которая на прочих смотрелась бы превульгарнейшим образом, особенно в сочетании с опалами.

— Что именно? — Ее императорское величество вышивала. Точнее, она сидела подле станка, развернутого к окну, и держала на коленях корзиночку. Пальцы перебирали нити, будто императрица все не могла определиться, скажем, с оттенком алого...

— Все. — Северцова раскрыла веер. — Вы и вправду полагаете, что этакое знакомство... с миром реальным пойдет девочкам на пользу?

Страусовые перья, выкрашенные в тот же ярко-розовый, вызывающий колер, трепетали. Поблескивали камни на пальцах и браслетах княгини, пылал румянец на высоких скулах, и следовало признать, что нарисован он был преотличнейше.

А еще, что впечатление Северцова производила вполне определенное: женщины яркой, но оттого, по мнению мужчин, недалекой. И не только мужчин.

Ей завидовали.

О ней сплетничали, благо поводы Северцова давала легко, будто вовсе не задумываясь о своей репутации.

Ее ненавидели... и все одно не принимали всерьез, хотя стоило бы.

Вот императрица эту роскошную маской не обманывалась, помнила, что пару десятков лет назад Северцова, потерявши в бунте мужа и троих сыновей, не сбежала за границу, верней, благоразумно перевела капиталы в Ганзейский банк, оставила родовое имение, но лишь затем, чтобы вернуться во главе отряда наемников.

Три сотни — не так уж много, но...

Три сотни обученных магов, которым было обещано прощение за все, что бы ни сотворили они во время войны или до оной.

Три сотни, взявшие сорокатысячный Минск, а после удерживавшие его в течение двух лет. И не только его. Княгиня с легкой руки объявила о восстановлении некогда независимого княжества Менского, и... нашлись те, кто с удовольствием ее поддержал.

Нет, после уже, когда объявился законный император, она с той же легкостью присягнула ему, тем самым проявив завидное благоразумие. А вот магов, от которых уцелела десятая часть, при себе оставила.

Мало ли...

Слабой женщине защита пригодится.

— Это... это просто ужасно, — наконец, ободренная примером своевольной Северцовой, вступила баронесса Хирмгольд. — Бедные девочки...

— Почему бедные? — Северцова пренаглейшим образом закинула ногу на ногу, и подол короткого, пожалуй, чересчур уж короткого даже с учетом современной моды, платья скользнул, позволяя разглядеть подвязку.

С бисером.

И поговаривали, что не так давно Северцова завела нового любовника, совсем еще юного.

— Моя дочь... она... никогда... не сталкивалась с подобным.

— Это зря. — Северцова покрутила в пальчиках мундштук. Курить в присутствии ее императорского величества она не стала бы, все ж понимая, что еще существуют некоторые границы. — Иногда стоит столкнуться. Снять розовые очки и увидеть жизнь такой, какова она есть.

Мелькнуло во взгляде что-то такое...

— Вам ли меня понять!

— Действительно...

— Ни одна мать не пожелает своему ребенку подобного... это... это... в конце концов, это униительно! — Хирмгольд оглянулась в поисках поддержки, и дамы торопливо закивали.

— И что ж тут униительного? — Северцова ногу опустила и юбку поправила, впрочем, скромнее выглядеть оттого не стала.

А родовое поместье она все ж восстановила, и не только его. Землями она управляла жестко, порой и жестоко, напрочь выкорчевывая и намек на вольнодумство. Помнится, в позапрошлом году жалоба пришла, дескать, несчастных студентов высекли прилюдно. Даже расследование проводить пришлось, правда, лишь затем, чтобы установить, что действовала Северцова исключительно в рамках закона. И кому какое дело, что закон этот был принят триста лет назад, когда еще удельные князья имели подобное право.

Имели.

Приняли.

А вот отменить то ли позабыли, то ли...

— Все это!

— Помилуйте... каким образом чужое горе способно вас унизить? — и в голосе проскользнули ледяные ноты.

А еще Северцова держала с десятков приютов, которые по велению ее открыли при храмах — поговаривали, священники были не слишком рады, но она пригрозила, что перейдет в бриттскую веру, по которой храмы не больно-то нужны, а священникам и вовсе придется довольствоваться малым, — и школы для девочек. И не просто выделяла деньги — хотя большей частью за приюты и школы платили именно храмы, — но и ежегодно инспектировала их, проверяя, куда оные деньги уходят и какие порядки в школах держатся.

— Если уж ее императорское величество не чурается проявлять милосердие к бедным, то и вам должно быть не зазорно... с вашей-то набожностью...

Хирмгольд скривилась, впрочем, быстро взяв себя в руки. А ведь верно подмечено... набожная она, пожалуй, даже чересчур.

Молебны.

Посты.

И ежегодно святым местам поклониться ездит. И главное, большим обозом...

Ее императорское величество сквозь ресницы разглядывала баронессу с немалым любопытством. Она и прежде при дворе являлась, хотя и держаться предпочитала наособицу, всем видом своим выказывая мучительную жалость к тем, кто чересчур уж грешен...

Что изменилось?

А ведь святые места... храмы... нет, вера людям нужна, но ведь она разною бывает, а уж служители ее тем паче. И если возвращению императора радовались все, то после... от него ждали чуда, не меньше, что волей своей перечеркнет он годы Смуты и возродит империю во всем былом ее величии.

Восстановит дворянское право.

И вольности исконные.

И...

И церковную десятину вернет, а с нею и все, из церквей бунтовщиками изъятое. Он же постановил все, у бунтовщиков изъятое, в казну передать, а уж что из этой казны пришлось города восстанавливать, хлеб покупать, нанимать целителей и магов, чтобы возродили поля...

Останавливать эпидемии.

Отстроить деревеньки.

Дать подъемные и помочь семьям, потерявшим кормильца, а таких было не тысячи и не сотни тысяч — миллионы.

Нет, храмы и погодить могут, в отличие от людей.

Не всем понравилось.

А после и реформы, которые император проводил жестко, и люд, уставший от войны, принимал, не из понимания, но из страха, что Смута вернется... Не вернулась. Реформы же... сколько отыщется тех, кто решит, что прежде было лучше?

Что с наследником сладить будет проще, чем...

А ведь баронесса в девичестве Бурлякова. Род весьма древний, почтенный, из тех, которые всегда у трона были — то ли опорой, то ли стражей, но Смута изрядно пошатнула их власть, восстановиться-то восстановились, однако ныне представляли лишь тень былого могущества.

Ее императорское величество протянула баронессе корзинку.

— Мне кажется, — произнесла она тихо. — Что тем, кто красив, богат и успешен, не след забывать о других... что Господь...

Ресницы чуть дрогнули, ибо эта вера была все же не совсем понятна, хотя за годы жизни среди людей императрица привыкла играть и в веру тоже.

— ...завещал быть милосердным ко всем детям своим. И мне лишь хотелось, чтобы особы юные показали себя наилучшим образом. Я не сомневаюсь, что воспитанные примером родителей...

Северцова отчетливо фыркнула.

— ...они послужат примером многим... ибо человек должен помогать человеку.

Дамы зашелестели, видно споря с весьма сомнительным сим высказыванием. Ее императорское величество поднялась.

— Не стоит забывать, что именно бедность и несчастья подданных наших некогда стали причиной многих бед, и если мы сейчас малым делом способны предотвратить грядущую Смуту, то не стоит ли того ради переступить через гордыню?

Останавливать ее не посмели.

Лишь Северцова громко сказала:

— Одной молитвой, даже вашей, милая Бесси, сыт не будешь...

В покоях императрицы было жарко. Горели каминные и свечи, установленные в старинных семирожковых канделябрах. Сидела в кресле Анна Павловна, задумчиво перелистывая странички своего блокнотика.

При появлении ее императорского величества она поднялась, причем сделала это без лишней спешки, с обычным своим достоинством. Блокнотик положила меж канделябров, вздохнула, помахав перед лицом растопыренную пятерней.

— Все одно не понимаю, как вы эту жару переносите, — сказала она с легким укором. — И свет этот... может, все же пусть протянут провода?

— И поломают мне все стены? — Императрица Веревия упала в освободившееся кресло и потянулась с немалым наслаждением. — Даром, что ли, я эту красоту растила?

Яшмовые стены лоснились, будто маслом смазанные. И всякий раз мнилось, что рисунок менялся, будто медленно, неумовимо человеческим глазам текли каменные волны, складываясь в преудивительные картины.

— Да и со свечами мне привычней.

Анна Павловна ловко и весьма споро вытаскивала из золотых волос булавки, порою погнутые, порой и вовсе поломанные, уже не удивляясь тому. Бледные пальчики ее расплетали косы, высвобождая пряди. И те, благодарные, цеплялись за руки освободительницы.

— Хорошо-то как... — Императрица тепло весьма жаловала и ныне в кресле, поставленном аккурат перед камином, от души наслаждалась жаром пламени, который люди сочли бы чересчур уж горячим.

Неуместным посреди лета.

— Недовольны? — поинтересовалась Анна Павловна, но больше для порядка, потому как сама распрекрасно понимала: довольных не будет.

Понимающих — и то, если найдутся всего пара человек. И может, действительно стоило бы попроще? Пусть бы спели там, станцевали, сыграли на клавесинах, выказывая простые, незатейливые домашние таланты. Опять же, конкурс акварелек провести или стихов... стихи еще в альбомы записать можно, на долгую, так сказать, память.

А они тут с благотворительностью неуместной.

— Недовольны, — согласилась императрица с улыбкой. — Но здесь так легко забыть... забыться...

Она провела пальчиками по наборной поверхности столика. Сложенный из нескольких пород дерева, украшенный перламутром, он был роскошен.

— К сожалению, слишком мало осталось тех, кто еще помнит Смуту и не желает ее повторения. Прочие же... прочие шепчутся о том, как было хорошо до Смуты...

Гребень вновь скользил по волосам, и те рассыпались золотым покрывалом, растекались по шелку одеяния, по атласу обивки, по ковру и камню пола, становясь частью сложного узора его.

— Однажды они уже уцелели... чудом, но во второй раз чуду случиться не позволят.

Это Анна Павловна и сама понимала. Более того, порой ее несказанно удивляли и, что уж тут говорить, злили эти человеческие упрямство и глупая уверенность, что на сей раз все будет иначе. Что если поднять бунт, небольшой такой бунт, только чтобы власть

переменить, то все обойдется малою кровью.

И власть переменится.

И вольности вернутся. И подлое сословие с радостью примет возвращение древних обычаев. А если и не с радостью, то кому какое дело?

— Лучше расскажи, что там? Вернулся хоть кто? — Императрица вытянула руку, почти сунув ее в огонь, но пламя лишь ласково коснулось ладони, на которой проступила золотая чешуя.

— Вернулись... — Анна Павловна отложила гребень и взяла в руки блокнотик. — Гуляковская, Игерникова и Завихина наотрез отказались покидать экипаж. Громко заявили, что будут жаловаться.

— Жаловаться — это хорошо...

Пламя соскальзывало с ладони, а пальцы императрицы оставались белы, каменны.

— Затеяла все Гуляковская, остальные просто...

— Просто, сложно... они уже взрослые. Замуж вот идти могут, детей воспитывать... чему они их научат?

Анна Павловна склонила голову, признавая правоту ее императорского величества, но сочла возможным заметить:

— Гуляковский-старший давно при вашем супруге советником, не из дрянных, человек обязательный. А вот жену ему нашли по титулу...

— А про другое забыли...

— Именно.

— И дочь?

— Всецело супругой воспитана. Она... весьма самоуверенна... батюшка ее в фаворе, оттого и позволяет себе несколько больше, нежели прочие.

— Что ж. — Императрица руку из камина убрала. — Чужими заслугами долго жить не будешь... куда их послали-то?

— В дом призрения. В тот, помните, откуда жалоба была, что стариков морят?

Императрица кивнула.

— Подготовь им награды... по достоинству. Кто еще?

— Сестры Артемьевы в сиротский приют зашли, имели премилую беседу с директрисой. Чаю попили. Оставили по сто рублей на сиротские нужды и удалились...

Весьма собой довольные.

Они даже позировали перед этим приютом, сами пригласивши газетчика, что, следовало признать, было довольно ловко. Однако Анна Павловна не сомневалась: и этих ждет достойная награда.

— А директриса...

— Деньги, думаю, присвоила... у нее старшенький в академию поступил, а еще двое маленьких.

— Маг-то хоть сильный?

— Изрядный.

— Что ж... детей мы не тронем, но и позволить воровать... сама понимаешь.

Анна Павловна понимала. И вздохнула. И снова вздохнула, вспомнив, о чем в городе бают. Ведь мерзость совершеннейшая, а поди ж ты... находятся такие, которые верят и, поверивши, верой своей делают невозможное, облачая ложь дичайшую в правдивые одежды.

Надо бы рассказать.

Только...

Она коснулась блокнота и продолжила:

— Феликсова... тоже сиротский приют, но в Замянином дворе. С сиротами беседовать побрезговала, но, попивши чаю, затребовала книги приходные. А после прошлась по всему приюту, и на чердак заглянула, и в подвалы...

— Нашла что интересное?

Анна Павловна усмехнулась:

— Нашла, судя по тому, что директор ей взятку всучить пытался, все две тысячи предлагал, а она в него кофейную чашку кинула и непотребным словом обозвала. Феликсовы давно затруднения испытывают, видать, оттого хорошо приучена считать.

— Чудесно... кто еще отличился?

— Свяга на Старшинском погосте с сотню душ подняла...

Удивленную императрица не выглядела.

— Вы для того ее прислали? — догадалась Анна Павловна.

— Сами жаловались, что беспокойно стало, отомолить, мол, не выходит. Зато теперь спокойствие будет. Что другие?

— Артемьева, которая с нею была, чувств лишилась, а другая бойкою вышла... встала рядом и пригрозила, что если кто из батюшек дернется, то получит пулю прямо в лоб... верней, она не лоб упомянула, но то девице совсем непристойно...

— Зато действенно. — Ее императорское величество потерла руку о руку, и золотые лепестки чешуек полетели на подол. — Иные мужики яйца свои куда более головы берегут... стража?

— Велено было не вмешиваться, хотя признают, что с трудом удержали. Все ж таки люди были... несколько удивлены, а вид воплощенных душ многих... возмутил.

— Чем?

Императрица повернулась к зеркалу, которое дремало, ожидая прикосновения.

— Боюсь, это была не самая лучшая ваша идея. Пошли слухи, что свяга вашей волей оскорбила мертвых.

— Они сами их к земле привязали.

— Это верно. И те, кто получил образование, согласятся с вами, однако... — Анна Павловна все же решилась: — В городе становится беспокойно. Кто-то вполне сознательно распускает сплетни, порочащие вашу честь и достоинство. Говорят...

Она запнулась, но стиснула кулачки.

— Открыто говорят, что вы в силу своего нечеловеческого происхождения ненавидите весь род людской...

— И желаю извести? Не бойся. Дурной я была бы правительницей, не зная, о чем говорят подданные. Да, согласна, распускают слухи нарочно. И происшествие многим на руку. Люд темный большею частью поверит...

— И что делать?

— Ничего. — Императрица все ж коснулась зеркала. И каменная поверхность задрожала, пошла рябью, оживая. — К сожалению, все мы ошибаемся. Стоило послать свягу в другое место. Или не посылать вовсе... боюсь, в этом городе нет места, где не осталось бы неприкаянных душ. Вернее, не было... Охрана?

— Проят оставить их подле девиц. Опасаются.

— Оставь... еще что интересного?

Не то чтобы интересного.

Анна Павловна привычно зачитывала о делах чужих, порой не удерживаясь от комментариев. А в зеркале мелькали люди.

Вот младшая Гуляковская не слишком искренне рыдает на плече у матушки, а та крутит в пальчиках флакон ароматических солей. И выговаривает что-то резко мужчине вида простого, если не сказать — простоватого.

А тот хмурится.

Молчит.

Недоволен?

Многие будут недовольны. И почему-то кажется, что недовольство это — часть плана, но спрашивать Анна Павловна не станет, ибо знает: придет время — расскажут.

Баронесса Хирмгольд о чем-то беседует со священником. Нынешний незнаком, хотя, казалось бы, Анна Павловна знала всех, кому выпала честь служить при дворцовом храме. Но нет... молод... пожалуй, чересчур уж молод и непозволительно хорош собой. И держится привольно.

Ни тени почтительности.

Смирение и вовсе не ночевало... скорее уж складывается впечатление, будто рясу эту черную напялили на человека военного. Напялить-то напялили, а шпоры снять забыли. Вот он взмахом руки прерывает словоизлияния и, склонившись к ручке баронессы, запечатлевает на раскрытой ладони поцелуй.

Долгий такой поцелуй.

Стыдный.

И уши горят, но Анна Павловна смотрит. А зеркало гуляет по покоям...

Одна из девиц, полулежа на полосатой софе и почти сроднясь с нею полосатым же платьем, весьма экспрессивно рассказывает... О чем? Как знать! Видно лишь, как меняется выражение прехорошенького личика с растерянного до возмущенного, а после и на испуг... Кто это?

Анна Павловна должна была бы вспомнить...

Что-то чересчур уж много развелось в последнее время случайных людей, каковых и быть при дворце не должно бы. А вот же были... Прочие красавицы сидят полукружном, ротик приоткрыты, бровки приподняты. На лицах — чистый ужас...

Значит, пойдет в свет новая сплетня.

Вот служанка что-то пересказывает другой, да только та, не дослушавши, разворачивается и бьет говорунью грязным, в саже, полотенцем. А после тоже говорит, и видно, что зло, яростно даже...

Зеркало затягивало.

Зачаровывало.

Оно обещало показать...

Что?

А хоть бы мужа. Хочет Анна Павловна взглянуть? Убедиться, что занят он по-прежнему делами государственной важности, а не какой-нибудь случайною девицей? Он-то, конечно, говорит, что любит. Но много ли веры подобным разговорам?

Она ведь взглянет.

Красавица?

Уверена?

А ведь зеркало знает правду об этой красоте. И муж знает. И быть может, надоело ему притворяться, захотелось просто на минуточку узреть женщину без изъянов на лице?

— Нет. — Анна Павловна заставила себя отвести взгляд от серого марева, в котором мелькали картинки чужих жизней. — Я не буду... я не стану...

— И не нужно. — Невесомая ладошка легла на плечо. — Не слушай его. Заморочит... Суть у него такова.

ГЛАВА 33

...Стрежницкий, невзирая на возмущение целителя, выбрался-таки из постели, а потому старинную знакомую, которую, признаться, и не чаял тут увидеть, встретил в виде почти пристойном. Лакей помыл голову. Другой — отер лицо душистой водой. Щетину вот трогать побоялся, но не так уж она и заметна была, если не трогать.

Стрежницкий, правда, трогал, но не столько щетину, сколько лицо, пытаюсь избавиться от тягучей немоты обезболивающего заклатья. Вот никогда он их не любил, уж лучше честная боль, чем это отвратительное ощущение, будто лицо у тебя вовсе отнялось.

А уж чистая одежда и вовсе привела его в преотличнейшее расположение духа.

Еще бы вина...

Но вина не давали. Еды нормальной тоже, велел пить бульончики и поменьше болтать, ибо от этой болтовни случаются искажения в магическом поле, что чревато нарушениями процесса регенерации. Именно так и сказали, глядя в очи и наслаждаясь редкою возможностью продемонстрировать свой ум военному. Все ж знают, что военные хоть сильны, но крепко туповаты.

Стрежницкий запомнил.

Так, на всякий случай... нет, мстить целителю — дело дурное и Боженькою крепко неодобряемое, но... мало ли как еще жизнь повернется?

Вот он и сидел у окошка, накинувши на ноги плед, мерз и думал о жизни своей, которая, если разобраться, была кругом себе никчемной. Может, конечно, для отечества и полезно весьма, но для самого Стрежницкого — одной непрекращающейся мукою.

Правда, когда дверь скрипнула, от размышлений отвлекая, он все же руку на револьвер положил.

Мука или нет, но это еще не повод с оной жизнью расставаться.

— Вы? — Стрежницкий отчего-то совсем не удивился. Верно, не потому, что ожидал подобного визита, скорее уж настой, которым его целитель потчевал, изрядно успокаивал нервы и настраивал на философский лад.

— Я, — сказала Авдотья, озираясь.

В комнатах было не в пример чище.

И пахло лучше.

А на столе даже букет роз появился в замысловатого вида вазе. Стрежницкий, проследивши за взглядом — Авдотья была готова поклясться, что розы он только-только заметил, — стремительно покраснел.

— Это... лакеи... своевольничают.

— Бывает.

Она не знала, о чем еще сказать, и потому сказала прямо:

— Чего вам надобно от Лизаветы?

— От кого? — Он слегка нахмурился, впрочем, тут же вспомнил, о ком речь идет, и неловко этак плечами пожал. — Замуж возьму.

— Вы ее не любите!

— Не люблю, — преохотно согласился Стрежницкий. — Но когда и кому это в счастливой семейной жизни мешало?

— Вы... вы непорядочный человек!

— А вы не заботитесь о своей репутации. Что батюшка скажет, если узнает?

— Не узнает.

— Полагаете? — Говорить и вправду было тяжело. Звуки получались растянутыми и отчего-то отдавались в голове пренеприятнейшим образом.

— Вы же не скажете. — Авдотья заняла второе кресло, сбросивши на пол не слишком чистую рубашку. Все ж прислуга, пусть и появилась, должного рвения при уборке выказывать не спешила.

— А если...

— Тогда я скажу, что вы сами меня пригласили и вели себя недостойно. — Авдотья всхлипнула, и по щечке ее покатились слезы. — Обесчестить порывались, а потому просто-таки обязаны жениться.

Вот тут Стрежницкий прямо закашлялся.

Жениться?

Он обещал и собирался, но... не так же скоростаживно! Да и вообще... одно дело — искать мифическую супругу, которая, быть может, на счастье его, и не найдется никогда — все ж дело это долгое, требующее особой тщательности и внимания, — и совсем другое — идти к алтарю в самом скором времени.

А с генералом от инфантерии не поспоришь.

Норов у Пружанского всегда крутым был.

Он голову снесет и извиняться не станет, если только взбредет в оную мыслишка, что Стрежницкий, скотина паркетная, деточку обидел. А она, вспоминая собственную Стрежницкого репутацию, взбредет всенепременно.

— Потому предлагаю поговорить миром, — предложила Авдотья, прескромно складывая ладошки на коленях. А Стрежницкий только и сумел, что кивнуть.

— Так все же, чего вам надобно от Лизаветы? — Авдотья погладила серое с искрой сукно. И поди ж ты, платьице гляделось нарочито скромным, строгим даже, а вот чулочки кофейного колеру дразнили взгляд. — Только, пожалуйста, не надо врать. Я многое про вас знаю.

— Что, например? — Он все же попытался подняться, дотянуться до графина с водой, ибо в горле пересохло то ли от волнений, то ли от целительских заклинаний.

— Например... — Авдотья встала и шлепнула его по руке. — Сидите уже, герой-недобиток...

Почему-то стало обидно.

— Я не...

— Недобиток? Или не герой?

Стрежницкий засопел. Между прочим, он вдвое старше этой... этой пигалицы, которая совершенно не понимает, чего творит. А если ее кто видел? Это же дворец, тут и стены стоглазы, не говоря уже об ушах. И полетит-понесется сплетня, подробностями обрастая. После хоть прилюдный осмотр целительский устраивай, все одно не поверят, что покинула она эти покои невинною.

И ведь слух, появившись он, всенепременно до Пружанского дойдет.

— Знаю, что вы появляетесь, когда случается нечто... до крайности неприятное, но требующее решения тихого... — Она наполнила стакан водой и подала. И пальчики ее влажные были теплы. — Батюшка не любит вас вызывать. Становится мрачен, зол. Кричит на офицеров. Правда, он и так на них кричит, но иначе... поймите, я же там выросла. Я многое вижу. И многое знаю. К примеру, когда паши патрули раз за разом

вдруг исчезают или когда тропы пустеют, те, по которым караваны через границу ходят... Значит, где-то новые проложили и повезут по ним вовсе не приправы с шелками.

Она помогла напиться и, заглянув в глаза, строго сказала:

— Не дурите. Вернитесь в постель. В этом вашем... геройстве никакого смысла нет.

Стрежницкий мотнул головой: вот еще, будут тут всякие ему указывать... пигалицы. Она же лишь вздохнула и поставила стакан на место. Вернулась в кресло. Села. Юбку, приподнявшуюся было почти неприлично — еще немного, и коленки видны станут, — одернула.

— В последний ваш раз папенька даже не ругался. Стал мрачен. Ходил, бормотал что-то... и аманте своей от дома отказал.

— Что?

Не то чтобы Стрежницкий полагал старинного приятеля столь уж далеким от обыкновенных мирских радостей, но вот одно дело — аманту завести, одинокому генералу простительно, и совсем другое — чтобы взрослая дочь об этом узнала.

Она же рукой махнула.

— Бросьте... или вы, как папенька, полагаете, что мне вечно будет пять лет? Я вижу. Она неплохая женщина. Вдова. Порядочная. И ему подходит. Я даже папеньке сказала, что буду совсем не против, если он сделает предложение.

Стрежницкий зажмурился, пытаясь представить выражение генеральского лица. Надо же... жениться на аманте...

— Если уж встречается лет десять, может перестать женщину мучить...

— А он?

— Раскричался... ему, между прочим, целитель велел беречься. Настой успокоительный прописал. Так он упрямый же... как некоторые. И не сверкайте тут глазом, на меня это не действует... в тот раз... я знаю, что пропали какие-то бумаги. И папенька велел срочно поменять маршруты, пароли... многое, что меняется только в особых случаях. А еще задержал троих, но их же после и отпустили. Велкуцкого вот сослали, но он точно не при деле был. Папенька просто случаем воспользовался... И правильно. Велкуцкий редкостной сволочью был, пусть себе в другом месте послужит.

Стрежницкий с трудом удержался, чтобы не выругаться.

Нет, он, конечно, понимает, что на заставах свои порядки, что городок маленький, на сплетни бедный и все на виду, однако же...

Велкуцкого, к слову, отнюдь не ложно обвинили. Деньги он брал от соседей недобрых и действительно не за шелковый путь. Самолично опийное молочко перевозил, а с ним кое-что похуже, так что свои пятнадцать лет каторги милостью его императорского величества он заслужил сполна.

Но девице-то, пусть и генеральской дочери, о том ведать — лишнее.

Она же усмехнулась:

— Папенька их разворошил... не смотрите вы, право слово, граница же, там без шпионов никак. Но обыкновенно они тихонько сидят, папенька порой сам им новостей подкидывает, а они нам, стало быть.

Вот такое, мать его, глубокое душевное взаимопонимание, о котором все знают, да помалкивают, понимая, что лучше один известный шпион, чем десяток новых, к обычаям не приученных.

— Но в тот раз что-то было не так... батюшка вас и позвал. А вы по границе поездили, дозоры проведали, а после роман завели с Шавельевой.

Стрежницкий прикрыл глаза, прикидывая, не притвориться ли ему умирающим.

— И папенька Шавельеву еще выговор сделал, когда тот пришел справедливости требовать, мол, сам жене попустительствовал. А после вашего отъезда Шавельева в отставку отправили. И я много думала, а потом поняла. Она ведь никогда не скрывала, что желает красивой жизни. Шавельев ее обожал, боялся, что бросит, все прощал... Она красивой была. Яркой.

А еще достаточно верткой, чтобы управиться сразу с тремя любовниками. И ведь умудрялась же повернуть так, что никто из троицы о соперниках не догадывался... Влюблялись? Может, и так. Там, на границе, все немного иначе.

Чувства ярче.

Нервы больнее. И кажется, будто каждый день — последний. Вот и горят, спешат жить. Ее полагали глупенькой, наивной девочкой, которая неудачно вышла замуж, а теперь не наберется решимости мужа оставить.

А она...

Много ли надо, чтобы заглянуть в чужую планшетку? Отснять бумаги? Передать нужным людям и получить достойное, как ей казалось, вознаграждение? Она ведь никого не убивала. Она просто...

Жила.

И продолжала жить где-то там, в уйгурском поселении, быть может, приспособившись. Поговаривали, что иные и неплохо себе устраиваются, мужей ищут, детей рожают, напрочь забывая о прежней жизни. Стрежницкий, правда, сомневался, что она из таких.

— Про Шавельевых посплетничали, и только. Папенька устроил офицерам очередной разнос. Кого-то там повесили, шпионом объявив. Кого-то в столицу переслали под конвоем. А вы уехали... и появились тут.

— Вообще-то я тут живу, — счел нужным уточнить Стрежницкий.

— Знаю... живете себе, живете... и вдруг влюбляетесь в простую девушку Лизавету. К слову, и вам тоже не след бумагами разбрасываться. — Взгляд Авдотьи был холоден. — Мало ли кто в них нос сунет...

К примеру, одна невоспитанная девушка.

— И мне любопытно, в чем таком вы ее подозреваете? — спросила Авдотья.

— Защищать станете?

— Не знаю. — Авдотья сцепила пальцы. — Я выросла на границе. Я знаю, что порой люди совсем не те, кем кажутся. Однако я не хочу, чтобы, если ваши подозрения окажутся неверны, Лизавета пострадала...

— То есть все-таки станете...

Она махнула рукой и поднялась.

— Она помогла мне... вы, верно, знаете?

Стрежницкий кивнул и вежливо поинтересовался:

— Как вы себя чувствуете?

— Препоганейше, — призналась Авдотья. — Сперва... я хотела ей рассказать. Предупредить, что вы не совсем тот человек, за кого себя выдаете. А потом... потом подумала, что, если вы правы? И тогда, рассказав, я все испорчу. Она милая. И добрая. Отзывчивая... а еще другая.

— В каком смысле?

Стрежницкий потрогал щеку и вновь получил по пальцам.

— Что вы творите? — Авдотья разозлилась не на шутку. — Вы руки мыли? У вас раны рубцуются. Занесете заразу и вовсе без головы останетесь. Впрочем, я смотрю, она вам не особо и нужна.

— Извините...

— После извиняться станете... ей-богу, как дитя малое, а взрослый человек, маг... геройствуете тут... Она искренняя, я чувствую. И еще за всеми будто смотрит. Со стороны. Знаете, такой взгляд порой бывает... в пансионате была наставница одна, историю искусств вела и еще акварели. Так вот, она за мольберт садилась и смотрела вроде бы на нас, а у самой что-то там в голове. Акварели преотменнейшие выходили. И она тоже... запнется, задумается, а о чем? Поди догадайся...

Стрежницкий поднялся.

— Вы куда собрались?

— В постель, как велено. — Он дотянулся до кровати и рухнул-таки в мягкие перины. — Буду лежать, не геройствуя. А что до вашей подруги, то... узнайте о ней побольше.

— И вам передать?

— Если сочтете нужным. Я никому не желаю зла. — Он вдруг понял, что усталость вернулась, та самая, от которой он прятался во дворцовых стенах, отгораживаясь от нее и еще от тоски развеселую разгульной жизнью. — Но у меня свой долг.

Авдотья кивнула.

Поняла ли?

Впрочем... Стрежницкий давно уже перестал надеяться, что кто-нибудь когда-нибудь его поймет. Выслушала? Уже ладно.

ГЛАВА 34

Снилась Лизавете тайга.

Белым-бело.

Белый снег. Белые ветви редкого кустарника. Заиндевевший мох на валунах. И Едэйне Заячья Лапа, которая устроилась аккуратно на самом большом. Она сидела, держа в руке люльку, и длинный изогнутый мундштук трубки касался белых губ. Намазанное собачьим жиром лицо блестело.

И бисер на высокой шапке.

Босые ноги прикрывал бубен, который Едэйне лишь придерживала.

— Ай, хорошо, — сказала она шурясь. — Ай, молодец... не забыла... слушала. Слышала. Слушай и дальше. Хорошенько слушай. А не будешь, я тебя поколочу.

И погрозила оленьей обглоданной костью.

А после закинула ее за спину не глядя. И где-то далеко взвыли волки.

— Главное, не бойся.

— Я и не боюсь, — ответила Лизавета, хотя тени волков проступали в белесом тумане.

— Это пока. — Едэйне ударила в бубен, и мир задрожал. А голос ее донесся эхом. — Это пока...

И сон прервался.

Лизавета открыла глаз. Потом другой. Потолок был уныло-сер, стены не лучше. Трепетал одинокий огонек под по темневшим колпаком керосиновой лампы.

Пахло свежим хлебом.

А еще покои были определенно чужими. Вот в ее собственных и обои иные, и деревянных панелек — Лизавета даже постучала по ним, убеждаясь, что не примерещилась, — не имелось, равно как и тяжелой люстры с трех рожках. На рожках этих довольно бодро поблескивали хрустальные капельки, шевелились, плодили тени.

— Где я? — шепотом спросила Лизавета, скорее со страху, чем и вправду ответ получить надеясь.

— В гостях, — произнес кто-то, и в дальнем углу пошевелилась тень.

Впору было бы завизжать и рухнуть в обморок, приличествующий месту и случаю, но Лизавета лишь моргнула и дрогнувшим голосом велела:

— Не подходи!

— Не подойду, — ответила тень презнакомым голосом. — Ноги затекли, между прочим...

— А... — Лизавета проморгалась.

Все ж света было маловато.

Вот шторы тень задернула плотно, однако лунный свет пробрался, растянулся дорожкой по темной глади стола. Тронул статуэтку массивную, облил молоком мраморную голову, венчавшую башню из папок. Коснулся пола... и расплылся белесым пятном.

— Бэ, — ответила тень, все ж пошевелившись. — Знаете... если кричать вздумаете, я скажу, что вы сами сюда пробрались!

И от возмущения Лизавета язык прикусила. Во-первых, кричать она и не думала, хотя, конечно, сие было бы весьма логично. Во-вторых... сначала похитили, а потом

измываются.

— Может, — в голосе против желания прозвучала обида, — вы свету прибавите? А то ж не видно ничего.

— А что вам должно быть видно?

— Вы. Кто вы?

Тень засопела, как показалось, с некоторою обидой.

— Вот так, — произнесла она спустя минуту. — Спасаете девицу от собственной дури. Таскаете ее на руках. По саду крадетесь, аки тать в ночи, чтоб, не приведи Господь, репутации урона не вышло, а после выясняется, что она тебя и не помнит.

Спасаете?

Таскаете?

По саду?

Сад Лизавета помнила распрекрасно, а еще непонятное прежде самой желание поговорить. А главное, желание исполнившееся, ибо она говорила...

И говорила.

И мамочки, она даже не помнит, что именно ему говорила. Рассказывала про сестер? Определенно. Но в том крамолы особой нет. Родители? И тут не тайна. А вот газета... или... если бы она проболталась, то, глядишь, очнулась бы отнюдь не в чужой постели — тоже, если подумать, невелика радость, однако, с другой стороны, уж лучше эти пахнущие мятным листом перины, нежели замковые подземелья.

— И... извините, — выдавила Лизавета, ощупывая себя.

Платье присутствовало, правда, лучше было не думать о том, как оно выглядело после таких-то приключений. А вот чулки сняли...

— Ничего, бывает... магическое истощение — штука неприятная.

Он все-таки поднялся и дотянулся до стены. Медленно загудели, наливаясь светом, лампы. И Лизавета зажмурилась, потребовав:

— Не смотрите на меня!

— Почему? — искренне удивился князь.

— Потому что...

— Веская причина.

— Я... я выгляжу... неподобающе. — Она подняла одеяло, к слову, толстое и весьма уютное. — И вообще, это неприлично... и если кто-то узнает...

— Я на вас женюсь.

— И вы тоже?

— А что, еще желающие имеются? — Князь произнес это с насмешкой, и Лизавета обиделась: можно подумать, она столь никчемна, что и жениха у нее быть не может.

— Имеются...

— Ничего... как были, так и не станет.

Как-то зловеще сие прозвучало. И наступила тишина. Она тянулась, тянулась, пока князь не поинтересовался:

— Вы кофею хотите?

— Хочу, — ответила Лизавета, и в животе громко так заурчало.

— И не только кофею. — Князь Навойский определенно сделал правильный вывод. — Я выйду, а вы пока пройдите в ванную комнату, если, конечно, хотите. И да, горничную я вызвать могу, но сами понимаете...

Лизавета понимала.

Чем меньше людей знают, где она, тем больше шансов, что удастся выбраться из нелепой этой истории без потери репутации. Ах, если бы тетка узнала...

Хорошо, что не узнает.

Ванная комната была огромна, пожалуй, больше, нежели их с тетушкой квартира, и не в пример роскошней. Лизавета потрогала и саму ванну, высеченную из черного камня и поставленную на золоченые лапы, и краны, что сияли невозможным блеском. Оглядела себя в зеркале, придя к неутешительному выводу: за честь свою можно не опасаться. Ни один мужчина в здравом уме — а князь производил впечатление именно мужчины здравомыслящего — на такую красоту не польстится.

Платье было мало того что мятым, так еще и грязным.

Изрядно грязным.

Подол прямо-таки похрустывал в пальцах, осыпаясь рыжею глиняной крошкой. К юбке присохли чахлые травинки, какой-то мох и даже жук раздавленный, к счастью, в единичном экземпляре. Чуть выше пояса виднелся выводок мелких дырочек, будто искрой прожженных. Пуговица потерялась.

Две пуговицы.

И чулки.

И... ботинки. Если потерю чулок можно было пережить, то вот что с ботинками делать? Лизавета пошевелила пальцами, раздумывая, сумеет ли она ногу до раковины задрать или все ж придется побеспокоить царственного вида ванну.

Она вздохнула.

И решительно приподняла юбку. Почистить она ее попробует, все ж курс бытовой магии проходила, но не сказать, чтобы сия полезная наука так уж увлекла Лизавету. Да и сил...

— Не вздумайте колдовать! — раздалось из-за двери. — Если, конечно, не хотите остаток месяца провести у целителей...

Лизавета не хотела.

Но... и так оставить невозможно. Ноги она все же помыла и, намочивши полотенце, кое-как оттерла глину. Может... если попросить... князь — маг, а значит... платье, конечно, полностью не отчистишь, глина на редкость въедлива, но хоть как-то...

Она ополоснула лицо.

Кое-как пригладила волосы, не решившись, впрочем, трогать чужие гребни. Вздохнула. Сколько в ванной ни сиди, а выходить на люди придется.

Меж тем князь разжился кофеем, и не только им. На круглом столике со слегка оббитым краем Лизавету ждали хлеб, ветчина и махонькие, с мизинчик, огурцы в банке. Банка была пыльновата, но огурцы... запах вновь пробудил к жизни желудок.

— Извините.

Димитрий махнул рукой и сам сказал:

— Чем рад... я тут многое не держу, а дергать кухонных... Садитесь. Вам надо нормально питаться.

— А вы... — Лизавета потопталась. — Вы не могли бы... почистить?

Он вздохнул и покачал головой, покраснел слегка, признаваясь:

— Никогда она мне не давалась. Я могу попробовать, но есть изрядный шанс, что вы вовсе без платья останетесь. Я-то, конечно, компенсирую...

— Не надо!

Вряд ли можно компенсировать позор.

А Лизавета, кажется, и без того опозорилась... уехала своевольно, бросила всех, не дождавшись фрейлины. Исчезла. Если подумать, что князь никому не сообщил о местонахождении Лизаветы, и... и что о ней подумают?

Вот-вот.

Она не без опаски уселась в креслице, обтянутое изумрудным штофом, и взяла кусок хлеба. Покосилась на князя, который с немалым любопытством наблюдал за нею, и положила на хлеб ветчину.

Кусок.

И даже два.

Взяла огурчик. Откусила. И зажмурилась: красота какая. Лизавета огурцы жаловала весьма даже, чем приводила тетушку в несказанное волнение, ибо любовь к соленым огурцам пристало выказывать девицам в положении, а Лизавета...

Она без положения.

Она для души.

И кофей, крепкий, сладкий, пришелся кстати.

— Спасибо вам, — она заговорила, лишь доев. — За... за все... и не волнуйтесь, я никому не расскажу, что вы здесь... что прячетесь.

Конечно, не расскажет, ибо Дмитрий собирался взять слово, и отнюдь не простое. Оно-то, может, кто другой и обыкновенному обещанию поверил бы, но...

Рыжая сидела, поджавши ноги.

Глядела темными глазищами. И рыдать не пыталась, но соорудила себе еще один бутербродец, в который и вцепилась без малейшего стеснения. А он-то готовился, капли вон в кармане припрятал.

Успокоительные.

Капли, к слову, выписали князю по настоянию приятеля, ибо работа пренервная, вредная для здоровья. Вот бы и пригодились девицу успокоить.

Надо было ее в выделенные покои препроводить, кликнуть целителя там... а Дмитрий в сад потащил.

В беседочку.

И там слушал, утешая... не то чтобы рыжая жаловалась, скорее рассказывала сразу и обо всем.

Про Север... надо будет отправить туда добровольцев из университета, а то ж не дело, право слово, этакие таланты обретаются, а в столице про них ни духом...

Про тайгу.

Про обряды... родителей и переезд... случай... тут, конечно, Дмитрий не больно-то

понял, ибо у рыжей язык от усталости заплетаться начал, но разберется, всенепременно разберется. А после она вовсе уснула, уткнувшись носом в его плечо.

А он не придумал ничего лучше, чем сидеть, пока не озяб.

— Знаете, — она дожевала огурец, — а меня теперь, наверное, выгонят...

— Не выгонят.

Ее императорское величество к талантам чужим весьма равнодушна была, да и к Лизавете внимание и прежде проявила.

— А...

— Скажите, в самом-то деле чего вы на конкурсе ищете? — спросил Димитрий и присоединил к просьбе толику магии. Может, конечно, и нехорошо... и очень нехорошо... ему доверяют, а он ментальную магию использует. Да и еще против человека беззащитного, ибо магическое истощение не только на магии сказывается. Лизавета растерянно моргнула, застыла, рот приоткрывши, и неожиданно произнесла:

— Вы даже симпатичный. Только замученный какой-то...

Догадалась?

И уводит беседу в безопасное русло? Или... очередная случайность? Не может же такого быть, чтобы девица без особых ментальных способностей...

Хотя...

Чему она еще на том Севере научилась?

А все академики — мол, только классическая наука... вот пусть и объясняют с точки зрения этой науки, как один маг-слабосилок на пустыре чудо совершил.

— И все же... — Он уловил взгляд.

Темные глаза.

Черные почти. С блеском. С поволокой. И глядеть бы в них, глядеться...

— Мужа... наверное... счастья, — она отвечала, не отводя взгляда, и было в том что-то донельзя... неправильное?

Как и в том, что он делал.

— У меня сестры... им учиться надо. — Пухлые губы шевелились. — Я не делаю ничего дурного... я не...

Зачем он ее поцеловал?

Не иначе, с усталости.

Конечно.

Поцелуй получился со вкусом огурца. А вот пощечина... вышла звонкой.

Лизавета бить князя не собиралась. Во-первых, чревато, во-вторых... просто само получилось. Может, и вправду в старую деву перерождается? Или во всем виновата жизнь ее бестолковая? В университете роману завести не успела, а после... сперва не до них было.

Потом же...

Газетная братия, она и сама нравов вольных, и людей иных полагает такими же. Вот и случилось... всякое... слов-то не понимают.

Пощечиною, оно вернее как то.

— Извините. — Лизавета спрятала руку за спину.

— Это вы меня извините. — Дмитрий потер щеку. — Я... право слово, не знаю, что на меня нашло...

Умопомрачение.

И на Лизавету тоже, если она сидит и жалеет, нет, не князя, а себя, дуру несчастную, которая и поцеловаться без приключений не способна. Оно, конечно, репутация репутацией, но... руку на сердце положа, ей ведь понравилось.

Она ведь...

Не то чтобы совсем уж не целовалась, но тогда, давно, когда Лизавета почти уже влюбилась и согласилась на свидание с тем симпатичным парнем из огневиков. И прогулка была под луной. И даже стихи, которые ей читали, слегка запинаясь и местами перевирая строки. И букетик маргариток, выданных с центральной клумбы.

И поцелуй.

Холодный, слегка слюнявый. Неловкий. В отличие от нынешнего.

Она вздохнула.

И князь тоже.

— Наверное, — сказал он, глядя куда-то вбок, — мне стоит препроводить вас... в покои... вам следует отдохнуть... вам не стоит волноваться. Целители подтвердят, что вы провели вечер в больничном крыле...

— И ночь?

— И ночь. — Князь поднялся и подал руку. — Уверяю вас, подобное не повторится...

А жаль.

Но мысли эти, не приличествующие особе, пусть не юной, но все еще невинной, Лизавета с печальным благоразумием оставила при себе.

ГЛАВА 35

Третью девицу Лешек обнаружил сам.

Не спалось.

Он, конечно, прежде особой бессонницей не страдал, а тут вот... то ли шелестело что-то, то ли тени суеились. Лунный свет проникал сквозь портьеры, перина показалась вдруг жесткой и комковатой, а голова налилась тугой тягучей болью.

Вот эта-то боль и разрушила престранное оцепенение, в котором Лешек пребывал.

Он выбрался из постели.

Встал босыми ногами на паркет, еще сохранивший остатки тепла. Пальцами пошевелил, кровь разгоняя. И прислушался.

К себе.

К миру, который определенно был неспокоен. И пусть прежде Лешек за собой не замечал подобной особенности, но... маменька говорила, что молод он, а Полозова кровь пусть и просыпается, но далеко не сразу. И выходит, все же просыпается.

Лешек накинул халат.

Беспокойно.

А главное, он сколько ни пытался понять причину этого беспокойства, но не выходило. Он поморщился и, прихвативши саблю — магия магией, но порой холодное железо куда как полезней, — выглянул из спальни.

Девушка обнаружилась на ковре.

Том самом, подаренном послами Осеманской империи. Ковер был хорош и, что уж тут говорить, любим. И девушка на нем смотрелась вполне себе гармонично.

Она лежала, подвернув левую ногу и вытянув правую, закинув ручки за голову. Широко раскрытые глаза пялились в потолок, будто силились разглядеть в нем, украшенном единственно тяжелой люстрой о семи рожках, нечто особенное. На прехорошеньком личике застыло выражение удивленное.

На шее девушки виднелся бант.

Меж белых грудей — почему-то нагота ее Лешека не смущала совершенно — лежала роза.

Лешек моргнул.

И еще раз.

И вздохнул. Вышел из покоев, отметивши, что казаки стоят, где и положено, и спать не думают: глаза широко раскрыты, да только... Лешек провел рукой перед лицом одного, затем и другого. Не моргнули даже. И вот как сие понимать?

Он вздохнул и отправился искать Митьку.

Затея с конкурсом нравилась ему все меньше и меньше.

Святой отец Святозар, пребывавший хоть и в заключении, однако не в темницах, на просьбу ответил кивком. Мол, взглянет.

Отчего ж не взглянуть.

Он, лишенный по ночному времени обычного своего одеяния, гляделся еще более жалко, нежели в нем. В ломаных линиях его фигуры и угадывалась прежняя сила, и виделось

нынешнее бессилие. Иссохшая рука. Тонкая нога. И запах камфоры, смешанной с травами. Впрочем, с лица отец Святозар стал выглядеть поприличней.

— Благодарю вас, — сказал он, когда Димитрий подал ему рясю.

— Не за что...

Навойский помог Бужеву облачиться и спросил:

— А вы ничего... не ощутили?

Тот покачал головой:

— Мне прописали снотворное. И, признаюсь, я был настолько слаб, что принял его. К сожалению, они начали возвращаться.

Он заковылял, опираясь на плечо Димитрия.

А суда не избежать, и пусть будет он непубличным, но все одно состоится, ибо за совершенные преступления срока давности нету. И Бужев не может о том не знать. Да и... не надеется он на милосердие, скорее уж, глядя на то, как идет он, на скупые движения, на изуродованное лицо, появляется мысль, что именно смерть и примет за милосердие.

За искупление.

Впрочем, более до самых покоев цесаревича Бужев не произнес ни слова. Лишь остановился подле казаков, которые все еще стояли, вылупившись в темноту.

Он коснулся пальцами лба старшего.

Прислушался.

Нахмурился.

И произнес:

— Это душевники.

— Кто?

Святозар покачал головой, мол, потом.

— Я сниму, но... им надобно к целителям, а лучше вовсе от дворца. Подобное воздействие не проходит бесследно.

Что он сделал, Димитрий не понял. Почувствовал слабый, на грани восприятия, всплеск силы, и казаки рухнули на пол.

— Это не страшно. Просто мышцы свело. Видимо, стоят они так давненько, часов несколько как минимум. Душевники воздействуют на разум, но у тела он собственный. Кликните кого к ним.

— Умрут?

— Нет, но мучиться судорогами будут. Кровь застоялась.

Ничего, пускай помучаются, ибо пока посторонним здесь делать нечего. А казаки... Димитрий на них был зол невероятно. Пусть и понимал, что вины их в случившемся нет. Амулеты ментальной защиты так и остались нетронутыми.

А может, рыжую привести? Что у нее за силы?..

Вот именно.

Что за силы? И если она пустырь к жизни возродить способна, может ли она усыпить двух здоровых мужиков? Вот то-то же... и пусть вечер нынешний, да и половину ночи

рыжая провела при собственной Дмитрия особе, но...

А если и ему внушили?

Нет, этак вовсе обезуметь можно. Был вечер. И посиделки. И допрос, к слову, ничего не давший. И поцелуй был. И пощечина, от которой щека ныла. Дмитрий потрогал ее и сам себе улыбнулся, хотя, видит Бог, ситуация к смеху не располагала совершенно.

Девушка налицествовала.

Лежала себе, пусть и прикрытая простыней. Лешек сидел здесь же, в креслице. В белой рубахе и портках, босой, растрепанный, вид он имел совершенно не царский. Сабля лежала у ног. Руками Лешек вцепился в волосы. Он раскачивался, и губы шевелились, будто цесаревич беседовал с кем-то, Дмитрию невидимым. Впрочем, он встрепенулся и сказал:

— Ее убили не здесь.

— Позвольте? — Святозар отпустил плечо Дмитрия. — Не уверен, что смогу многое, но...

— Делайте, что сочтете нужным.

Святозар стянул рясу, оставшись в сером подряснике. Он закатал рукава, обнаживши рыхлую, побитую язвочками кожу.

А ведь до суда он, может статься, и не дотянет.

Он склонился над телом, и показалось в какой-то момент, что упадет. Но он удержался. Коснулся скрюченными пальцами волос красавицы.

— Отойдите туда... и не вмешивайтесь, сколь бы неприятным ни было то, что увидите.

— А будет...

— Будет. — Из-под подрясника появился нож. Узкий стилет с треугольным клинком, сплавленным в каменную ручку. — Сперва я должен...

А ведь его и не обыскали.

Проклятье!

Святой отец... святым отцам не положены подобные игрушки... и он в любой момент мог... что мог? А вот это предстоит выяснить.

Меж тем Святозар вскрыл себе запястье и кровью принялся рисовать круг. Он двигался неторопливо, время от времени останавливаясь, чтобы перевести дух. И эта медлительность несказанно злила, виделось в ней этакое желание отсрочить неприятное.

Но вот круг завершен.

Украшен дюжиной символов, которые Дмитрию неизвестны, хотя он отнюдь не ограничивал себя классическим образованием. Символы чем-то похожи на современные руны, вернее, те кажутся упрощенными и куда более примитивными отражениями вот этих вот знаков.

А ведь нехорошо, если знание подобное исчезнет. Суд судом, но... Смута изрядно проредила императорские хранилища, и в том ныне тоже видится тайный умысел. Ведь кому, если подумать, понадобилось грабить библиотеку, когда сокровищницы имелись?

А поди ж ты, что вынесли, что сожгли во имя нового мира...

Или сделали вид, будто сожгли.

Меж тем Святозар присел рядом с телом.

Он начертил на лбу его знак. И второй — на груди. Он разогнул ноги и руки девушки, а после припал к холодным губам с поцелуем.

— Что он творит? — поинтересовался Лешек, оживая. — Он ведь...

И снова сила была, слабый всплеск, на который не отозвался ни один амулет, разве что кольцо, призванное уровень магии определять, слегка нагрелось. Но и то слабо, будто не до конца уверенное, что в принципе магию ощутило.

Святозар отстранился, а девица дернула рукой.

И второю.

Заскребли пальцы по ковру, а Бужев весьма ловко воткнул клинок в грудь несчастной. И главное, не только воткнул, но вспорол эту грудь, будто сделана она была из бумаги. То ли силой святой отец обладал немалой, то ли ножик был особенным...

Главное, сердце он вырезал весьма ловко.

— Знаешь... — задумчиво произнес Лешек. — Я даже не уверен, нужно ли мне это видеть?

— Вставай, — голос прозвучал властно, жестко. — Я, владеющий твоим сердцем, питающий своей силой, повелеваю...

Вот только этого не хватало.

Некромантию, если припомнить, полагали наследием Смутного времени, того самого, которое случилось за много веков до прошлой Смуты, едва не изничтожив слабое еще Арсийское царство. И наследием истребленным, хорошо и прочно забытым.

— А еще мне кажется, что меня стошнит.

— Кажется, — поспешил утешить цесаревича Димитрий. — А вот глаза у тебя того...

Пожелтели.

И зрачки сделались узкими, змеиными. Да и лицо слегка поплыло, как бывало в детстве, когда цесаревич — для всех зело болезненный мальчик, которого вынуждены были держать вдали от дворцовой жизни, — еще не умел контролировать ту, иную свою часть.

— Пройдет. — Лешек закрыл глаза. — Так лучше видно...

А Димитрий кивнул.

— Отпус-с-сти... — тело заговорило. Оно дергалось, будто кукла на ниточках, покачивалось и, казалось, готово было рухнуть на сидящего священника.

— Имя?

— Цветана...

Говорящий труп выглядел донельзя мерзко. Мышцы лица его двигались, и казалось, что покойная корчит рожи. Время от времени она высывала распухший язык, который, однако, не мешал говорить.

— Ты умерла.

— Да. — Тело застыло, неестественно наклонившись. — Я... умерла. Умерла. Я. Я? Умерла?

Сердце на ладони некроманта дрогнуло, выплеснув черную жижу, которая просочилась сквозь пальцы.

— Да, дитя. Ты умерла. Мне жаль, — голос Святозара стал мягче. — Что ты помнишь?

Она заворчала.

— Тише. Скоро я тебя отпущу... совсем отпущу. Но ты должна помочь.

— Я...

Всклип драл душу. И вообще возникло непреодолимое почти ощущение повеситься. Или... нет, вешаться долго. Это веревку искать надобно, крюк какой или вот люстру. А револьвер при Димитрии. И всего-то надобно, что приставить к виску.

Взвести курок.

Он моргнул, избавляясь от наваждения. Нет уж, с суицидом он погодит, но...

— Вспомни. Что случилось? Расскажи, — вкрадчивый голос окутывал. — И мы сможем отомстить...

— Нет...

— Справедливость. Ты же хочешь восстановить справедливость.

— Нет.

— Тогда чего ты хочешь?

— Покоя.

— Что ж... тогда я тебя отпущу, но после... ты должна рассказать. Вспомни, что было...

— Было... — Тело дернулось и село. Нелепая поза, особенно при том, что грудная клетка его распахнулась, выставляя жутковатого вида нутро. — Он позвал... он сказал, что выбрал меня... он сказал, что я лучшая... что он полюбил меня, как только увидел... он сказал, что не желает ждать окончания этого конкурса. Глупый конкурс. Боялся, что... я могу выбрать другого... я не стала бы. Я его люблю!

— Конечно.

Димитрий сдавил подлокотник кресла и подался вперед.

— Назовешь имя? — Святозар одарил его предупреждающим взглядом.

— Митенька, — с непонятной нежностью произнесла умершая. — Мой Митенька... князь Навойский...

В покоях было чисто.

Прохладно.

И... и не спалось. Лизавету препроводили в них честь по чести, а после, превежливо распрощавшись, оставили в одиночестве. И верно подразумевалось, что она этим одиночеством сполна насладится или хотя бы проявит толику благоразумия — переоденется и уляжется в постель.

Переодеться она переоделась.

И ванну приняла.

И даже влезла в ночную рубашку, из тех, подаренных тетушкой, которые были мягки и целомудренны. И, вернувшись в покои, отчего-то не удивилась, увидев княжну Таровицкую, которая сидела на кровати и перелистывала блокнотик.

— Наконец-то, — сказала та, блокнотик захлопывая. — А я уж начала бояться, что ты до утра не вернешься...

— Как...

— Обычный маячок. Волос твой у меня имелся, остальное — мелочи.

Княжна выглядела совершенно по-домашнему, разве что поверх ночной рубашки, к слову, тетушку она бы порадовала должной мешковатостью и закрытостью, набросила байковый халатик.

— А... — только и нашлась Лизавета. — Что ты... вы... тут... зачем?

— Доклад, — мрачно произнесла Таровицкая. — Не забыла?

Вот про доклад, который предстояло сделать завтра, Лизавета как раз и забыла напрочь.

— Мы кое-что там набросали, но... у нас с Одовецкой... не самые теплые отношения, поэтому... работа несколько не заладилась.

— Поругались?

— Немного.

— Сильно?

Таровицкая махнула рукой, мол, как тут поймешь, сильно или нет.

— Еще и дед приехал, — пожаловалась будто бы. — Вот я ему говорила, чего потерял? У него здоровье слабое. Сердце опять же... а он примчался... толку с того не будет.

— Что там случилось? — Лизавета споро плела косу.

И халат у нее имелся, однако вида столь затрапезного, что надевать его во дворце казалось по меньшей мере кощунством.

— Случилось... что случилось, того не изменишь. — Таровицкая поднялась. — Так ты идешь? Еще эту... блаженную вытащить надо.

Идет.

Что ей остается? Тем паче все одно не спалось.

И беспокойно было... и не отпускало чувство, что кто-то, и отнюдь не Таровицкая, за Лизаветой наблюдает. Зачем?

Лизавета даже остановилась в коридоре, огляделась.

Никого.

Ничего.

А чувство... Бывает. Нервы же... нервы, они с любой девицей бывают.

ГЛАВА 36

— А я предлагаю организовать службу скорой помощи... скажем, целители и маги, которые в случае бедствия помогают людям. Это просто возмутительно, до какого состояния детей запустили! Да у них все, считай, с рахитом. Есть чахоточные, больные тифом... некоторым уже не помочь. — Как ни странно, Одовецкая к появлению ночных гостей отнеслась весьма спокойно и даже предложила остаться в ее покоях, благо были оные в достаточной мере просторны.

Спорить с нею не стали.

В покоях княжны Одовецкой остро пахло травами, особенно полынью, что навевало не самые приятные мысли: полынь сыпали от клопов. Но не может же такого быть, чтобы во дворце и клопы водились? Нет, дело в склянках.

Или в мешочках, которые висели, прицепленные к гардинам цвета лосося.

Или вот в черном целительском кофре, широко распахнувшем пасть... в склянках и скляночках, в фарфоровых ступках и каменном пестике, отложенном в сторону. В зельях, которые княжна, презрев всякие правила — а они должны были существовать, — готовила прямо в комнате.

Здесь же и чай поставила.

Как чай.

Спиртовка. Толстостенная колба, закрепленная на штативе. Вода. Травки... и мрачный взгляд, в котором виделось подозрение. Пожалуй, в любом каком случае Лизавета не рискнула бы этаким чаек пробовать. Но тут...

— погоди ты с отрядами. — Таровицкая постучала блокнотиком по коленке. — Нам надо решить, что делать с людьми...

— А что с ними делать? Тяжелых госпиталь примет, с остальными я разобралась с большего... надо будет только следить, чтобы антисанитарию не разводили. И порошок против клопов раздать. Блох вычесывать, а лучше головы налысо обрить.

— Как каторжанам? — усмехнулась Таровицкая, принимая чашку с травяным отваром. — Думаешь, согласишься?

Одовецкая удивленно моргнула.

— Это вопрос здоровья.

— В том и беда целителей, что кроме здоровья вас мало что интересует. Ты вылечила — и молодец, конечно... но дальше что? Пусть помирают, главное, чтобы здоровыми?

— На самом деле проблем несколько. — Лизавета решила подать голос. — Жилье и работа. Будет место, где жить, будет возможность трудиться и получать деньги, они сами устроятся наилучшим для себя образом. Но...

Таровицкая сунула ворох мятых бумажек.

Списки, стало быть.

И надобно просмотреть. Большей частью женщины, пусть и крепкие, горного народа... это и плохо, такая кровь в городе приживается с трудом. Да и какая работа тут сыщется?

— Допустим, можно договориться с мастерскими, чтобы взяли детей на обучение... — Таровицкая крутила чашку и прихлебывалась. Отраву выискивает? — Только ученикам живется несладко, даже тем, за кого платят. А мы сможем заплатить?

— Я — нет, — сказала Лизавета. — Разве что рублей пятьдесят...

Потому что ей жаль детей, но сестер еще жалче.

— Не думаю, что это станет проблемой. — Одовецкая перебросила косу за спину. — Сколько их там?

— Детей старше семи? Мальчишек... с дюжины две. Девиц — около сотни...

— Почему так?

— Потому что, блаженная ты наша, — ответила Таровицкая, — мальчишки почти все в шахтах остались, они с малых лет там работают. И девок берут, но не всех. Если семья побогаче, то берегут, чтоб потом замуж выдать. С выработок не больно-то рады брать...

Одовецкая фыркнула, но смолчала.

— Девиц можно в прядильни или, если кто половчее, к швеям. Женщин...

— В прачки не пойдет. — Лизавета покачала головой. — Местные не пустят. Работы мало. Но они сильные, можно в пимокатни попробовать или... Только они все одно чужие городу.

Воцарилось молчание.

Задумчивое такое.

— А если... — Таровицкая почесала подбородок пером. — Если переселить?

— Куда?

— Так... к нам. Земель-то на Севере довольно. И у тебя, между прочим, хватает, что вовсе диких, что... проклятых.

— Это те...

— Именно. Местные там не селятся, хотя мы пятерых целителей вызывали, чтоб проверить. Все постановили, что безопасно. Даже избы поставили, чтоб людей приманить, но все равно ни в какую. Избы те уже, конечно, попорченные, следить-то некому, но подновить — все не наново складывать.

Одовецкая присела, опершись локотком на заваленный стол, глаза прикрыла.

— Думаешь, согласишься?

— Думаю, если дать подводы и пообещать подъемные на обустройство, то...

— Выбор должен быть. — Лизавета пролиستала бумаги. — А еще, как у вас там с женихами?

— Что? — моргнули обе княжны одновременно.

— Женщины. — Лизавета потрясла стопкой. — Здесь несколько сотен женщин, многие из которых очень надеются отыскать мужа. Хозяйство — это хорошо, но там его женской рукой не удержишь. Потому и спрашиваю.

— А ведь... — Таровицкая прикусила кончик пера. — Она права.

— И насколько я знаю, с невестами на Севере всегда было... туговато.

— Правильно знаешь.

— А если приданое...

— Не кидайся деньгами, — велела Таровицкая, — пригодятся еще... так, думаю, пяти рублей на обустройство будет достаточно. Кур дать... и коровы нужны...

— Лучше козы.

— Чем лучше?

— Едят меньше, а молока дают столько же, только надобно брать породы дойной. У нас

при монастыре были...

— Доила? — Таровицкая лукаво усмехнулась, а Аглая лишь рукой махнула, пожаловавшись:

— Чтоб их... характер поганый. Но если молочная порода... под корову сарай нужен теплый, сена сколько. Сумеют ли заготовить? Успеют ли? Обоз порталами не потащишь, слишком уж дорого встанет, а пока своим ходом...

— Может, ты и права...

— Значит, козу в приданое, а если берет вдову с детьми, то и две... — припечатала Таровицкая, что-то черкая в блокноте.

— А еще... — Лизавета поерзала, чувствуя, как вспыхивают щеки. Просто у них... козу, две, по пять рублей на обзаведение... а она что? Она ничего.

Выходит, бесполезная.

И поле зря восстанавливала. Хотя... нет, миру помочь — это всегда верно.

— Надо в газету написать.

— Зачем?

— Потому что... мы не можем всегда и всем помогать сами. Есть люди... разные люди. И среди них найдутся такие, которые с радостью помогут. Может, козой и не одарят, но... нельзя, чтобы люди про других забывали. Понимаете?

И обе княжны, переглянувшись, кивнули. А Таровицкая, залпом выпив отвар, присела и сказала:

— Теперь давайте все по порядку... и кто выступать будет? Предлагаю, каждый рассказывает о своей части...

Димитрий прикрыл тело простыней, раздумывая, как объяснить скорбящим родственникам вырезанное сердце. Отец Святозар, опустившись на пол, тихонько покачивался и оное сердце выпустить не спешил. Но стоило тронуть за плечо, как вздрогнул, обернулся, мазнув взглядом...

— Это не я, — вздохнул Димитрий, мысленно благодаря рыжую, которая из особы преподозрительной стала вдруг весьма и весьма важным человеком.

Лишь она могла подтвердить, что ночью Димитрий чай пил, а не лишал жизни незнакомую девушку.

— Я знаю. — Святозар протянул комок плоти. — На вас нет следа, да и... простите, но ваша кровь... лучшее доказательство вашей невиновности.

— В каком смысле?

Не то чтобы Димитрий возражал против доказательств, все же пренеприятно осознавать, что тебя могут заподозрить в этаким... Нет, мертвая в суде не выступит, а даже если вздумается, то вряд ли люди, властью облеченные, согласятся этаким показаниям выслушать. Но...

Лешек слышал.

И этот, то ли святой в кротости своей, то ли грешник, тоже. Он, вытирая руки грязною тряпицей, сказал:

— В вас нет ни капли той, древней, которая способна была бы удержать силу.

И Димитрий кивнул: как есть, ни капли. Рожден он обыкновенной женщиной подлого сословия и от отца такого же, правда, имя его матушка так и не раскрыла, а когда

Димитрий любопытствовал, лишь отмахивалась. Мол, ни к чему дурное вспоминать, а уж доброго, верно, не случилось. Как-то прежде он вовсе не задумывался, как вышло, что она, не слишком умная, не искушенная в интригах и вовсе далекая от блеска царских покоев, вдруг оказалась Лешековой кормилицей. Неужто не было иных?

Неужто не приготовились к появлению на свет наследника?

Ведь должны были... по штату кормилицы значатся, ажно дюжина, а к ним помощницы, мамки, няньки и прочая обслуга, которой цесаревич с рождения окружен был.

Или...

Желтые глаза, вертикальные зрачки... каков он был младенчиком? Небось детских снимков вовсе не сохранилось. Случайно ли?

— А он вновь собирает души... позовите свягу, пусть проводит ее туманным путем. — Клинок святой отец отчищал старательно, хотя должен был понимать, что оставить такую преопасную штуkenцию ему не позволят. — И, если позволите...

Он замолчал, подняв клинок за рукоять, прищурился здоровым глазом, оглядывая кривоватое лезвие его. Вздыхнул:

— Я не думаю, что эти девушки — единственные жертвы.

— Почему? — Лешек поднялся, теперь он и двигался иначе, текуче, словно вода. И было во всей его фигуре нечто такое... до крайности неприятное.

Хотелось попятиться.

Отступить.

Забиться за гардину и... Глупость какая. Это та, другая, кровь пробудилась. А люди боятся змей, потому-то и вынужден скрывать он... не только он... и скрывали, не сказать чтоб уж очень тщательно. Сперва-то, конечно, прятали, да... так и время было смутное. Народ, жаждавший спасения, видел в новом императоре надежду. И не след было портить образ его величественный. Императрица и без того многим казалась неправильною.

Явилась из ниоткуда.

Ни родни. Ни связей. Ни богатства. Красота одна, но разве ж это аргумент для людей серьезных. Тогда-то ждали, что надоест этакая бесполезная жена его императорскому величеству. И не сказать, что смута была, аккурат-то смуты боялись, но... прознай кто про кровь змеиную, пришлось бы тяжело.

А после уже и по привычке хоронились.

Да и ради наследника.

— Души ушли. — Святозар спокойно убрал клинок в ножны. — А с ними и сила. Логичней ему было бы спрятать тело, а он его будто нарочно вам выставил.

Димитрий потер подбородок, заставляя себя отрешиться от мыслей о прошлом. Настоящее важно. А что в настоящем? Тело девицы, которое, будто издеваясь, оставили цесаревичу таким подарком крайне сомнительного свойства.

Зачем?

И... прав Святозар, если убийца лишился двух душ, то ему понадобилась бы замена. Стало быть...

— Ему обязательно убивать здесь? — уточнил Димитрий, и святой отец задумался.

— Не знаю, — произнес он наконец. — Моя сила требует прямой связи с жертвой. Наш род имеет власть над кровью, и пока та тепла, мы можем многое. Что умеет он, я не знаю. И я не уверен, что вам надобен мужчина.

— То есть? — То, как Лешек это произнес, заставило Дмитрия вздрогнуть.

— Над телами не надругались. Посмотрите, к ним отнеслись бережно, будто даже с любовью. — Святозар присел и погладил девушку по волосам. — Видите? Не спутанные. Их раздели. Расчесали. Уложили. Украсили...

— Убили, — уточнил Дмитрий.

— Убили... но чтобы задушить, не нужно так уж много сил. Закинуть ленту на шею и затянуть... вам ли не знать, что многие благородные девы не столь уж хрупки, каковыми кажутся. Мою сестру обучали и верховой езде, и шпажному бою. И некоторым иным, скажем так, не совсем женским умениям. У старых родов свои обычаи.

Которые лишь прибавят головной боли.

— Я помолюсь за душу ее, — сказал Святозар. И, вздохнув, попросил: — С вашей стороны будет любезно предоставить мне бумагу и перья. Или человека, который писал бы под диктовку. Так было бы даже проще, но...

Куда опасней, ибо тайны подобные на людях предурно сказываются. И вот бывает, что человечек приличный, получивши к знанию запретному доступ, преображается престраннейшим образом.

То власти ему.

То богатства.

То просто от силы собственной новообретенной голову теряет.

Нет уж, пусть сам пишет, а Дмитрий после почитает при случае.

— Перо, — сказал он. — И чернила.

— Моя сестра не единожды предлагала написать то, что мне известно. Порой становилась весьма настойчива...

— А вы?

Святозар поднялся, опираясь неловко на подлокотник кресла.

— Сперва я... даже начал писать. Основы... знание, которое не должно исчезнуть. Мой долг перед родом... меня всю жизнь учили, что род превыше всего. Но после я вдруг подумал, а почему, собственно, я должен оставлять это миру? Я видел мою сестру с ее честолюбием и жадностью. И я испугался... я тоже слаб.

— Ваш отказ ее разозлил?

— Несказанно... она кричала. Называла меня неблагодарным. Потом... она вдруг успокоилась.

И святой отец решил, будто сестрица смирилась?

А она смирилась?

Или...

Дмитрий потер лоб. Голова болела, глаза чесались, как бывало, когда он уставал чрезмерно, будто тело напоминало, что хоть и маг он приличный, хоть доверием облечен высочайшим, но все одно не стоит забывать: слаб человек.

В отдыхе нуждается.

А еще в том, чтобы распоряжения отдать.

Пусть проверят, не пропал ли кто из обслуги, которой во дворце стало чересчур уж много. И наверняка не обошлось без происшествий всяких, они и в обычное-то время случаются с завидной регулярностью, а уж теперь...

И в городе тоже, а то мало ли, вдруг да родовые знания позволяют после души в нужное место перенести.

Выяснить, кто она вообще, покойная.

А еще, кому она рассказывала о большой своей любви. И если рассказывала, то...

Слухов не избежать.

Проклятье, при общей к нему любви, даже если Димитрий прилюдно клятву на крови принесет, что не виновен, ему не поверят.

И может, оно часть всего?

Эта вот история о несчастной любви. Девуцы, которых убили. Слухи, вдруг очнувшиеся, расплзшиеся, множатся, что клопы в дурном трактире.

Кто и зачем?

Чего ждать?

Он дождался, пока тело уберут. И самолично проводил Святозара в покои, ныне ставшие камерой. И руку протянул, но Бужев покачал головой:

— Подобные вещи не стоит трогать. Это... магия на крови. И передать его я могу лишь тому, кто кровью со мной связан. Или истинному императору. В противном случае сработает проклятье. Отсроченное, но все одно пренеприятногo свойства.

— Императору?

— Именно. Не наследнику. — Святозар выложил клинок на стол. — Но я могу поклясться, что не использую его во вред людям.

ГЛАВА 37

— А еще говорят, будто бы по ночам она в змеюку обращается и выползает, рыщет-ищет добычу, — тихим шепотом продолжала девица преразбитного вида. Она устроилась на туке соломы, в одной рученьке держала соленый огурчик, в другой — стопочку.

Стопочку она подняла.

Выдохнула и опрокинула одним махом. Огурчиком закусила, рукавом занюхала.

И кто-то из конюшенного люду хмыкнул с уважением: самогон-то был хорошим, выдержанным и крепости немалой. А она, ишь, даже не поморщилась.

— А как найдет, так и обовьет кольцами, и силу тянет, тянет... до смерти не выпивает. Пока. А жизнь крадет, свою длит...

— Здорова языком чесать, — буркнул Матвей, человек мрачный, нрава необщительного, но силы немереной, из-за которой прочие с ним связываться опасались. Зато вот кони Матвея любили со страшною силой, поговаривали, что кровь у него не совсем человеческая, да и слово он тайное знает. Слово многие выпытать хотели, да только на деньги Матвей глядел равнодушно, пить не пил и баб стерегся.

— Хочешь сказать, вру я? — Девица раскраснелась, поднялась, руки в бока уперла. — Вот скажи, вру?!

— Врешь, — спокойно ответил Матвей, от седла отвлекаясь. Правил он его легко, орудуя шилом, будто иная барышня иголкою серебряной. И стежки получались ровные, аккуратные.

Ему бы в шорники идти, да только лошадей Матвей любил больше, нежели людей, не говоря уже о деньгах. И на конюшнях ему, сироте горькому, прибившемуся после Смуты, было хорошо.

Тепло.

Сытно.

Спокойно.

И хотелось, чтоб все так и было дальше, однако же... со словами Матвей не больно ладил.

— Ты ее видел-то? Небось раскрасавица... Сколько лет минуло, а она хоть на день постарела? Нет! Какой была, такой и осталась. А почему? Потому что из других жизнь сосет!

— Дура, — сказал Матвей, поднимаясь.

Спорить он не умел и не любил, да и не видел нужды в том. Девицу притащил Вьюжка, хлопец справный, но безголовый, то ли в силу возраста, то ли уродился он таким, главное, что притащил он ее не разговоры разговаривать, а за иною надобностью, которая с мужиками случалась.

Ишь, слетелись...

— Сам дурак! — Она кинула в него пустою стопкой, но не попала. — Вот увидите! Отравит она царя батюшку... уже отравила, потому и помирает он смертью лютой.

Зафыркали, затопотали кони, беспокойство выражая. И черный жеребец по кличке Лютый — а подходила она ему наилучшим образом — завизжал, поднимаясь в свечку. Это было неладно...

Матвей седло отложил.

Он подошел к девке, которая чего-то кричала, слюною брызгая, и поднял ее за шкурку, так и понес к выходу, хоть и дергалась, плясала, вырваться силась. Да от Матвея еще

никто не уходил. Девицу он кинул далекомько, прибавив:

— Еще раз явишься, скажу, что кони затоптали...

Как ни странно, но ругань утихла.

Поверила?

И правильно. Кони, они дюже пугливые.

— А еще она хочет весь род человеческий извести, — низкий голос старухи заполнял крохотную каморку, в которой и без того было тесновато, а ныне и вовсе не развернуться, ибо набилось в каморку девок столько, что и не сосчитать.

При дворе старуха жила долго, никто и не помнил уже, откуда она взялась. Сперва за свечными кладовыми следила, была аккуратна, степенна и вид имела соответствующий.

За свечами смотрела строго.

Выдавала по ведомости, не боясь ничего, даже гнева высочайшего. Сказывали, будто бы кладовыми ведать она начала во времена далекие, когда иного освещения и не знали, и что тогда была пресостоятельна, ибо брала десятину от огарков, и горе тому, кто отказывался делиться законною добычей. Со старухой и фрейлины спорить опасались.

Правда, те времена давно уж минули, и освещение во дворцах сперва провели газовое, а ныне и вовсе спешно заменяли его электрическим. И оттого власть свою старуха поутратила: свечей ныне закупалось мало, да большею частью сальные, не самого высокого качества, которые доставались прислуге второго, а то и третьего круга. С этих же огарков не дожدهйся.

Правда, гнать старуху не гнали, платить платили, а еще, сказывали, обращались к ней в иных вопросах, требовавших совета, и не просто совета, а порой и помощи сведущего человека.

Старуха одним отказывала.

Другим помогала.

И была тем довольно-таки счастлива, особенно когда мешочек, который она хранила под пуховой — из кладовых ее императорского величества — периной, пополнялся деньгами. Там рублик, там другой... Денег у нее, говоря по правде, скопилось изрядно. И пожелай престарелая Калерия отойти от дел, ей бы хватило и на домик в приличном месте, и на безбедную спокойную жизнь, но вот... не отпускал призрак бедности. И страх голода... домик что? Сожгут и не заметят.

Сапогами пройдутся по кружевным салфеточкам.

Переколотят фарфор.

А после и старуху никчемную на улицу выкинут. Было уже все, было. Повторять Калерия не намеревалась, но и отказаться от предложеньца, сулившего ни много ни мало, а сто целковых за нужную кровь, не сумела. Кому, как не ей, помнившей еще те времена, знать, в ком этой крови хоть капля да имеется. Она обвела девиц — понабирали дур, потом наплачутся — суровым взглядом и продолжила:

— Суть у нее такая. Любой нелюди человеки противны...

Кто-то охнул.

А собрались на гадания. Она сама-то слушок пустила, что ныне ночь зело подходящая на судьбу гадать, а если у кого копеечка лишняя имеется, то и не только гадать.

Старуха честно раскладывала полированные камешки, читая чужие судьбы. И воск в воду лила, и отшептывала зачарованных, проклятых. После уже, когда разойдется любопытствующее большинство, останутся лишь те, кто помощи просил, она и яйца

достанет куриные, с волосом черным внутри. Ох, надобно будет иные способы искать, уж больно слабы глаза стали, тяжко волосья эти совать...

Или вот свечи, в черный цвет крашенные.

Цветочки сухие, безобидного свойства, но что мешает сказать, будто бы взяты они с могилок? Девки любят страхи всяческие.

Нитки.

И прочая в чародейском деле нужная мелочовка. Кому венец безбрачия снять, кому кавалера приваждать, кому удачи в жизни. Она всякому поможет, платили бы.

За многое ей уже заплачено. И ни одна не откажется крови на камешек, Калерии данный, капнуть, чародейство скрепляя. Ей же лишь проследить останется, примет ли камень эту кровь, а после, коль нагреется, имечко написать.

Что будет дальше?

Не ее забота. Обо всех болеть сердца не хватит.

И Калерия, подавивши вздох, продолжила, ибо работу свою привыкла выполнять честно:

— А еще она из девок силы тянет... бывало, кого пошлют работать в покои царицыны, так и месяца не проживет, зачахнет. Иная и вовсе сгинет, будто бы ее и не было. Скажут, мол, расчет взяла и отбыла домой, только... кто ж в здравом уме от эдакого места откажется?

Она пусть старая, но памятью обладала отменнейшей, а еще немалым талантом, позволившим устроить свою жизнь весьма недурно. И теперь мешала ложь с правдою, понимая, что так-то разобраться сложно было.

Были девки, которые при комнатах царицыных состояли?

Как есть были...

Иные болели, не без того. Иные уходили. Одну даже с позором выгнали, ибо забрюхатела от лакея, а царица велела тому дурню на девке жениться и сорок рублей приданого положила. Но об этом вряд ли кто упомянет, а вот что сгинула...

Иные и как есть исчезали. Калерия догадывалась, что не царица тому виной была, а собственная дурость. Кто ж в здравом уме берется черные дела творить? Попались травительницы? Туда им и дорога. Куда, Калерия не знала, да и знать не желала.

— А потому скажу я так, что нет во дворце страшнее места, чем покои ейные. — Она понизила голос, чтоб звучал он презловеще. И свечку прищипнула, ибо в полутьме аккуратно страхи и рассказывать.

Кто-то ойкнул...

— Местные-то вам ни слова не скажут... оно и понятно, кому охота туда идти? Небось своих берегут, а вы так, пришлые, вам небось сказывали, что, мол, служить станете хорошо, то и при дворце оставят? — Она усмехнулась, обнажая бледные десны и желтые зубы. — Как есть оставят... надо ж кого-то... не может она голодную ходить.

— Ой, мамочки, — тоненький голосок прорезал тишину, добавляя жути.

— А мне-то вас жалко... я-то свой век, почитай, отбыла... а там спросит Боженька, чего я хорошего сделала... — голос стал плаксив. И говорила Калерия тоненько, причитаючи. Из глаз же поползли крупные слезы. — А чего я могу? Старая, слабосильная... ничегошеньки, только упредить вас...

В кабаке было людно.

Место сие, расположенное близ дворца, было довольно-таки приличным, во всяком

случае, здесь повывели клопов, да и мышей разогнали. Пол земляной укрыли звонкою сосновою доской, да и оконцами озаботились стеклянными.

И готовили пристойно, хотя и еду простую: хозяин здраво рассудил, что с царскими поварами ему не тягаться, да и предпочитает люд благородного рождения ресторации, народу же попроще милей еда обыкновенная, но сытная и хорошо сготовленная.

Парили репу с травами.

Жарили поросят и перепелов, начиняя их гречей и прочею крупой, закладывая для мягкости и сочности яблоки. Подавали пироги с требухой и зайчатиной. Не чурались ухи белорыбицовой, в которую, еще горячую, хозяин самолично выливал ядреный самогон.

Он и за порядком следил, благо здоровье позволяло, да и норы его знали, как и то, что со стражею городской пребывал он в наилучших отношениях, а потому смутьяны предпочитали держаться в стороне.

Но не нынешним вечером.

На парнишку, которого Кедр Войтютович сперва принял за студентика — эта братия предпочитала места иные, более дешевые и вольные, — он внимания не обратил. Взглядом мазнул. Приметил, что место тот занял не самое лучшее, да и заказал бедно, ограничившись тем же взваром и пирогом. Велел подавальщице принести и студня. У самого сын в студиях, вечно голодный, вечно бедный, пусть и содержание батюшка ему изрядное выделил, но... молодость, она такая.

Студень студентик съел.

И взвар выпил.

Отер губы розовые, будто девичьи, ладонью и огляделся. А там уж сам подсел к купцам, которые в стукалку играли. Кедр Войтютович еще тогда неладное почуял. Все ж люди серьезные, не вышло бы им беспокойства. Но купцы только спросили чего-то, а студентик возьми и вытащи бумажник, да препухленький, да набитый не бумагою резаной — находились и такие умельцы.

Ишь ты...

Не из бедных, а по виду не скажешь. Тулупчик старенький, давно и пообмялся, и повытерся, прирос к хозяину. Штаны с пузырями, а фрачок и вовсе с чужого плеча будто.

Никак игрок?

Знавал Кедр Войтютович таких, которые за азартом света белого не видывали. Но... его ли дело? Купцы, может, и отберут деньгу, но и в долг не поверят человечку чужому, а стало быть...

Пороли его мало.

Он отвлекся — сперва на кухню, где доходили бычьи ребра на огне открытом, после на конюшни заглянул, убедился, что господские кони обихожены. А то конюший новый, незнакомый, за ним пригляд и пригляд нужен. Прежний воровать овес повадился, за что и был бит головою о коновязь.

В комнатах наверху тоже порядок присутствовал.

А потому в трактир Кедр Войтютович возвращался со спокойным сердцем. И зря, как выяснилось. Вроде ж и отсутствовал он недолго, но...

— И в едином порыве избавимся мы от гнета тирании! — Студентик забрался на стол, на котором прежде игра шла. А народец, вроде ж приличного толку, вместо того чтобы стащить охальника да выкинуть за порог, слушал.

Превнимательно так слушал.

— Ибо сказано, что каждый человек рождается свободным! — голос его звенел, заполняя весь трактир, перекрывая и шорох пламени в камине, и скрип старого стула, на котором раскачивался почтенный Михтюков, купец первой гильдии, с которым Кедр Войтютрович пребывал в отношениях наилучших, можно сказать, даже приятельских. — И ограничение свободы этой — есть первейшее преступление против сути человеческой!

В голове загудело.

Кедр Войтютрович мотнул головой, от этого мушиного звона избавляясь. Надо же... так гудело на проклятых пустошах, где его, еще улана обыкновенного, ветряной стеною приложило да и скинуло аккурат под копыта собственного жеребца. А тот, даром что ученый на человека не наступать, прошелся... благо шлем спас.

Правда, после сказали, что все одно контузило.

И списали с оною контузией.

Но Кедр Войтютрович за это дело не больно переживал. Хватило. Навоевался.

— Смуту затеваешь? — поинтересовался он негромко, впрочем, и этот его тихий голос заставлял людей сведущих смолкать. А вот паренек головенкой светлою тряхнул и сказал, руку выпроставши:

— Не смуту! Мы лишь ищем справедливости!

А купцы-то, купцы, людишки с характером, с норовом и разумом — иные в торговле надолго не задерживались, — сидят и слушают что замороженные.

— Какой?

— Править народом должен народ! Избранники его. От каждого сословия, чтобы блюлись интересы всех. — Паренек пальцами шевелил и в глаза пялился, только от потуг его гудение в голове крепло, что Кедр Войтютовича изрядно раздражало. — Единоличная власть опасна...

— Чем же?

Он ступал неспешно, крадучись, благо тело помнило науку, которую постигать пришлось в лесах суровых. Там-то и научился ступать бесшумно, что рысь, и людей выслеживать, и скручивать их, а порой и глушить, ибо встречались и среди смутьянов одаренные.

— Тем, что на того, кто ею владеет, легко воздействовать. Вот взять хотя бы императора. Все уже знают, что слово его ничего не значит. Что всю силу забрала императрица. А она по сути своей нелюдь и...

Паренек и охнуть не успел, как смело его со стола, скрутило. И сила, еще недавно казавшаяся частью тела, вдруг исчезла, а само тело расколола боль.

Тыкал Кедр Войтютович легонько, не желая болтуна крепко покалечить — на это свои умельцы найдутся, — однако за годы многие он усвоил одно: редко какой маг с переломанными пальцами чаровать способен. Паренек заскулил, завыл, ногами суча по полу. Кедр Войтютович вздохнул: эх, молоденький совсем, дурноватый... Где только понахватался идей подобных?

Он легонько тукнул бедолажного о стол головушкою, а после, уже беспамятного, ремнем скрутил да самолично в погреб сволок. Пусть с ним дальше стража беседует, выясняет, откуда эта крамола недобитая вновь полезла. А у Кедр Войтютовича дел еще изрядно.

Гостей успокоить.

Чарочки поднести во извинение. И перемолвиться парой словечек с каждым, мысли в верное русло повернуть, убедить, что нет ничего глупее новой смуты искать. Да сделать надобно быстро, пока первичное внушение держится.

Эх, жаль, сам Кедр Войтютович в делах подобных не специалист, но чего сможет, тем

поможет.

А еще сыну отписать. Давно он батюшку не проводывал. Как бы тоже... справедливости не захотелось. Но для такого случая у Кедра Войтютовича аргумент имелся — крепкий, из турьей вываренной шкуры. И погреб. Как показывала практика, погреб на молодые умы крайне просветляюще действует.

ГЛАВА 38

На окраине города фонари если и зажигали, то редко и по превеликой надобности, а еще потому, что, невзирая на все высочайшие указы и, что куда важнее, защитные заклатья, фонарей этих было ничтожно мало. Только, бывало, поставят какой, закрепят наилучшим образом, оплетут заклattiaми, он и простоит денек-другой, чтоб на третий или повалиться, или вовсе сгинуть.

Что ж сделаешь, народец тут селился лихой и, говоря по правде, диковатый.

А еще темный и с темнотою своей не желающий расставаться.

Вот и в трактире «Кабанья кость» было темно, сумеречно и воняло. Причем вонь эта — кислой капусты, гнилой соломы и мочи, ибо некоторые несознательные личности ходили до ветру прямо тут, в углах, — въелась в стены, пропитала низенький небеленый потолок, с которого свисали жутковатого вида крюки, да и обжилаясь. Впрочем, скажи кто местным про нее, премного удивились бы.

В трактире было людно.

Жались к стенам попрошайки, день которых был столь удачен, что позволял провести ночь в тепле. Хихикали шлюхи, задирая и без того короткие юбки. Многие были молоды и еще хороши собой, на шеях некоторых болтались целительские амулеты, пускай и разряженные, но все одно доверие они вызывали. И людишки попроще девкам радовались, а вот к иным, выглядевшим не в пример серьезней, сами не лезли, блюдя свою, сложившуюся иерархию.

— Двести целковых. — Таранька хотел было сплунуть под ноги, но, зацепившись за холодный взгляд старшего, слюну подавил. — За ерунду, почитай... а после еще дадут...

Басурман сидел, подперши подбородок рукой, и гляделся расслабленным, будто бы мыслями своими он пребывал не в грязном притоне, но в месте, куда более подходящем человеку солидному. Пальчиком шевельнул, мол, продолжай, и Таранька, нервно ерзавший на месте, заговорил спешно:

— Надобно нищим дать, чтоб слушок пустили... и девкам, эти и задарма поработают... а еще если листовочки разнести согласимся...

— Какие?

И на грязный стол легла серая рыхлая бумажонка, которую Басурман взял двумя пальчиками, поднес к самому носу, ибо мало того что кривым был, так еще и второй глаз слепнуть стал.

Плохо.

Воровской мир слабости не прощает. И давно бы уйти, передавши дела кому потолковей из новых, да... кому? Жадные они, голодные и, как все молодые, почитают себя самыми умными. Слово воровское им — это так, баловство, и руку Басурманову над собою терпят исключительно со страху. А как пройдет страх...

Польется кровушка что на пол этот, что на улицах городских.

Бестолковые.

Но уходить надобно... все ж Басурман был человеком опытным, и чуйка у него работала преизрядно. И что нашептывала, то ему не нравилось совершенно.

Газетенку он прочел.

Мерзость наиредчайшая, а главное, того самого свойства, с которым честный вор связываться не станет. Нет, убить там, ограбить — это одно, это жизнь такая, а вот сплетни грязные по городу, что крысы заразу, разносить...

— И ведь правда, чистая правда! — Таранька спешно перекрестился, за что и получил по руке, ойкнул, спрятал за спину, застыл, дрожа.

Шелупонь.

— Правда, стало быть... царица — нелюдь, всех извести желает? — тихо поинтересовался Басурман, листок складывая. Выкинуть бы его или в огонь швырнуть, избавляясь от мерзости, но...

Честному вору, конечно, не с руки с властями дела общие иметь. Но Басурман был слишком стар, да и Смуту застать успел, и даже послужить, а потому...

Новой он не желал.

И не столько потому, что боялся, страх у него еще тогда отбило, когда Арсинор горел со всех четырех концов, а безумные кликуши, огонь разнося, кричали о конце мира. Нет, имелась у старого вора одна тайна, не сказать чтоб вовсе стыдная, скорее житейская, обыкновенная.

Надо будет заглянуть.

Сказать, чтоб собирали барахлишко — да к морю. У моря-то всяко поспокойней. Подводу нанять, ибо Марушка уже и сама немолода, куда ей управляться с переездами. Квохтать станет, за вещи хвататься... благо дочка в него пошла. Кивнет и на матушку прикрикнет. А сама...

Зятек-то воспротивится, но...

Он, хоть горделивый, вид делающий, будто бы знать не знает, кто таков Басурман, но Стеньку любит, поймет, как оно сделать надобно... еще и сподмогнет.

Решено.

Тараньке Басурман затрепину отвесил и велел:

— Не лезь в дерьмо.

Тот обиделся.

Небось взял денег наперед, заверивши, что все наилучшим образом обустроит, а теперь выходило, что деньги эти возвращать придется.

— Но...

— Не лезь. — Басурман поднялся. Зрело в груди нехорошее предчувствие, что времени осталось мало, если и вовсе осталось оно. — Целее будешь. Нет в этих играх вора места.

Он покинул корчму, оставивши честный разбойный люд гулять, а сам вдохнул дымный теплый воздух. Отцвела черемуха, отлетела... и холода прошли.

Еще неделька-другая, полыхнет лето настоящим жаром.

Завоняются мусорные кучи, которые на улицах образовывались, несмотря на все старания Санитарной службы. Крысы, от жары очумев, попрячутся в подземельях, а вот люду скрываться негде. Летом тесно, душно и тяжело...

Может, и хорошо, что уедут. Небось Марушку он давненько уговаривал на воды податься, а она все отнекивалась. Мол, как одной?

А отчего б и нет?

Он бы, раз уж в приличиях дело, нанял бы ей эту, компаньонку, чтоб как у благородных. Гардеробу справил. Только не по нынешней моде, когда девку от мужика не отличишь, не поймешь, то ли рубаха длинная на ней, то ли платье...

Марушке такое не пойдет.

А вот чтоб платье настоящее, в пол, да из ткани тоненькой, легонькой, цвета лазоревого, как глаза ее, бедолажной, некогда поверившей, будто бы любви одной хватит, чтоб исправить каторжника и рецидивиста.

Не хватило.

Не исправила.

И горя хлебнула, когда он в очередной раз угодил... После-то уже берегся, не себя ради, но их, которых и быть-то не должно... куда вору честному да семью законную? А он нарушил обет, повенчался, чтоб честь по чести.

Плевать на правила.

Басурман потер грудь. Ноет. Болит...

Если сердце встанет, то Марушка знает, чего делать. И пусть нет у него законно ни имущества, ни акциев, зато имеется счет в банке. Деньги, они не пахнут. Хватит и Марушке на жизнь безбедную, и доченьке-раскрасавице, и внукам...

А значит, не зря.

Басурман шел неспешно, и мысли текли так же, обо всем и сразу... о Смуте, к которой он, молодой и голодный, аккурат, как нынешние, примкнул с превеликою охотой, видя в ней неплохой шанс выбраться из грязи. О золотишке первом... о мертвяках...

Что есть, то есть, небось не отмолишь, не откупишься. Да с ними, бедолажными, под горячую руку попавшимися, Басурман после встретится, на небесах. И там уж прощения попросит.

Может быть.

Он сам не заметил, как выбрался из темных глухих переулков на Княжью дорогу, а уж с нее свернул туда, где начинались дома приличные. И остановившись у одного — а ведь и сам он мог прикупить не хуже, небось хватило бы и на дом белокаменный в три этажа, и на прислугу, и на выезд красивый, — залихватски свистнул. Примолкли псы, и сторож взялся за трещотку. А Басурман с легкостью перемахнул через кованую ограду. Только заклятье охранное опалило щеку.

Столько лет прошло, а ничего нового не придумали.

А еще, казалось бы, серьезный человек, не последний в ведомстве полицейском.

Басурман легко пересек сад, и огромные волкодавы не посмели приблизиться, чуяли, что не справиться им с человеком, в котором изрядно было крови звериной. Впрочем, о том Басурман предпочитал не распространяться. Он, выпустив когти, с легкостью вскарабкался по плющу и, уже забравшись на балкончик, вновь свистнул.

— Да слышу я, слышу, — пробурчал надворный советник Истомин, позевывая. — Чего разошелся?

— Мало ли. — Басурман окинул фигуру старого приятеля насмешливым взглядом. — А я гляжу, тебе чины на пользу пошли... ишь, с каждым разом все солидней и солидней выглядишь.

— А ты как был оборванцем, так и остался...

— Кому-то ж надо...

— Выпьешь? — Из-под полы халата надворный советник извлек флягу. — Отменнейший коньяк...

— Воздержусь. Сам знаешь...

Та, иная натура, была слишком уж жива, а потому требовала неустанного контроля, ибо попусти, и... всякое случится. В прошлом и случалось, и тем Басурман не гордился.

— Знаю, знаю... ишь ты... а будто и не стареешь. Кровь?

— Кто ж знает... старею... скоро отойду.

— Насколько скоро? — Истомин хоть и гляделся этаким изнеженным барчуком, а слушать умел, и главное, слышал правильно.

— Может статься, что и на днях... на вот. Моим сунули, чтоб по городу разнесли. Я особо ретивого попридержал, да только чую, тем, кто им платит, не по нраву придется. И мои многие шумят... волчата подросли...

— Не удержишься? — Истомин листочек взял, очочки на нос напялил, пробежался взглядом и сплюнул. — Вот же ж...

— Не знаю. Попробую, но чую, полыхнет скоро. Если вдруг...

— Не переживай. Позабочусь. И об этих тоже... может, тебе того... сгнать куда?

Сгнать-то можно, только вот свои ж не поймут, случись возвращаться, многие это исчезновение припомнят... нет, надобно иначе. И Басурман покачал головой.

Взяли его у самого Марушкиного дома, где ждали, и это было плохо: стало быть, знали и про Марушку, и про дочку. Он сперва почти поверил, что это обыкновенные пьянчужки: пахло от них самогоном, терпко, резко. И пожалуй, именно эта резкость и насторожила.

Басурман остановился.

Шагнул было назад.

И получил удар в спину. Клинок пропорол и старую куртейку, к которой вор привык за годы, и рубаху, Марушкой шитую, вошел в бок, разворотивши печенку. А второй и под ребра.

Он и осел мешком...

Чтобы прийти в себя от холодной воды. Тело, изменившееся, не желало умирать. Оно само затянуло смертельные для человека раны, одаривши лишь болезненной судорогой. Басурман опустился на дно реки, илистое, грязное, сохранившее немало тайн, и там уже, извернувшись, разодрал путы, к которым привязали каменюку.

В груди жгло.

Да и силы, пусть и отцовской дурной крови, небесконечны. И он оттолкнулся, поплыл, а уж после, вынырнув, затаился, благо ночь стояла подходящая, черная, что кофей, до которого Басурман охотником был. У моста скинули. И хорошо. Он прижался к осклизлой опоре, вслушиваясь:

— И чего теперь? — Этот голос он узнал. Войня, из молодых да рьяных, вор удачливый, но рискованный чересчур, за что и пострадает, мнится.

— Теперь покажи всем перстенец...

Басурман пошевелил обрубком мизинца. Ничего, отрастет через годик-другой... а может, и к лучшему? Войня не смолчит, похвастает, что одолел старого волка, решит, что на место его сядет, да только небось не подумал, что таких желающих множество сыщется. И если Басурмана побаивались откровенно — слухи про таланты его ходили самые разные, а неверующих он скоренько разубеждал, стоило клыки показать, — то Войня был обыкновенен.

А значит, недели не пройдет, как получит он в бок перо.

Или свинчаткою в голову...

Впрочем, Басурману ли с того переживать? Он пощупал бок. Раны затягивались стремительно, но вместе с ними приходил голод. Наклонившись, он похлебал водицы. А Таранька, оказывается, не просто мелкий домушник, но подлюка отменнейший... проследил, подговорил.

— И главное, тебя поддержат...

Дружку старинному о переменах сообщат к утру. У него свои пригляды имеются, а вот к Марушке поспешать надо. Если знают про нее, то не оставят в покое. Басурман и поспешал, впрочем, не настолько, чтобы упустить огромного дворового кобеля.

Вкус чужой крови привел в чувство.

Басурман, почти не жуя, проглотил жесткое собачье сердце, икнул и побег. Марушка, конечно, не обрадуется, этаким его завидя, но времени нет, уходить надобно. И кольнуло вдруг: а вот же оно... помер Басурман, и нечего ему возвращаться. А стало быть, самое время убраться куда-нибудь к берегам южным, может, франкским. Помнится, всю жизнь мечтал на мир поглядеть.

Поглядит.

И домик прикупит в каком карамельном франкском городке... выдаст себя за купца отставного или же еще за кого... главное, что пришло оно — время жить.

ГЛАВА 39

Соломон Вихстахович домой вернулся в пресквернейшем настроении. И пиджачишко новый сымал, в пуговицах путаясь и ворча, что понашивали их, чтоб денег взять. Бросил на стул, а ботинки, вместо того чтобы, как оно повелось, поверху куском войлока пройтись да гуталином, сберегая кожу, просто в угол кинул. Прошел, что медведь, вздыхая и приохивая, и, плюхнувшись в кресло, огляделся.

На дочерей.

На сына, который к поступлению готовился, ибо случилось невероятное — проснулся в невзрачном с виду парнишке дар, пусть и не зело яркий, но... магов до того в семье не водилось, а потому Додиком гордились все. Софочка вот только переживала, как он будет, в том университете, там же и кормят плохо, и родителей пускают лишь по дням особым.

У сына было узкое лицо с длинным носом и тонкими губами. Темные волосы вились, и намека на лысину не выдавая, а глаза, черные, цепкие, глядели ласково. Он первым понял, что произошло неладное, книжку очередную отложил и поинтересовался:

— Разговор будет?

Он слегка картавил, невзирая на все усилия гувернера, нанятого исключительно порядку ради, ибо детей своих Софочка предпочитала воспитывать сама, полагая книжные премудрости не премудростями вовсе. Где это видано, чтоб ребеночка кормили пустою овсянкой и хлебом, маслом мазанным? Или вот голодным спать отправляли? Держали в холоде и излишней строгости?

— Будет, — вздохнул Соломон Вихстахович, но, невзирая на все дурное свое состояние, не решился супруге перечесть. А та поднялась, отложив рукоделие, и велела:

— Стол накрывать пора. Не видите, батюшка голоден...

Она искренне полагала, что все тревоги происходят единственно от недоедания или же хворей желудочных, оное вызывающих. А потому при малейшем намеке на неприятности спешила накрывать стол.

Ужинали степенно, без спешки, которой Софочка не любила.

И удивительное дело, тревоги не то чтобы вовсе отступили, скорее уж сделались куда менее тревожными. И мысли успокоились, и душа прекратила метаться. Оно-то, конечно, ничего хорошего не приключилось, но и плохого...

Уже потом, выпивши чаю с самолично Софочкой испеченными кренделями — готовить она умела, и потому кухарка ее искренне недолюбливала, чувствуя, что тут обмануть не выйдет, — Соломон Вихстахович пригласил в кабинет сына и супругу.

И уже там, усевшись в креслице, сказал:

— Возможно, нам придется уехать...

— Куда? — поинтересовался Додик, расстегивая пуговицы на жилете. Матушка следила, чтобы кушал мальчик сытно и много, ибо всякий знает: умственная работа утомляет изрядно.

— Не знаю пока... главное, чтоб отсюда.

— Из Арсинора?

— Из империи. — Он и сам жилет расстегнул, отдавая должное умению Софочки домовничать. А ведь предупреждали его, что за здоровьем следить надобно, и диету блюсти, и вообще...

Додик нахмурился.

Софочка всплеснула пухлыми ручками. Вот ей полнота шла несказанно, сглаживала

острые по девичьим годам черты лица, придавая должные уютность и степенность. И кружевные наряды лишь подчеркивали зрелую женскую прелесть.

— Так все серьезно? — Додик почесал переносицу. — Слухи до меня, конечно, доходили... но я, право слово, значения не придавал.

— Какие слухи?

Соломон Вихстахович вынужден был признать, что его многолетний опыт, равно как и умения, оказался бессилён. Откуда взялись эти в высшей степени престранные слухи? Почему вдруг зацепились за людские умы? Поползли, вытесняя все прочее, будоража дурное...

— Что царь околдован, царевич тоже, что скоро болезни пойдут на мир, а следом империю заселят змеелюды... — Додик скривился, будто бы и говорить об этом ему было неприятно. — Однако я полагал, что люди здравомыслящие подобному не поверят...

— Здравомыслящие, может, и не поверят. — Соломон Вихстахович положил руку на грудь. Бьется, окаянное, беспокоится. И диету блюсти бы надобно, но как, чтоб Софочку не обидеть? — Только сколько их, здравомыслящих...

Додик кивнул.

А Софочка замерла с платочком в руках.

— Мне тут предложили пропечатать несколько статей, но... я отказался. Я себя уважаю. И что бы там ни говорили... — Гнев кольнул большое сердце иглою. — Мы не разносим сплетни... не те, которые мне пытались сунуть...

И предлагали ни много ни мало пятьдесят тысяч золотом. В любой банк, на выбор Соломона Вихстаховича, на счет анонимный либо же наличными, коль ему так спокойнее. И сумма была приличною, да только тем и смутила.

И еще чутье, позволившее уцелеть в погромах и в целом преуспеть, подсказывало, что связываться с оными людьми выйдет себе дороже.

Нет, Соломон Вихстахович, может, и трусоват, но зато дожил до седых волос.

Детей вот вырастил.

И на внуков посмотреть собирается.

— А потому, Софочка, поспешай... думаю, вам с девочками самое время на воды отправиться. На Лазурном Берегу, конечно, дороговато... но пригледеться, домик снять, а там оно и видно будет.

Он вытер испарину.

— Нынешний продавать станем? — уточнил Додик.

— Пока погодим.

Денег хватит на безбедную жизнь, даже если вовсе больше делом не заниматься, и на приданое дочерям Соломон Вихстахович отложил, и на иные надобности. Нет, бедность им не грозит, тем паче что Софочка к состоянию относилась прерачительно.

— Тогда... если я в Сорбонну попробую? — Додика волновал прежде всего вопрос учебы, ибо себя продолжателем отцовского дела он не видел, а Соломон Вихстахович, понимая сына, не неволил его. — По деньгам оно не сильно дороже выйдет...

Софочка тихо вышла, оставив мужчин обсуждать пренеприятные нынешние дела. Ей предстояло объявить об отъезде девочкам. И сделать это следовало так, чтобы не ввести их в волнение. У Розочки поклонник образовался, девочка вполне заупрямиться способна, младшенькие-то обрадуются, а ей...

С другой стороны, воды.

Заграница.

И отъезд ненадолго... сперва ненадолго, а там оно видно будет.

Вечером Соломон Вихстахович, плеснувши коньяку, который потреблял исключительно по особым случаям, перелистывал бумаги. Одни отправлялись в стол, другие — в огонь, благо камин горел ровно, третьи уходили в папку, которую он вознамеревался забрать с собой. По-хорошему и их следовало бы сжечь, но...

Пригодятся. Как бы оно дальше ни повернулось, а все одно пригодятся.

Разобравшись с делами текущими, благо во всех был порядок, Соломон Вихстахович подвинул к себе лист. Подумал... ах, до чего нехорошо с Лизаветушкой вышло. И пусть договор свой он исполнил, да и ныне перевел ей остаток денег, однако...

Предупредит.

А дальше пусть сама думает, оставаться ей или тоже куда уехать.

Если вдруг захочет продолжить, то управляющему Соломон Вихстахович четкие инструкции оставил, не обидят.

Лизавета маялась мигренью.

Напасть эта, весьма приличная для девиц благородного сословия, прежде обходила ее стороной. А ныне... то ли волнения причиной были, то ли полуночные обсуждения, затянувшиеся до самого рассвета, то ли еще какая напасть случилась — тетушка баила, что мигрени приключаются при растущей луне, которая на корни волос влияние оказывает, — но голова болела изрядно.

Лизавета морщилась.

Терла виски и старалась сдержать мучительный вздох, тем паче что обе княжны выглядели пресвежо.

— Будешь? — шепотом поинтересовалась Одовецкая, сунув в руку фляжку. А Лизавета приняла, наклонилась и хлебнула, что было наверняка неразумно, но... от мяты полегчало.

Были там и иные травы, но...

— Погоди, сейчас подействует. — Одовецкая протянула фляжку и Таровицкой, которая тоже не стала отказываться. — Надобно еще продумать, в каком порядке выступать станем.

— Сперва ты... про медицину и все такое. После я... и Лизавета уже в конце с предложениями. Как вчера и собирались. Волнуешься?

Лизавета пожала плечами.

Волновалась. Немного.

Или много?

Все ж выступать перед высочайшим собранием — совсем иное, нежели перед сокурсниками, да и присутствие ее императорского величества несколько смущало. Но что делать? Как ни странно, но травы пошли на пользу. Боль не исчезла, скорее уж попритихла, позволяя Лизавете оглядеться. Надо же, а она и не заметила, когда все переменились столь чудесным образом.

Платье из темно-синего полотна доставили утром с настоятельной рекомендацией оное платье примерить. Было оно впору. Сидело преотлично. И широкий матросский воротник с белой полоской смотрелся вполне себе уместно, как и крупные квадратные пуговицы. К платью прилагались коротенькие перчатки и туфельки на устойчивом низком каблуке.

И только теперь Лизавета поняла, что синие платья с этими вот квадратными пуговицами достались всем. В них сидела и мрачная Залесская, которая привыкла выделяться, а ныне и броши не заколола, и Одовецкая, крутившая пуговичку с презадумчивым видом, и Таровицкая. Что характерно, на последней платье удивительным образом гляделось легкомысленным.

Лизавета моргнула.

Но девиц в синих нарядах меньше не стало. Воротнички, каблучки... когда сказано было, что Ламанова конкурсантками займется, Лизавета, честно, думала об ином, но... вот такое... они на институток похожи. И кажется, эта мысль пришла в голову не только ей.

— А... — Лизавета потерла висок. — Что происходит?

— Ничего. — Таровицкая ковыряла остывшую овсянку. — Просто кто-то решил, что выделяться надо не нарядами...

Принимали их в личных покоях ее императорского величества, в кабинете императрицы, комнате преогромной, на четыре окна, три из которых выходили на дворцовую площадь. Стены и мягкая мебель здесь были крыты светло-голубой дама с белыми узорами, отчего комната казалась еще более светлой и просторной. Задняя часть ее имела полукруглую форму, равно как и огромный диван, вытянувшийся вдоль нее. На диване и устроилась императрица, казавшаяся еще более хрупкой, чем при первой встрече. Окруженная фрейлинами и придворными дамами, она удивительным образом умудрялась не потеряться в пестрой толпе их. И смотрела, казалось, прямо в душу... то есть казалось так наверняка не одной Лизавете, потому как кто-то рядышком вздохнул, кто-то ойкнул, но чувств лишаться не стал, что было весьма благоразумно.

— Присаживайтесь, девушки, — императрица указала на стулья и стульчики, креслица и табуретки, обтянутые все той же тканью, расставленные вольно, — и почувствуйте себя свободно... в конце концов, мы с вами делаем одно дело. Заботимся о нашем народе.

— Как же, — прошептал кто-то за Лизаветиной спиной. — Заботится она... только и думает, как извести.

Лизавета обернулась, но... девицы показались вдруг ей совершенно одинаковыми. Блондинки ли, брюнетки ли, худые или полнотелые... бледные, румяные... разные, но все одно одинаковые.

— Не стой! — Таровицкая потянула ее за собой. — Идем... и бояться нечего. Батюшка говорил, что императрица справедлива, а мы ничего дурного не делали...

Оно-то так, но...

Неспокойно как-то, и вовсе не из-за доклада, к которому Лизавета подобрала с дюжину снимков, однако теперь маялась, стоит ли показывать их. А если и стоит, то сыщется ли экран подходящий? Или же... у нее сил немного, но простую иллюзию на поверхности растянуть хватит. Если, конечно, не сильно тянуть...

Девицы рассаживались.

Перешептывались.

Императрица пила чай, а придворные дамы помалкивали, и чудилось в том нечто... неприятное? Или просто место это Лизавету смущает. Колонны вон беломраморные. Потолки с золочением. Люстра преогромная, на цепях свисающая, а к ней — с полдюжины высоких чаш, над которыми тускло переливалось пламя.

И пусть светло было в кабинете, ибо день выдался ясным, но рожки горели.

Или показалось?

— Полагаю, начнем мы по порядку, — выступила Анна Павловна, раскрывая давешний блокнот. — У вас четверть часа на доклад и предложения. После, если дамы пожелают, вам зададут вопросы. Мы надеемся, что сегодняшняя встреча пройдет...

А еще муха жужжала.

Где-то вот близенько, может быть, над головой Лизаветы, и главное, что этак громко, с назойливостью, жужжанием своим зело мешая слушать речь статс-дамы. Лизавета поискала треклятую муху глазами, но...

Все блестело, сияло и напрочь отрицало самой возможности проникновения мухи в святая святых.

— А потому, прошу...

Муха села на коленку. Лизаветину, само собой. Была она черна и толста, отъелась на императорских харчах. Застывши ненадолго, муха поползла по платью, будто выбирая местечко поудобней. И Лизавета со странным, мучительным удовольствием следила за мухою.

— ...И таким образом, — бодрый голосок Бельниной отвлек и муху спугнул, — мы с удовольствием отмечаем, что приют содержится в отличном состоянии. А если и нуждается в чем, так в новых молитвенниках, на которые мы пожертвовали...

Лизавета с трудом сдержала зевок.

Бессонная ночь решила сказаться в самый неподходящий момент, а может, виной тому было зелье Одовецкой, которая, кажется, сама подремывала, пусть и с широко раскрытыми глазами. Таровицкая оперлась локотком на резной подлокотник, подперла кулачком голову и смотрела... кажется, на муху, которая теперь ползла по белому цветочному узору на стене.

— Стало быть, молитвенники? — уточнила Анна Павловна.

— И еще жития святых, — девица в синем — так и хотелось сказать, что форменном, — платье потупилась, добавляя: — Жизнеописания святых действуют весьма вдохновляюще на юные умы.

— А... простите, — фрейлина в сером наряде привстала, — вы уверены, что иных книг им не нужно? Какие науки им вообще преподают?

Лизавета не без труда подавила зевок.

Не спать.

Позор будет, если она вот так... а если это нарочно? Еще одно престранное испытание? И тогда надобно за мухой следить. Пусть летает, жужжит... мешает сосредоточиться на чужих голосах.

ГЛАВА 40

Девицу звали Аграфеной, и происходила она из рода не то чтобы древнего, но весьма уважаемого, многочисленного и славящегося плодovitостью женщин. У самой Аграфены имелось семь сестер, к счастью, возраста слишком юного, чтобы позволить им участие в конкурсе.

— Как же так, как же так... — Батюшка, барон Буторин, человек пухленький, сдобный и вида совершенно безобидного, всплескивал ручонками, и перстенечки на них посверкивали, словно каменья готовы были вот-вот расплакаться. — Фенушка была такой... такой разумницей...

Матушка, почтенная Белена Макаровна, тихо вытирала платочком слезы, правда, умудряясь при том не повредить толстый слой пудры. Лицо ее, округлое, как у супруга, меж тем почти не выражало эмоций. И лишь пальчики, сжимавшие платок, слегка подрагивали.

— Помолчи, — велела она, и Степан Степанович покорно замолк, позволяя себе лишь вздыхать кротко. — Что случилось? Фенечка была здорова...

— Убийство. — Дмитрий потер покрасневшие глаза. Спать хотелось со страшной силой, но он не мог позволить себе отдых.

Не сейчас.

— И кто посмел? — голос почтенной баронессы, матери семейства, женщины, несомненно, величайших достоинств, о которых ему уже доложили, звучал холодно.

— Пока... неизвестно. Но мы выясним, — пообещал Дмитрий. — Я лично занимаюсь этим делом.

— Вам бы выспаться, — она, большую часть жизни своей проведшая в провинции, управляя преогромным поместьем, не испытывала ни малейшего пиетета пред титулами и личностями, — а после уж искать... поверьте моему опыту, с усталости человек дуреет и слепнет.

— Беленушка...

— А ты помолчи... не мешайся... иди вон к девочкам, они беспокоятся. И скажи, чтоб собираться начинали. Тут нам делать нечего.

Как ни странно, Буторин подчинился. А Белена Макаровна лишь тяжело вздохнула:

— Он хороший... девочек любит. И меня тоже. Только слабый, ну да я сильная... а так... не игрок, не пьянчуга. За птичками вот наблюдает.

— За какими?

— За всякими. Биноклю купил. Бывает, встанет на заре и давай по полям ходить. Крестьяне сперва-то пугались, а после ничего, попривыкли. Блажит себе, и ладно... вон атласу издать думает, о птицах нашей земли. Я и денег дам. Все лучше, чем в карты просадит. Так что вы меня спрашивайте, я отвечу, что знаю.

— А что вы знаете?

И Белена Макаровна призадумалась, правда, ненадолго. Она вздохнула, платочек отложила и вынуждена была признать:

— Немного... понимаете, Фенечка в отца пошла. Вроде и разумница, а замечтается... придумает себе чего-то там... я-то, признаюсь, надеялась, что подрастет, повзрослеет, детки пойдут, тут то и мечтательность повыведется... а пока... почему б и нет? Она, как про конкурс эту услышала, прямо покой потеряла...

— За царевича замуж выйти хотела?

— Не то чтобы за царевича... вы поймите, мы в провинции живем, тихо, мирно. Ладно.

Только там все свои, с юных лет знакомые. Я ей и говорила, чтоб пригляделась, а ей нехороши. Тот сутулится. Другой говорить красиво не научен. Третий и вовсе больше про коров думает, нежели про любовь. Ей-то казалось, что любовь с коровами никак не совместимо.

Голос Белены Макаровны дрогнул, но слезы она сдержала.

— И решила, что тут всенепременно встретит свою любовь, ту, которая единственная и на всю жизнь. А я перечить не стала. Подумала, может, и вправду? Мы-то там давно друг другу родня, дальше родниться уже опасно. Тут же... Фенечка и собой хороша, и обучена, может, без ваших университетов, но учителям мы платили не скупясь. И приданое ей положили мы приличное... глядишь, и вправду устроила бы жизнь.

В столице, куда отправились всем семейством — Белена решила заодно и младшеньких вывести в люди, — Аграфене понравилось несказанно. Все тут сияло, блестело и навевало превосторженнейшие мысли. И пусть Белена пыталась донести до дочери, что блеск сей — исключительно внешнее свойство имеет, но выходило не особо.

А после был дворец.

И другие конкурсантки, которые казались Аграфене вовсе уж невозможными красавицами. Рядом с ними она терялась, стеснялась и провинциальных своих нарядов, и привычек, о чем маменьке и писала.

Часто?

Да, почитай, каждый день... шкатулка-то имелась. Само собой, пусть дорого, но как это свое дите вовсе уж без пригляду оставить?

И письма сохранились?

Естественно. Передать? Если уж надо, то передаст, однако в них навряд ли что полезное сыщется. Там одни девичьи благоглупости. Наряды, сплетни... О чем? Да обо всем... она девчонка... была... и писала, чего услышит. В голове-то пока ветер, пустота...

Романы?

Ох, чуяло материнское сердце неладное. Так-то она прямо ничего не писала. Но вот... чуяло, иначе не скажешь. Прежде-то письма приходили пространные такие, то про одно зацепится, то про другое. А тут стало, мол, все прекрасно, и точка. Только в последнем обмолвилась, что в скором времени порадует нас удивительной новостью.

Какой?

Да известно какой... Белена Макаровна уж приданое перебирать принялась. Мысленно, само собой... нет, не опасалась, что дочь ее свяжется с неподходящим человеком или себя уронит. Хорошо она воспитана, с уважением и разумением. А что до неподходящего, то на любого управу найти можно, если не глянется.

Кто?

Нет, знать не знает... Подруженьки? Да вот как-то... не вышло. Характер у Фенечки был такой, не дуже общительный. У нее-то и дома приятельниц одна-две, не того она норову, чтобы слегку знакомства заводить. И нет, никого она не упоминала, разве что вскользь... в письмах сыщется.

Обязательно.

— И... — Белена Макаровна сжала кулачки. — Вы полагаете, что он ее?

— Мы... будем искать, — расплывчато пообещал Димитрий.

И когда найдут — а в том, что найдут сего красавца всенепременнейше, — он самолично за клещи возьмется...

Лизавете каким-то чудом, не иначе, удалось не уснуть. Хотя... отчего чудом, благодарить следовало Таровицкую с ее булавкой, которая впивалась в руку, стоило Лизавете чуть смежить веки. Короткая боль избавляла от наваждения.

Лизавета вздрагивала.

И пыталась слушать.

Про приюты... про дома призрения, даже про тюремный госпиталь, пребывавший в состоянии удручающем, что, конечно, было следствием совершенно недостаточного финансирования. Про финансирование Марфа Залесская, походившая на премиленькую фарфоровую куколку, говорила бойко, с душой.

Доклады шли и шли.

И Снежка рассказывала про старый храм, где души держат взаперти. Авдотья же — вот, стало быть, с кем она в пару попала — бойко перечисляла что-то там про историческую ценность и реставрацию, которую надобно проводить, но только при условии, что церковь сама поучаствует в сем спасительном деле.

Она говорила и про кладбищенскую ограду.

И про силу, которой земля пропиталась. И про люд темный...

А потом наступила их очередь. И княжна Одовецкая поднялась, протянув узкую ладонь извечной своей сопернице, а та помощь приняла. И Лизавета встала, чувствуя, что ноги занемели, и не только они.

Духота стала невыносимой.

Во рту пересохло.

И... кажется, она забыла, о чем говорить надобно. А императрица знай смотрит. И улыбается этак задумчиво, с печалью... Чего смотрит? Чего в Лизавете интересного?

Она стиснула кулачки так, что ногти впились в кожу. Наносное... быть не может, чтобы это было просто от усталости. И значит, проверяют... Она повернулась, чтобы видеть и фрейлин с императрицей, и девиц, многие из которых откровенно дремали, иные и забывшись. Вот кто-то уронил голову на руки, кто-то и похрапывал, тоненько, задорно... стекала ниточка слюны из приоткрытого рта.

И это было неприятно.

Лизавета моргнула.

Не думать о них...

Одовецкая докладывала спокойно, с видом таким, будто бы не в первый раз ей выступать пред аудиторией высокой. И говорила она складно, и Лизавета даже позавидовала: в собственных силах она была куда как менее уверена.

Вот и Таровицкая речь подхватила. А Лизавета ощутила теплое прикосновение. И уверенность с ним... она вдруг успокоилась, разом отбросила лишнее и... ведь репетировала же?

Репетировала.

А потому сумеет...

Всего-то надо, что рассказать о людях...

— ...Всего триста пятьдесят человек, среди которых мужчин лишь семеро, что создает... — свой голос она слышала будто бы со стороны. А вот спроецировать снимок на поверхность получилось весьма легко. И более того, стоило тому задрожать, как нить подхватила Таровицкая, щедро напоив заклятье огненной силой. — Эти женщины

привычны ко многому... они умеют трудиться и труд ценят...

Говорить стало легко.

Просто глядеть надо не на императрицу, но на снимки. Вот давешний их помощник, оседлавший гнилое тележье колесо. И смотрит он на Лизавету этак со снисходительным прищуром: мол, знаю, что на самом деле тебе, может, безразличны все наши заботы, но и чего сделаешь, все примем, люди не гордые...

— ...Предложить альтернативу. Кто захочет, поможем об устроиться в городе. Детей постарше...

Три девочки, чумазные донельзя, жмутся друг к другу, что воробышки. Только глаза поблескивают ярко.

— ...Однако для многих городская жизнь покажется чересчур уж иной. Они не привыкли отдаляться от земли...

Две женщины делят хлеб, вынимая из корзины, ломая и рассовывая куски в протянутые руки. Рук множество, одинаково грязных, смуглых, и почему-то от вида их на глаза наворачиваются слезы.

— ...Поэтому мы сочли возможным предложить им иной вариант, связанный с переселением. Он будет выгоден и для них, и для принимающей стороны, что...

Темное дерево.

Мертвое поле... больше не мертвое, но теперь Лизавета знает: земля больше не позволит поставить здесь дома или иную какую тяжесть. Слишком близко подошли воды к поверхности, слишком жива в мире обида давешняя, а значит, скоро прорвется она ледяными ключами, подтопит пустырь, смывая всякую память о деяниях человеческих.

Она вдруг поняла, что слова иссякли.

И последний снимок, с девчушкой, которая сидела босая, с побитыми исцарапанными ногами, одетая лишь в материну косынку, но при том счастливая несказанно — в руках она держала половину пышной булки. И жмурилась.

И щурилась.

И улыбалась щербато...

Наверное, это не то, что следует показывать императрице, однако...

— Молодец, — шепнул кто-то.

Одонецкая?

Таровицкая? И чего ругаются... Лизавета подавила вздох. Жить надо мирно.

Она вернулась и присела на диванчик, показавшийся вдруг неожиданно жестким. Зато колоть себя больше надобности не было, сонливость, еще недавно мучившая, сгинула.

Зазвенел колокольчик.

А ее императорское величество поднялась, и тут же все пришло в движение. Зашелестели юбки, запорхали веера в умелых ручках, поднимались фрейлины, до того сидевшие неподвижно, будто и не живые вовсе. Спешили расправить складки на юбках статс-дамы, и лишь гофмейстерины по-прежнему хмуро наблюдали за девицами, которые вставать не спешили.

То есть те, что бодрствовали, встали, само собою, а вот иные...

И вновь колокольчик.

И даже удар гонга, хотя в покоях императрицы гонга Лизавета не заметила. И вот уже сонные, разморенные девушки крутятся, вертятся... позевывают, неловко прикрывая

зевки кто веером, а кто по-простому, ладонью.

— Я рада, — заговорила императрица, и все смолкли разом, — что все вы подошли к заданию с должной старательностью...

Ее речь текла, что вода по камням.

— ...Мое решение вам сообщат, — закончила ее императорское величество, и девы присели, на сей раз одновременно. — А пока... думаю, Анна Павловна с превеликим удовольствием ответит на все ваши вопросы, если, конечно, они имеются.

Императрица покинула кабинет, и свита удалилась с нею, кроме несчастной Анны Павловны, которую окружили девицы. И небось у каждой имелся наиважнейший вопрос.

— Идем, — дернула Лизавету Одовецкая. — Или тоже хочешь... показаться?

— В каком смысле?

Головная боль возвращалась, тягучая, выматывающая. И наверное, будет неплохо прилечь, отдохнуть хоть бы с четверть часа.

— В обыкновенном. Или думаешь, что у них действительно что-то важное? Может, у кого-то и есть, но сомневаюсь. — Таровицкая заколола волшебную булавку в воротник.

— А что тут вообще было? — Лизавета, пользуясь случаем, отвернулась и потерла глаза, в которые будто песку насыпали.

— Ментальное воздействие... к слову, крайне бесполезное для здоровья. — Одовецкая подпрыгнула на месте. — Что? Физическая активность — лучшее средство привести в порядок и тело, и разум. Предлагаю продолжить беседу в саду, если, конечно, у тебя нет иных дел.

Дела были.

Но Лизавета подавила зевок: все же следовало бы поспать. Однако она знала себя: любопытство врожденное уснуть не позволит.

В саду грело солнышко, пели птицы где-то в кучерявых ветвях и бабочки порхали с одного розового куста на другой, Этакая пастораль полнейшая.

— На самом деле оказывать ментальное воздействие выше третьего уровня на человека без письменного его согласия или же постановления суда незаконно. — Одовецкая наклонилась, пытаясь дотянуться кончиками пальцев до туфелек. Юбка ее некрасиво задралась, но Аглаю сие, кажется, нисколько не беспокоило. Выпрямившись, она подняла руки над головой и наклонилась сперва вправо, после влево.

— Мы договор подписали. — Таровицкая сорвала розу и понюхала ее осторожно, так, будто и от цветка ожидая подвоха. — А с ним, полагаю, и согласие дали... на многое. Там некоторые формулировки были на редкость расплывчаты. Я папеньке говорила...

Лизавета подавила то ли вздох, то ли зевок. Она договор и не читала-то толком, а уж то, каким языком оные договоры писались, и вовсе беда. Он ей казался куда сложнее что латыни, что древнегреческого.

— Но зачем?

— Полагаю, цель двойная. — Одовецкая, воровато оглядевшись, стянула туфли и чулки. И босые узкие ступни ее оказались пятнисто загорелыми. — Во-первых, понять, насколько мы к воздействию устойчивы... оно же слабеньким было, достаточно силы воли, чтобы противостоять.

И булавки.

Одовецкая топталась по траве, и выражение лица ее было презадумчивым.

— А во-вторых?

— Во-вторых... — ответила почему-то Таровицкая, — той, которая победит, придется присутствовать на многих официальных мероприятиях. И поверь, часто они мало что тянутся часами, так еще и выдержки изрядной требуют. Попробуй на коронном приеме задремать или присесть...

Ага.

То есть... почему-то Лизавете конкурс красоты немного иным представлялся.

— Мне другое интересно. Куда Лужанская подевалась? — Таровицкая уронила розу. — И мне кажется, что тут происходит что-то на редкость поганое... папенька куда-то исчез...

— А мне бабушка предложила уехать, — то ли пожаловалась, то ли просто поставила в известность Одовецкая. — Только я в монастырь не хочу... тоска там смертная. Они, конечно, многое знают, монахини, но все равно тоска... или книги читать, или врачевать, или в огороде работать...

Княжна — и в огороде?

Как-то оно одно с другим не стыковалось.

— Тогда оставайся.

— Останусь, куда я денусь. — Она вздохнула и пошевелила пальцами на ногах. — К слову, премного рекомендую. Ходить босиком — весьма полезно для здоровья.

Комната, которую отвели покойной, ничем не выделялась среди прочих. Была она невелика, из тех покоев, что предоставляются людям случайным, не имеющим при дворе особого веса. Стены, отделанные розовым штофом. Пара картин. Кровать, которую то ли убрали, то ли прилечь в нее не успели.

Пахло здесь розами.

И букет их тихо увядал на столе. Цветы явно были срезаны несколько дней назад и, несмотря на заклятье, успели утратить былую свежесть. Бутоны скукожились, лепестки потемнели, облетели на столешницу. А вот карточка обнаружилась под вазой.

«Моему сердцу, Н.»

И писано, что характерно, почерком презнакомым. Дмитрий с трудом удержался, чтобы не выругаться. Он определенно не отправлял роз девицам, тем более несвежих, но вот что неизвестный забрал себе не только чужое имя, но и почерк, злило.

Не то чтобы скопировать не могли... могли, изъять какое-никакое письмецо из тех, которые приходится писать лично, несложно. Подделать... всяких умельцев в мире довольно. Но уже то, что убийца в принципе соизволил возиться с подделкой, навевало на редкость поганные мысли.

А что, если...

Письмецо не одно? Это так, то ли брошенное, то ли позабытое, то ли оставленное нарочно, чтобы подразнить. А вот вдруг отыщется другое, скажем, адресованное покойной? А в нем душевные признания, которые поди-ка опровергни... или просьба о встрече...

После которой девицы не стало.

Погано.

Еще как погано...

Дмитрий записочку убрал в карман. И огляделся. Что он о девице узнал? Романтична и замкнута? Подружек, с которыми можно было бы фантазиями поделиться, нету. Матушке тоже писать стала мало, а значит... значит, надобно дневник искать.

И где?

Он приподнял перину.

Заглянул в шкаф, где отыскилось с полдюжины нарядов, пусть не роскошных, но вполне себе приличного образа. Пересчитал туфли. Пересмотрел чулки и белье, чувствуя некоторое смущение, впрочем, его Дмитрий поборол быстро.

После посмущается.

Дневник обнаружился в ящике стола. Пухлая тетрабочка, изрисованная розами и соловьем. Рисунок, стоило признать, был исполнен весьма талантливо. А вот почерк у девицы оказался преужаснейшим. Махонькие и какие-то кучерявые буквочки жались друг к другу, сплетаясь в бисерные словечки.

«...Маменька затеяла пироги печь, не понимая, что мучное ведет к застою желчи, которая, в свою очередь, дурно сказывается на движениях тонкого тела...

...Арина сказала, что давече гадали на жениха, повесивши кольцо на волосе. И ей выпало скоро замуж идти. Какая же нелепость! Ей и двенадцати нет, а уже о замужестве думает и о богатстве, не понимая, что главное в браке — любовь».

Димитрий перелистнул страницу.

Это про жизнь в поместье... и снова... романтические вздохи и жалобы, что никто не разделяет чувств несчастной. Маменька занята, папенька весь в птицах... соседи глупы, а их сыновья черствы и думать горазды лишь о вещах глубоко приземленных. А она знать не желает, сколько надобно заплатить, чтобы почистить пруды и завести в них карпов.

И будет ли с того прибыток.

Дальше.

Чужая жизнь, откровенная, порой неприлично откровенная, пролетала перед глазами, не вызывая ничего, пожалуй, кроме раздражения: зачем он вообще копается в мелких этих страстишках?

Мечты о поцелуе.

И о супруге, которого она полюбит — как иначе-то — всей душой. И он ее всенепременно тоже полюбит. Будет носить на руках и читать стихи.

Всенепременно тонкие.

А еще они будут встречать рассветы и провожать закаты, рассуждая о красоте природы, о мире и...

Столица.

Надежда, вспыхнувшая в груди: папенька не откажет... конечно, не откажет... если маменька согласится. Но для нее надобно аргументы найти. К примеру, о замужестве, которого маменька так жаждет. И сама Аграфена не против, но за кого...

В столице кавалеры иные.

Тонко чувствующие и с манерами, они небось носы не вытирают рукавами.

Тут Димитрий мог бы и возразить, но кому? А главное зачем?

Впечатления о поездке, которых хватило на пять страниц. И восторг, и опасения, что своей провинциальностью она отпугнет грядущую любовь.

Дворец.

С этого момента Димитрий читал внимательно, правда, порой матерился сквозь зубы, когда восторгов или же, напротив, жалоб становилось чересчур уж много.

Она рассчитывала блистать.

А вот блистающих оказалось больше сотни. И родовитых. И именитых. И с манерами. И с образованием, не чета домашнему...

Неудивительно, что, раненная собственными надеждами, Аграфена не сумела найти подруг. Напротив, она с каким-то упоительным азартом выискивала в других конкурсантках недостатки.

У кого нос великоват.

У кого лодыжки неприлично грубы, что явно свидетельствует о присутствии крови обыкновенной. Кто болтлив. Кто глуп...

Вспору досье составлять, надобно будет передать дневник, пусть отработают профили.

А вот о любви ни слова.

Первый конкурс и злость, которую Аграфена выплеснула в ядовитых словах. Как же, ее композиция, должна поразить своей смелостью и свободой творческого выражения, удостоилась лишь сдержанной похвалы.

Она так старалась.

Так...

А ее не заметили. И более того, высочайшее одобрение заслужила...

Помним, рыжая.

Димитрий хмыкнул и перевернул страницу. Надо же, какие страсти в цветочных кустах кипят. И ехидная характеристика — престарелая кокотка, конечно, — показалась на редкость лицемерной. Впрочем... он нашел то, что хотел.

Встреча.

В парке. Она предавалась печали, смутно подозревая, что отыскать личное счастье будет не так просто, как ей представлялось. Он же прогуливался, чтобы случайной встречей перевернуть всю ее серую жизнь.

Димитрий перечитал дважды и почесал нос.

Прогуливался, стало быть. И жизнь серая... ага... короткий разговор. Сорванная роза, чьи шипы пронзили пальцы кавалера, символизируя пролитой кровью чистоту чувств.

Роза выпала из страниц, измятая, почерневшая.

Ее испуг. И его признание, что заметил он Аграфену давно, но, пораженный в самое сердце чистотой ее и кротостью, не осмелился приблизиться. И вот теперь лишь страх утраты возлюбленной...

Димитрий заскрипел зубами.

Вот чтобы он так выражался? Или... девица, конечно, премечтательнейшая, с нее станет слегка приукрасить. Он вернулся к строкам и вынужден был признать, что чтение это совершенно бесполезно. Ее избранник был прекрасен, особенно душой. Он обладал на редкость живым умом и тонким восприятием мира. Он читал стихи и говорил о жизни, той самой совместной, полной взаимной любви и совместных прогулок под луной.

Правда, пока предпочитал гулять в старой части сада, ибо только там их не могли видеть другие люди, способные неумным любопытством своим и склонностью к сплетням нанести непоправимый урон репутации Аграфены.

Стало быть, встреч избегал, за что ему спасибо.

А девушка влюбилась. Она так долго ждала этого события, которое все не наступало и не

наступало, хотя ей давно уже исполнилось девятнадцать, тогда как в романах влюблялись особы куда более юные и бестолковые, что отдалась ему всецело.

Ее просят о поцелуе?

Она смущалась и дарила поцелуй, посвятивши тому событию оду в кривобоких стихах. Ее держали за руку? Это стоило сонета. Ей говорили... что-то там говорили, ибо в дневнике было сложно разобрать, где, собственно говоря, заканчивались фантазии и начиналась реальность. Но главное, ее избранник, пусть и твердил о любви, не спешил делать предложение.

Почему?

У него много завистников. И его вовсе не должно быть при дворе в это время, однако он посмел нарушить приказ и явиться пред синие очи Аграфены, не страшась даже высочайшего гнева. Но его императорское величество, прознавши про то, может разгневаться куда сильнее.

И тогда тяжело придется самой Аграфене.

Она же не хочет ехать за возлюбленным на каторгу?

Нет, она бы поехала, несомненно, повторяя подвиг Александры Давыдовой, ибо силой душевной обладала ничуть не меньшею, а уж ради возлюбленного... промолчать? С удовольствием. Ей это доставляло престранное мучительное удовольствие: глядеть на женщин, которые в приземленности своей не способны были увидеть примет истинной любви. Глядеть, слушать их обсуждения, в которых они были бесстыдно откровенны, и знать, что никогда-то ни одна из мечтательниц этих не станет женой Митеньки...

Она решилась-таки назвать его по имени.

И имя это заключила в ободок розовых сердечек, подчеркнувши дважды, что Митенька несказанно внимателен и сам спрашивает Аграфену про конкурс, про конкурсанток. А уж выслушивать ее рассуждения готов часами. И никогда-то не упрекал в излишней язвительности либо в отсутствии должной скромности.

Информация нужна была?

Так сказать, изнутри... И о чем это говорит? Святой отец ошибается, и убийца мужчина? В противном случае, что помешало бы ей самой войти в круг конкурсанток? Если уж способна она, неизвестная, примерить обличье мужское, то и женское сотворила бы с легкостью.

Он перелистнул страницу.

А вот и набросок карандашом... Он просил сохранять тайну, и Аграфена хранила со всем пылом влюбленной, ведь никто и никогда не полезет читать ее дневник. То есть ей так представлялось, стало быть, тайна пребывала в полной безопасности.

Как и портрет.

Смотреть на себя со стороны... Димитрий подошел к высокому трюмо и портрет прижал к зеркальной глади. Взглядом смерил... а ведь преинтересно выходит. Сходство, конечно, имеется, однако на портрете он несколько... приличней выглядит, что ли? Черты лица строже, но и тоньше. Подбородок прямой, нос не так чтобы и велик и вовсе не клюваст, скорее уж обзавелся благородной горбинкой. Исчезли шрамы, то ли не удостоены были запечатлевания, то ли, напротив, умышленно их скрыли.

И да, узнаваем, однако притом...

Этак дворцовые портреты малюют, делая рисованных людей чуть получше, поприятней с виду.

— Интересно, — пробормотал Димитрий, возвращая рисунок, которому предстояло стать уликой в деле. — Очень интересно...

И вот гадай, было ли это результатом фантазии девичьей, либо же обличье его слегка облагородили, дабы девицу вовсе не спугнуть.

Он вернулся к книженции, в которой нечитанной осталась пара страниц.

Ночная прогулка.

И подробный рассказ о чужих нарядах, которые были чересчур уж роскошны, а стало быть, нескромны. Сетования, что обещанное слово не держат и не спешат предоставить новые платья, более того, Аграфену и к обсуждению их не допустили. А уж у нее имелись идеи пречудесного свойства.

Она бы сотворила такой наряд...

Решительный, революционный.

И его согласие. И вновь поцелуй, правда, он показался Аграфене холодным, впрочем, она тут же нашла оправдание: его беспокоит их будущее.

Вдруг да император, разгневавшись, согласия на брак не даст? А ведь прошение подавать надобно, ибо прогулки прогулками, но душа требует большего, а маменькино воспитание не позволяет уронить себя.

Просьба о встрече.

И намеков, что будет она особенной, воспринятый в одном толковании: Аграфене сделают предложение. На последней странице дневника она терзалась, стоит ли предложение это принять сразу либо же потомить кавалера ожиданием.

Дневник Дмитрий закрыл.

А вот засохшую розу, ту самую, поднесенную при первой встрече, поднял. Надежды, конечно, немного, но вдруг да убийца, кем бы он ни был, недооценил глубину романтизма барышни. Если шипы и вправду пронзили, то капля крови должна была остаться.

С каплей крови многое сотворить можно.

ГЛАВА 41

Авдотью Лизавета встретила у самого дворца. Та сидела на лавочке и морщилась, подставивши лицо свое солнечным лучам. Иные вот прятались под шляпками да кружевными зонтиками, ныне в моде была благородная бледность.

— Доброго дня. — Лизавета остановилась у лавки, и Авдотья лениво открыла глаза. Ее шляпка, украшенная полосатыми ленточками, лежала на коленях, туфли валялись здесь же, на траве, а на чулках виднелись прилипшие травинки.

Кажется, не одна Одовецкая полагала прогулки по траве полезными для здоровья.

— Доброго. — Авдотья подвинулась. — Садись... тут хорошо. Птички поют.

— Бабочки порхают.

— Ага...

И замолчала.

А Лизавета неловко спросила:

— Что-то случилось?

— Случилось, — не стала отрицать Авдотья. — Вчера я едва человека не застрелила... и знаешь, может, за дело. Он в нас камень кинул, только... все одно... тетеревов я стреляла. Волков тоже. На лисиц ездила... лисья охота у нас преотменная. А вот человека чтобы...

— Мне жаль.

Она пожала плечами и призналась:

— Самое поганое, что я вот сижу, думаю и пытаюсь понять, хватило бы у меня духу или нет.

— И как?

— По всему выходит, что хватило бы. И что совесть после навряд ли заела бы. И наверное, это неправильно. Может, прав был папенька, когда говорил, что мне в пансионе расти надобно, а не на границе.

— Поздно уже. — Лизавета платье погладила и отметила, что, несмотря на сходный крой и ткани, Авдотьино было все же сшито чуть иначе.

И сидело неплохо.

— Поздно, — вздохнула Авдотья. — А еще я перетрусилась изрядно... представляешь? Повезли нас на кладбище, будто бы разбираться с реставрацией храма. Мол, прошения идут и идут, народ беспокоится... хотя не понимаю. Храм же в ведении церковном, пусть бы они и реставрировали.

Лизавета кивнула, это было тоже непонятно.

— Что мы думали? Походим. Поглядим на эти развалины, запишем, чего сделать надобно. Потом бы смету составили, глядишь, прикинули бы, у кого денег искать. Папенька на это дело всегда купцов потрошит... ну, то есть не то чтобы прямо берет их и того... Уговаривает. Они нам, скажем, купальни построили для простого люду, а отец им — разрешение при этих купальнях иные открыть, платные... всегда договориться можно.

Запел соловей.

Днем?

Или, может, тутошние соловьи по иному распорядку живут?

— Нас-то встретили честь по чести, провели, показали... там и вправду надобно ремонт делать, пока крыша не обвалилась. Помню, еще батюшка, такой молодой, серьезный, рассказывал, что, дескать, приход у него бедный, старики одни. В Спасоземский храм привыкли ходить, в другие далече, а там крыша течет. И стены потемнели, и вовсе храм этот вот-вот рухнет. Я писала, а Снежка... она закружилась и... полезли. Я не боюсь, понимаешь?

— Чего не боишься?

Лизавета тоже скинула туфельки, которые перестали казаться такими уж удобными. Ноги затекли, а над пяткою, кажется, вовсе натерло. Надо будет капустного листа попросить, иначе завтра вздуется волдырями белыми.

— Думала, что ничего не боюсь... а тут... как полезло из стен. Мамочки милые! — Авдотья прижала ладони к щекам. — В жизни такого... сердце прямо в пятки. А Снежка крылья распустила, закружилась... и крылья такие белые, лебяжьи. Тут батюшка и заголосил, что, дескать, мы храм осквернили. Я ее за плечо, а эта дуреха не слышит. Идет... из храма. А призраки за нею.

Лизавета представила этакую картину и... от души пожалела, что не была там. Вот бы снимок получился преотменный, и главное, в тему-то... или написать? Про конкурс-то скучно выйдет, даже если покрутить, что девиц благородных отправили по местам, от благородства далеким. Благо доклады она все ж выслушала...

И про императрицу, которая хоть во дворце живет, но все одно о простых людях печется куда больше, нежели власти местечковые.

— И с могил стали подыматься... а там люди. Кто-то заверещал... Дашка, дуреха, сомлела со страху. У меня самой коленки трясутся. Батюшка верещит дурным голосом... потом кто-то камнем кинул, вот тут-то я и очуняла. Поняла, что еще немного, и сметут, благо револьвер при мне был.

— А ты его...

— Привычка, — повинилась Авдотья. — У нас там без оружия не больно погуляешь. Я и пальнула со страху в воздух. А после сказала, что если батюшка не заткнется и людей не успокоит, то... его на тот свет отправлю.

Она тяжело вздохнула.

— Думаешь, жаловаться будут?

— Будут, — уверенно сказала Лизавета и взяла подругу за руку. — Но и пускай... ничего они не добьются.

— До тетки точно дойдет... а она папеньке отпишется...

— И что?

— И ничего. — Авдотья мазнула ладонью по глазам. — Ты права, ничего... я живая, Снежка тоже. И души отпустила, сказала, что крепко их привязали.

Она потянулась за туфлями и, надев их, добавила:

— А еще сказала, что за Одовецкой много стоит, только над ними у Снежки силы нет. Так что передай там, пусть побережется.

Лешек разложил бумаги на столе.

Кабинет его, на самом деле преогромный, выходящий окнами на реку, по которой все так же степенно и неторопливо ползли крохотные пароходики, казался небольшим. Во многом происходило это из-за шкафов из красного дерева. Выполненные массивными, они давно уже, еще до появления цесаревича, сроднились с этими, дубового колера, стенами. Поистерлась слегка позолота на ручках, поблекли надписи. И лишь черный

бюст папы римского, стоявший в кабинете еще со времен Смуты, казалось, был не подвержен времени.

Пара колонн уходила в узорчатый потолок.

Спускалась на цепях преогромная люстра, подаренная в позапрошлом году купеческой гильдией. Поблескивали зеркала, слегка прикрытые тканью. А огромные столы скрывались под горами бумаг.

— Мне вот любопытно, — Димитрий поднял одну, пробежался взглядом и отправил в мусорную корзину, где, по его мнению, таким доносам самое место было, — ты здесь порядок когда-нибудь наведешь?

— Когда-нибудь наведу.

Корзина была переполнена, как и чаша Лешекова терпения. Он ерзал, то пытаясь распрямиться, то сгибаясь, но осторожно, дабы модные узкие брючки не треснули. И понимание, что вот эту красоту еще весь вечер терпеть, раздражало несказанно.

— Что у тебя? — Он отложил тросточку и не без удовольствия расстегнул пуговички на пиджаке. Пуговички были узорчатые, отделанные камнями и оттого, верно, весьма и весьма неудобные.

— У меня... список у меня. — Димитрий устроился на кушетке.

Укрытая в алькове меж двумя колоннами, она была стара, слегка скрипуча, но меж тем весьма любима. Помнится, на ней еще император в годы молодые отдыхать изволил.

— Если взять старые роды, то, на счастье наше, их осталось не так много.

— Их и было не так много, — счел нужным уточнить Лешек, отправляя тросточку под кресло. Сам же он лег на ковер, раскинувши руки. — Ты говори, говори, а мне настроиться надо... представляешь, казаки еще двух красавиц отловили, что собирались проникнуть в опочивальню. Угадай: зачем?

Димитрий фыркнул.

— А это ты зря... одна платочек поднести хотела, самолично вышитый... и узор, что характерно, прелюбопытный. Если бы принял, женился бы...

— Приворотное?

— Именно, но не наше... наши-то меня не возьмут, а вот узор... откуда взяла?

— Выясним.

— Уже выясняют... извини, я уж сам, решил тебя не отвлекать.

— А вторая? — счел нужным уточнить Димитрий. — С полотенцем?

— Почти... носки мне связала. Из собачьей шерсти.

— С узором?

— С ним самым... и главное, почти один в один. Но обе дуры... объявим, что испытание не прошли...

— И заболели с горя. — Димитрий почесал нос. Вряд ли девицы вспомнят, откуда в головы их пришла преудивительная мысль подарить цесаревичу платок. Или носки. И откуда появились узоры... Их дразнят.

Намекают будто, что на всякую змею своя отравка найдется.

— Так что там с родами-то? — Лешек лежал, почти не шевелясь, только на щеках его проступили бледные чешуйки. А стало быть, злится.

Весьма злится.

— Было их сперва три дюжины, но многие Смуту не пережили. Вот что удивительно, если верить архивам, то силой они обладали немалой. Однако никогда не отличались ни плодovitостью особой, ни жаждой власти...

— Вот это ты зря... папенька рассказывал, что еще как отличались. Он-то тогда с дедом моим, стало быть, рассорился не сам, помогли... у него вроде как невеста имелась. И любил он ее... только она не из древних была, а потому случилось несчастье, сбежала она с офицериком каким-то, замуж за него выскочила. Правда, после клялась, что помутнение нашло, что не знает она, как и почему...

Он поднял руку и поскреб ногтем кончик носа.

— Линька скоро, — вздохнул, жалуясь. — Зудит все со страшною силой...

— Терпи.

— Терплю.

— Приворожили?

— Скорее внушили... внушение-то, сколько б ни держалось, все одно спадает. А отцу другую девицу подсунули... из... как же их... он говорил, а я вот запомнил. Надо будет уточнить.

— Уточни. — Димитрий тоже глаза прикрыл. Из головы его аккуратно девица и не выходила. Их как-то слишком уж много стало что во дворце, что в Димитрия собственном окружении. И главное, дел-то у него полно, а он об одном думает...

О носике остреньком.

И глазах темных-темных, черных почти, будто опаловых. О волосах рыжих... прядки тоненькие, пружинками завиваются. Потянешь — распрямятся, отпустишь...

Нет, один вред от этой рыжей.

Тут дело государственное, а он...

— Уточню. Папенька еще сказал, что императорской руки они держались только потому, что прямо укусить не могли. Шапка треклятая и клятва крови не давали, а как не стало императора, то и клятва рассыпалась.

Может, потому и избавились бунтовщики от высочайшего семейства, не пощадив ни женщин, ни детей, ни стариков? Может, подсказали им? Помогли... не прямо, нет. Клятва не позволила бы...

Но императора не стало.

Известных наследников тоже, ибо числился Александр пропавшим. После уж было и возвращение, и коронация торжественная, и новая клятва, которую выжившие приносили, пусть и с невеликою охотой — Димитрий вполне себе сомневался, что кому-то из них вправду хотелось себя во власти ограничивать, — но по необходимости.

Кто был, тот принес.

А вот кто не принес... тут уж вопрос интересный. И не может ли статься, что искать надобно среди мертвых? Или среди тех, кого таковыми полагают.

— Выжили Бужевы, но Святозар вряд ли при деле. Наши говорят, что ему недолго осталось. Его сестрица невесткой своей занялась, переехала, стало быть, утешает. Думаю, уговорит-таки ребенка родить. Только...

Чешуи становилось больше. Она покрывала лоб и переносицу, которая сделалась словно бы шире. Исчезли губы, разгладились черты лица, и проглядывало в нем что-то такое, донельзя жуткое.

— ...Все одно вычеркивать рано. Если один выжил, то и второй мог... или наследника оставить. Хотя о взрослом мы бы знали, а младенцу откуда секреты родовые узнать? С

другой стороны, кто-то же вытащил Бужева из монастыря...

— Старший? — предположил Лешек.

И Дмитрий кивнул. Он и сам о том думал. Конечно, Бужеву-старшему было бы лет изрядно, но... не для мага, и мага сильного, коим он являлся.

Маги иначе годы считают.

Да и живучи, заразы, просто-таки до неприличия.

— Правда, — Дмитрий ткнул пальцем в бумажку, но не прорвал насквозь, — они больше по крови... и по запретной волшбе.

— Книгу пишет?

— Чего-то да пишет...

— Надобно будет полечить его. — Лешек поднял руку и пошевелил огрубевшими короткими пальцами, на которых янтарными искрами поблескивали ногти. — А что? Свой некромант в хозяйстве пригодится. Объявить амнистию высочайшей милостью, скажем, к моей свадьбе, после восстановить в имени... и отправить, пусть магов учит.

— Думаешь, разумно?

— А думаешь, разумно, что мы ничего не знаем о том, что они там умеют? Вот придет ко мне девица, глазками похлопает и заморочит к ешкиной матери, а я и знать не буду, что замороченный. И главное, вреда-то мне не причинят, клятву не нарушат. Нет, Митька, запреты никогда и ничего не решали. Все одно ж... и учились они, и учили, и только мы не знали, кого и чему там учат. А раз так, то лучше уж пусть под присмотром делают сие... и с пониманием полным ответственности.

Цесаревич перевернулся на живот и поскреб пальцем щеку.

— Вот... обернусь как-нибудь на людях... посмотрим, кто сбежит, а кто...

— Кол в спину всадит.

— Не без того... кто там еще?

— Навышкины. Эти всегда у трона стояли. И во время Смуты просто свои земли отделили. Бунтовщики пытались захватить Сверж, уж больно выгодно тот стоял, Ануть-реку перекрывая, но что там случилось, неизвестно, главное, пришли к Свержу десять тысяч... и сгинули. Край там болотистый, не одну армию спрятать можно. Когда твой батюшка объявился, то старшой сам к нему сыновей послал, засвидетельствовать почтение. А с ними и наемников пять тысяч, и сборного войска... подводы опять же, снабжение. Пушки...

Димитрию старый Борвой был, что уж говорить, симпатичен, хотя бы тем, что, Дмитрия на дух не вынося, этой нелюбви не прятал, в лицо называл проходимцем, которому свезло несказанно. Хотя, докладывали, в последнее время стал называть проходимцем полезным, ибо порядок в империи быть должен и кому-то наводить его надобно.

Он был верен короне и самой идее империи.

Прямолинеен до зубной боли. Несговорчив.

Упрям.

А вот сыновья его... Старший похож на отца. А вот младшенький иного теста, да и обижен несказанно майоратным правом. Нет, его не оставят без титула и земель, благо ныне в них недостатка нету. Вон батюшка и чин приобрел, и в министерство путейное пристроил коллежским советником.

— Сила Навышкиных в земле. — Цесаревич пальцами пошевелил и, не выдержав, поскребся. — В этом секрета нет... в голову они не полезут.

— Вычеркиваю?

— К младшему все ж приглядишься... если бунтовать будут, то не один же человек. А Навышкины хорошие бойцы. Найди способ, чтоб Борвою шепнули, что младшенький рискует... Он живо управу найдет.

Димитрий кивнул.

Верно.

— Вельгаты... эти всегда наособицу. Одовецкие... целители, но обижены крепко на Таровицких, и как знать, только ли на них.

— Нет.

Лешек не открыл глаз.

— Давыдовы... эти никогда не скрывали, что им нужна власть и деньги, впрочем, на конкурсе от них никого. В роду лишь мальчишки рождаются...

— Рудознатцы. Что? Я эту кровь чую... тоже кто-то со змеиным народом породнился, хотя и давно. Не смотри, нам с того пользы не будет. У змеев родство не так уж много и значит.

Они перебирали имя за именем и всякий раз приходили к выводу, что не те это имена, неверные. А потому, когда закончился один список, Димитрий взялся за другой, составленный исключительно по давней привычке ничего не упускать.

В этом списке имен было больше.

— Вот что, — Лешек так поднялся, умудрившись не порвать чудесный костюм, который, правда, несколько измялся, но гляделось это вполне естественно, — мы с тобой не туда идем... точнее, не так... надобно иначе. Скажи матушке, пусть снимки сделают всех девиц.

И Димитрий поморщился: самому догадаться следовало.

В архивах дворца хранились не только родовые книги, но и родовые портреты с полным описанием примет, семействам высочайшим свойственных.

Вот же...

А все почему? Все потому, что голова не делом занята, а... глупостями всякими. Губы у нее шершавые, а над верхнею крохотная родинка имеется. Но какое это отношение к смуте грядущей имеет?

Вот именно.

Никакого.

ГЛАВА 42

Стрежницкий, выбравшись из постели, в комнате не усидел. И пусть целитель пригрозил, что, коль Стрежницкий не образумится и не побережет себя, он всякую ответственность за здоровье одного с себя снимает, князь лишь отмахнулся.

Какое здоровье?

На кой ляд ему здоровье-то сдалось? В последнее время накатывала престранная тоска, хотелось то ли напиться, то ли подраться с кем, то ли и то и другое разом, а еще чтобы шлюхи с цыганами вокруг. Но Стрежницкий порывы души сдерживал, крепко подозревая, что если девицы поведения нетяжелого во дворце сыщутся, то с цыганами тут всяко сложнее.

А драк пустых и вовсе не поймут.

Да и куда ему...

Он вот едва-едва до двери добрел. И то на упрямстве чистом, а добредши, осознал собственную неправоту. Ему бы позвать кого, велеть, чтобы до постели донесли и уложили, укутали одеялом пуховым, поднесли молочка с медом, как матушка когда-то в той, другой жизни, которая ныне если и вспоминалась, то редко и не к месту.

А он сел у стены, головой о нее ударился и глаза закрыл.

Мутило.

Но звать на помощь не позволяла гордость. И главное, глаз дергало так... нехорошо дергало, будто вогнали внутрь штырь раскаленный и он головушку до самого черепа пробил.

— Что? — Она появилась, хотя Стрежницкий отчетливо осознавал, что быть того не может и не должно, что все есть бред или, если по-научному, галлюцинация.

— Дурак ты, — сказала галлюцинация и по его волосам провела. Прикосновение было таким явным, теплым, что он поневоле за рукой потянулся. — Как есть дурак... я ж тебя любила...

— И потому своим доносила?

Она пожала плечиками: мол, что тут скажешь. Война — дело такое...

Не женское.

А она была женщиной, Марена, прозванная Лисицей. Темный волос. Острое личико. Глаза яркие, что твое небо. Ей непостижимым образом к лицу была и та нелепая одежда, в которую приходилось рядиться, и короткие, обрезанные криво волосы. Она курила сигаретки, не чураясь солдатских самокруток, которые порой набивали лебедью и вовсе пылью. Она смеялась громко, в голос, и стреляла, почитай, лучше многих.

Знала тропы там, в Озерном крае.

И вела по ним... выводила... его выводила, а прочих заводила. Хитрая...

— Ты был совсем еще мальчишкой, — вздохнула она, усаживаясь рядом. Поинтересовалась с любопытством: — Сильно болит?

— Изрядно. — С галлюцинациями притворяться нет нужды, они свои, проверенные. И потому Стрежницкий лишь вздохнул.

— Мне тоже больно было, когда ты меня вешал...

— А когда ты моих людей на убой послала?

— Не тебя же...

— И меня бы послала. Просто... чего ждала? Когда я до Вышняты дойду?

— Значит, все-таки с ним встретиться должен был? — нисколько не удивилась галлюцинация. От нее пахло ромашками и лесом, болотом — самую малость. А еще сеном, конским потом и костром. Землею сырой, которая проминалась под конскими копытами и ямины хранила долго, бережливо. — Честно говоря, не надеялись, знали, что ты с городскими связь держишь. Вот нужно было понять с кем...

— И повесить?

— А как иначе. Война ведь...

— Война. Была, — согласился Стрежницкий, всецело осознавая, насколько это нелепо — разговаривать с мертвою невестой.

— Осталась, — покачала головой та.

— Быть того...

— Глупенький. Некоторые войны не прекращаются...

— Почему ты... ты ведь сама была...

— Кем? — тихо спросила Марена, проведя пальчиками по шее, которую охватывала веревка. — Наивною девочкой, которая хотела переменить мир? Сделать его лучше?

— Убив тех, кто против перемен?

— А хоть бы и так... они ведь тоже не задумались, стоит ли убивать меня... знаешь, мой дом ведь не крестьяне сожгли, а Таровицкий со своими людьми. Их после простили, взяли и простили. И наплевал ваш император на то, сколько они крови пролили... в нашем доме добре гуляли, несколько дней... мне повезло, меня укрыли... я аккурат в отъезде была...

Она была.

Дышала.

И Стрежницкий ощущал тепло ее тела, хотя понимал — оно тоже обманчиво. Это все рана в голове, которая горела и дергала, и тянуло палец в нее сунуть, почесать...

— А вернулась и увидела... даже похоронить не дали по-человечески. — И такой лютой ненавистью пахнуло от слов ее, что Стрежницкий про боль свою позабыл. — Они долго там стояли... слуги царя-батюшки, верные его опричники...

— Не все...

— Быть может... так и я не всех трогала. Я сперва лишь отомстить хотела... мне помогли. Научили. Сделали сильной... знаешь, я ведь не нашла тех самых... старика ублюдочного, который огнем... зато отыскала других.

— Меня?

— Тебя... Шорох... твоим именем детей пугали, а ты... ты оказался таким обыкновенным...

— Извини.

— Ничего... погоди, скоро болеть перестанет. После смерти боли нет.

— Я не умру...

— Умрешь, — сказала Марена, подавая руку. — Все когда-нибудь да умирают... пришел твой черед. Знаешь, единственное, о чем я жалею, так это о том, что сразу тебя не пристрелила...

— Поздно. — Стрежницкий понял, что у него нет больше злости. Ни на нее. Ни на себя.

Ни... на мир этот поганый, в котором и влюбиться толком не выходит. Он закрыл глаза, оба — к счастью, веки не пострадали, — а когда открыл, то увидел, что сидит вовсе не в комнате.

Как он выбрался в коридор?

Стрежницкий не помнил.

Он потрогал голову, которая все еще болела, но как-то слабо, приглушенно. И зуб дергало, и во рту был пренеприятный сладкий привкус. Он поднял руку, за которую зацепилась атласная ленточка. Та вилась-вилась и... уходила к тонкой девичьей шейке.

Знакомое лицо.

Быть того не может... не может того быть...

Ленточка — не веревка, но шейку обвивала крепко, а мертвая девица улыбалась этак с ехидцей, будто и вправду ожить собиралась.

— Убили! — закричал кто-то над головой, вызывая новый всплеск боли. — Мамочки родные, убили!

Стрежницкий зажал уши ладонями.

Чтоб тебя... а ведь целитель предупреждал: следует оставаться в постели. Для здоровья оно полезнее...

Крик Лизавета услышала и вместо того, чтобы, как подобает девице приличной, запереться в собственных покоях и смиренно дожидаться спасения, подпрыгнула.

Проверила, на месте ли ножик.

И бросилась вперед.

Благо долго бежать не пришлось: поворот — и вот уже она едва не падает, споткнувшись о мертвую девицу... вернее, падает.

И аккуратно на девицу.

Не девицу.

И не мертвую. Правда, Лизавета это поняла далеко не сразу и сперва даже рот раскрыла, чтобы заорать, а после закрыла со всею поспешностью. Она поерзала, пытаясь встать, но тело лежало поперек коридора, а Лизавета — поперек тела. И поза была преглупейшая. В уголке же, сжавшись в комок, сидел жених ее названный и пялился на Лизавету единственным глазом, только навряд ли видел. Уж больно глаз этот затуманенным был. На месте второго зияла черная неприглядного вида дыра, от которой расползались рубцы.

— Убили... — продолжала голосить баба в темной форме дворцовой прислуги.

— Заткнись, — велела Лизавета, прикидывая, как оно будет половчей: переползти через болвана или же на него опереться... как бы не провалился. Лицо-то явно из воска леплено и со всею старательностью, а вот тело, может, деревянное, а может, соломенное, тогда опираться на него никак не можно.

— Ой, мамочки...

Лизавету дернули и, приподнявши, поставили на ноги. Юбку поправили, платочек протянули.

— Благодарю, — сказала она князю Навойскому и почувствовала, как предательски пунцуют щеки. Лизавета ущипнула себя за руку: в конце концов, тут дело серьезное, а она того и гляди влюбится.

А влюбляться в малоподходящих личностей — это как раз таки несерьезно.

— Не за что. С вами все в порядке? — вежливо поинтересовался князь, но руку Лизаветину не выпустил, хотя в обморок она падать не собиралась и вообще смела надеяться, что вела себя предостойнейше.

С другой стороны...

Руки у него теплые. И крепкие. И...

— И что тут произошло? — поинтересовался князь пресветским тоном.

— Убили, — не слишком уверенно ответила женщина, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся молоденькой и несчастной. — Я иду, а туточки она...

— Это болван, — сочла нужным уточнить Лизавета. — С восковым лицом...

Жених вздрогнул.

И попытался встать.

— Сиди уже, герой... — рявкнул князь, и на пол плюхнулась та самая девица, которая стиснула в кулачках передник, должно быть, дабы не разрыдаться. Ее плечики мелко подрагивали, а в широко распахнутых очах стояли слезы.

Еще немного, и с нею истерика приключится.

Лизавета подошла, присела рядом.

— Она не настоящая, — сказала шепотом, но князь кивнул. Он, склонившись над болваном, разглядывал его с немалым интересом.

Девица всхлипнула.

— Должно быть, пошутить хотели... порой люди совсем глупые шутки играют, верно?

Девица кивнула. Но фартучек не выпустила. И губа ее оттопыренная не перестала подрагивать, выдавая душевное смятение. Лизавета погладила ледяное запястье.

— В городе музей есть. Там из воска лепят... я сестер водила. Интересно... есть бородатая женщина. И еще двухголовая. Мужчина, у которого только один глаз...

Музей ютился в гостиной одной почтенной вдовы, супруг которой не оставил несчастной ничего, помимо долгов и результатов многолетней своей работы. Он мечтал создать галерею уродств человеческих, и Лизавета была вынуждена признать: получилось у него весьма достоверно. Болваны, обряженные в человеческие одеяния, гляделись живыми, и девочки только охали, ахали и попискивали, а после на два дня было разговоров лишь о жутях увиденных.

— Сходи, — Лизавета поймала растерянный взгляд. — Тебе понравится... а тут... просто кто-то куклу принес...

— Это Марена, — голос Стрежницкого звучал глухо, будто издалека. — Ее звали Мареной... она моей невестой была. И я ее повесил...

Димитрий испытывал преогромное желание взять Стрежницкого за волосы да и приложить затылочком о стену. Чай, каменная, выдюжит. А голова и того паче, в ней, судя по всему, ума вовсе не осталось.

И чего ему не сиделось, спрашивается?

— Бредит, — решительно сказала рыжая девице, которая вновь открыла было рот, чтобы заорать. — Видишь, ранило его... аккурат в глаз.

Девица пальцы прикусила, но орать не решилась.

— Вот и мерещится всякое. Больной очень...

— Больной, — повторила она эхом, и Дмитрий, склонившись над нечаянной свидетельницей, заглянул в синие глаза ее, подтверждая:

— Очень больной...

И силы каплю вложил. Все ж менталист он не особо умелый, однако девица разом успокоилась, что само по себе было хорошо. Вздохнула.

Поднялась.

И спросила:

— Я п-пойду?

— Иди, — разрешил Дмитрий, добавляя толику усталости. — Иди отдохни... переволновалась небось? Поспать надо. Проснешься, и все будет хорошо... Ясно?

— А...

— Скажешь, что князь Навойский велел.

Девица заворуженно кивнула.

А он перевел взгляд на Лизавету. Та же, перебравшись к Стрежницкому, взяла его за руку — и желание постучать светлой головой последнего о стену стало вовсе невыносимым — и произнесла:

— Ему к целителю надо.

Стрежницкий моргнул. Потер глазницу и пожаловался:

— Чешется.

— Это потому что живой. — Лизавета шлепнула его по пальцам. — Куда грязными руками?

— Живой... — странным голосом произнес он. — А она нет... как она здесь? Я же ее еще когда...

— Помолчи, — рявкнул Дмитрий, переступив через куклу. Стоило заметить, что выполнена она была весьма умело, и в сумраке коридора казалась настоящей. Бледненькое востренькое личико, довольно, следует признать, симпатичное.

Волос короткий, рыжеватый.

Одежда почему-то мужская и не особо чистая, и это наверняка что-то да значит, а что именно — Стрежницкий расскажет. Надо только препроводить куда. И запереть.

Что-то подсказывало, что запереть Стрежницкого следовало бы давно.

Лизавету князь до комнат самолично провел. И дверь приоткрыл. И придержал. И строгим-престрогим голосом заметил:

— Вам не стоит гулять без сопровождения.

— А где его взять? — резонно поинтересовалась Лизавета. Жених-то ее навряд ли к прогулкам расположен. Как-то он слишком уж бледен был и вовсе слаб, того и гляди в мир иной отправится, что с его стороны будет совсем уж неприлично. Лизавета, может статься, с мыслью о замужестве сроднилась почти.

— Нигде. — Князь согласился, почему-то не сводя с Лизаветы настороженного взгляда, будто подозревал ее в чем-то недостойном. — Потому вам не стоит гулять.

— Совсем?

— Совсем.

— А... нам к ужину надобно. Оглашение и все такое...

Он задумался.

Вздохнул.

И сказал:

— Ждите. К ужину я вас проведу, а дальше надо будет что-то придумать.

И как-то вот это Лизавете совсем не понравилось. Тетушка не зря говорила, что от мужских придумок женщинам одни беды.

Впрочем, оставшись одна, она поежилась.

Шутка?

Уж больно настоящим чудилось то тело в коридоре. И бледен был Стрежницкий. И женщину он явно узнал. Откуда? И главное, что за оговорка такая? Выйти бы, да... страшно.

И Лизавета, вздохнув, присела.

Взялась за гребень.

Надобно бы Руслану позвать, чтобы косу переплела, а то нехорошо. Скоро и вправду к ужину идти, а она растрепа растрепую... Что скажут?

ГЛАВА 43

— ...А скажут, — этот шепот проникал, казалось, сквозь стены, мыши и те примолкли, то ли в страхе, то ли чтобы людям пугаться не мешало, — будто бы ничего и не было. Вот поглядите.

Девушка в мятом платье тоненько всхлипнула, прижимая к груди надкушенный пирожок. С зайчатиною. Пирожок был мягок и горяч, и что с того, что надломлен с краюшку? Ей и такой сойдет. Она шмыгнула носом и приняла кружку травяного отвара, заботливо поднесенную старухой. От кружки пахло не только травами, но старуха сказала:

— Пей, тебе оно надобно. Небось испереживалась вся...

Заохали иные девки, зашептались, друг дружку локтями подпихивая.

— Про шутку это они удумали, чтоб ты языком не трепала. Сама-то трогала? — Старуха блеснула темными глазами. И девушка покачала головой: не трогала.

Как можно?

Она мертвяков с малых лет боялась, а чтоб трогать... или как та, рыжая, из благородных, почитай ползать. Стоило припомнить, и девушку замутило. Она поспешно выхлебала отвар, одобренный самогоном, и пирожком закусила.

А ведь говорили, что не стоит во дворец лезть.

Нет же... маменька и подруженька ее... мол, устроят... походишь месяцок в прислугах, себя покажешь, глядишь, и оставят. А нет, то рекомендацию дадут, как обещали. Небось с рекомендацией из дворца в любой дом устроиться можно.

Она и послушала.

Еще и радовалась. Как же... только теперь радость ушла, сменившись страхом. И старуха, чуя его, улыбалась. Черный рот, желтоватые кривые зубы. Нос крючком. Обещала на суженого погадать, нитки судеб связать, и недорого брала, но теперь, глядя на это лицо, хотелось крикмя кричать.

— А... что делать? — шепнул кто-то.

И ведь сама она ни словечка не сказала... шла, думала лишь о том, как притомилась ныне... прилечь не чаяла, а тут старуха... и вот уже на кухне сидят, в комнатухе махонькой, где ненужную утварь держат. Сидят и шепчутся, страхи рассказывая.

— Ничего. — Старуха погладила по руке, и прикосновение ее было горячо, что огонь живой. — Что вы сделать можете, бедолажные? Бегите... если силы духу хватит. А то ведь выпьет. Каждую из вас выпьет, никого не оставит... весь род людской изведет под корень, вот посмотрите. Я-то старая, мне чего терять? А вас вот жалко... жалко бедолажных.

Стрежницкого в разум привели пара пощечин и стакан укрепляющей настойки, которую целитель вливал силой и, как почудилось, с немалым удовольствием.

— Я начинаю сомневаться, вправду ли вы хотите выздороветь. — Он вытер пальцы тряпицей. — Я просто не знаю, как еще объяснить ваше самоубийственное желание причинить себе вред.

— Я больше не буду, — не слишком искренне пообещал Стрежницкий, но в постель забираться не стал. А целитель не стал настаивать.

Он вытащил склянку с жирной, желтоватой, будто топленный подпорченный жир, мазью, которую и принялся втирать в глазницу.

Димитрий отвернулся.

Прошелся по комнате.

А ведь от нее до того коридора шагов двести, если не больше. И назад Стрежницкого пришлось на себе волоочь, перепоручивши чудо-куклу заботам своих людей. Опять слухи пойдут...

— Вы понимаете, что ваше нынешнее состояние лишь кажется вам устойчивым? Ваш организм, уж простите за откровенность, — пальцы целителя раздирали рубцы, втирая в них мазь, и Стрежницкий морщился, но терпел, — пребывает в ужасающем состоянии. У вас больное сердце...

— Неправда!

— Больное. Я целитель, я вижу. И нервы шалят. Будь вы дамой, я бы рекомендовал вам покой и нюхательные соли. И еще капли есть презамечательные...

— Соли не хочу.

— Значит, на капли согласны? Чудесно... не знаю, чем вы занимаетесь, но поверьте, от вашего спокойствия зависит ваше выздоровление.

Мазь воняла.

Манипуляции целителя заставляли морщиться и отворачиваться — гляделось со стороны жутко, особенно когда тонкий палец нырнул в черную глазницу, — а дело вызвало вопросы. Главный: зачем? То есть не лечить, Стрежницкий, пусть и с порченою физией, но в хозяйстве пригодится, однако...

Болвана уложили тут же, на столе, сдвинув в сторону немытую — лакеи, похоже, вовсе страх потеряли — посуду. И Дмитрий присел рядом.

Как есть болван.

Но хороший, такие не в каждой лавке встретишь. Надо будет поинтересоваться у Ламановой, не исчезло ли чего из ее хозяйства. Она, помнится, себе особых болванов заказывала, чтоб человеческих очертаний были, мол, на таких видно, как наряды сидят. И поговаривали, будто деланы ее болваны отнюдь не по вымышленным меркам.

Нынешний... Дмитрий поднял руку.

Опустил.

— Ваше отравление лишь спровоцировало кризис, который назревал давно. Вы были поразительно беспечны...

Рука держалась.

И главное, даже пальчики сделали такие, которые шевелятся.

Перчатки надели, пусть и ношенные, но из кожи отменного качества. Надо будет поискать чьи... А вот одежда явно свежая. И мылом дегтярным пахнет.

Дмитрий понюхал, убеждаясь, что не ошибся. Как есть пахнет... и шита... перешита. Вон штаны в поясе черной ниткой прихвачены, чтоб не свалились, а рубаха к ним и вовсе пришита, чтоб не выбилась. Вот ленточка на шее повязана с любовью.

— И если не сейчас, то в ближайшем времени ваше тело отплатило бы вам за подобную беспечность.

— Я понял, — буркнул Стрежницкий.

— Сидите смирно. Ничего вы не поняли. Думаете, я тут только говорить горазд? А я на своем веку навидался... живет вот такой, как вы, живет, горя не знает... а после — раз, и остановилось сердечко. Или сосудик в голове лопнул. И бывает, что покойником сделался, а бывает, что вроде и живой, и дышит, да только ни пальчиком пошевелить не способный, ни слова сказать, чтобы внятно. Хотите так?

— Нет.

— Вот и правильно, а потому... капли пейте, и я за вами самолично прослежу, раз уж вы князю так дороги. Посидите еще с четверть часа, а после — в постель... и приставлю к вам ученичка своего, пусть приглянет...

— Не надо!

— Надо!

А лицо восковое и леплено весьма мастерски. Ишь ты, будто портрет настоящий... помнится, обращались как-то с просьбою изготовить членов императорского семейства в восковых фигурах, дабы любой подданный мог лицезреть...

Тому затейнику отказали.

Подданные пусть статуи лицезрят или портреты, которые в каждом присутственном месте положены. А восковые фигуры — сие баловство и едва ли не крамола.

— Это Марена, — сказал Стрежницкий, когда за целителем закрылась дверь. Он воровато огляделся и потрогал-таки глаз.

— По рукам дать? — Димитрий отступил от болвана. Издали девица казалась донельзя натуральной, разве что бледноватой слегка.

— Не надо...

— Рассказывай.

— Да рассказывать нечего особо. — Стрежницкий поморщился и грудь потер, жалуясь: — Вот жил... все нормально было, ничего не болело. А этого послушал, так теперь стариком себя чувствую.

— Не ной.

— Я не ною... я ж тогда... ну, после того, как меня подстрелили и закопали, злым стал. Выбрался. Отрядец сколотил. Начал охотиться. Сперва просто так, чтобы за батьку отомстить. Ну и матушка у меня там жила, хотелось, чтобы спокойно, чтобы не добралась до нее никакая мразь. Сам понимаешь, кому война, а кому мать родна... потом уж ко мне шли... под руку мою и вообще... слушок пронесся, что бунтовщиков прижали. Про императора, который вернулся, и все такое... Тогда уж и на меня вышли. Предложили: или присягаю и служу, или буду дальше смутьяном. Я ж не смутьян. Я даже обрадовался. Выходит, что я не просто так лютовал, а во имя идеи.

Кривоватая усмешка его была уродлива, как и он сам. Лицо, рассеченное, перекошенное, с черным пятном выбитого глаза, прежним не станет.

— Тогда-то нам и сказали, куда выдвигаться и чего делать. В общем-то, ничего нового. Охотились. Вырезали патрули бунтовщиков, когда и целые отряды. Шли лесами. Грабили обозы. Устраивали налеты, когда было куда... кого вешали, кого топили. Рутина.

Стрежницкий прикрыл глаза. Из-под века поползла желтая ниточка то ли гноя, то ли зелья целительского. А и вправду, ему бы покоя, но нет... молодым гляделся, спроси — никто и не даст больше тридцати лет, как и прочим, кого той войной опалило.

— Я уже и сказать не могу, как и когда она к нам прибилась. То ли подобрал кто, то ли сама пришла. Она была... своя? Пожалуй что... Никому и в голову не пришло проверять. Появилась и появилась... Лисица... это она так себя назвала.

Лиса.

Лисавета.

Рыжая с любопытным носом, которая сидит, но усидит ли? И надобно послать кого, чтобы приглядел. А еще... императрица не откажет, и лучше, если сие от нее будет исходить.

Нельзя оставлять конкурсанток без присмотра.

— Знаешь... я тогда влюбился. То есть до войны еще я вроде бы как в дочку соседа нашего влюбленный был. И даже дважды потанцевать успел с нею... их поместье сожгли, а ее... Мне было за кого мстить.

Пусть подготовят фрейлинские покои, которые старые и закрытые. Ничего, что там обои слегка повыцвели, переживут. Главное, что жить девицам придется вместе, будут приглядывать друг за другом.

— И я замерз будто... едешь куда-то... бьешься... когда бьешься — еще живой, а после опять все одно. Что ешь? Где спишь? С кем ты, и вообще... Она сама ко мне пришла. И заговорила. Про звезды стала рассказывать, про отца. У них в поместье эта... обсерватория была.

Надо же.

А вот это любопытно. Не самое простое увлечение, если подумать.

— Она все созвездия знала. Меня учила. Мы... не подумай, что сразу спать стали. Я бы вообще, наверное, не решился, когда б сама не пришла. А потом еще сказала, что на войне все иначе. Ее правда. Я вдруг ожил и понял, насколько зазря тратил время... влюбился, да... по настоящему. А может, просто иначе?

И приставить няnek из числа матушкиных доверенных.

Только тоже повод нужен, а то подымут вой о недоверии... И с самого начала надобно было. Так нет, решили скандалов избежать.

— Полгода... весна. Я ей кольцо подарил. Она согласилась... помню, счастливый был... подумал, что, как церквушку с живым священником встречу, так и поженимся сразу. Только вот наши разъезды стали в засады попадать частенько. А один раз так и вовсе полную сотню вырезали. Я ж вместе всех не держал, неудобно, когда в одном месте много народу, разом обрастать начинают барахлишком, жирком. И вот уже не вояки, а так, сброд поместный. Разделил на сотни. В каждой голову назначил... да в общем... оно, конечно, могло быть, что и навел кто, только...

Стрежницкий приподнялся.

— Куда?!

— Лечь хочу... что? Я старик древний... вот помираю, можно сказать.

— Помирать тебе дозволения не было.

— А я самовольно, — голос его стал брюзглив, будто и вправду состарился он вдруг и разом. — Я магов ставил. Я сам тропы вел, а после путал их. Болота везде, топкие, злые... Там без проводника не пройдешь, а уж когда оно заморочено, то и проводник не поможет. Не могли они до стоянки добраться, понимаешь?

На кровать он лег, поерзал и глаза закрыл.

— Уже помираешь?

— Готовлюсь.

— Тогда не отвлекаю...

— Я сразу понял, что из своих кто-то навел, да не просто навел, а дорогу открыл, провел ею... там же след в след местами надо было...

— Она?

— Сказала, что хотела меня подтолкнуть к решительным действиям, что велено ей было, а то мы сидели, ждали. Надеялась, что сорвусь от злости, кинусь мстить, там-то и повяжут... Правда, думаю, что солгала, паскуда. Если б я нужен был, к нашему стойбищу и привела бы... а так... ослабляла потихоньку. Люди ж не трава, на ветках не растут...

— Как вычислил?

— Да... по дурости. По ревности, вернее. Кто-то из малых ляпнул, что я от этой паскуды голову вовсе потерял, а она в деревне с полюбовником милуется. Я этому идиоту все ребра переломал, только... слово — не воробей. Она и вправду исчезала. В деревню, да, не скрывала... мол, у нее там родственники... сестрица двоюродная с дитем. В лагерь не забереешь, куда детям на болота, когда и взрослые не выдерживали. Вот и возила им что могла. Я как-то напросился, так познакомила. Сестрица обыкновенная, а дите как дите — младенец совсем. Я и успокоился, пока этот... Засели его слова в голове.

Стрежницкий опять поерзал.

— Не помирается?

— Кровать жестковата.

— Прикажу — перину заменят.

— И пахнет нехорошо...

— Это мазь.

— Вот почему у целителей или гадость редкостная, или воняет?

— А кто ж знает то? — Димитрий, как и полагается скорбному родственнику — ладно, пусть не совсем родственнику, но лицу определенно имеющему интерес в происходящем, — устроился в креслице. И рученьки сложил. — Не умеют они по-другому.

— В общем... начало крутиться... еды она с собой носит, денег берет... но сестрице ли? И только ли ей? Я и уговаривал себя верить, и не мог... тем паче, она со мною ездить перестала. Как я в разъезд, так она в деревню. Сперва-то я даже радовался, что не заденем. Поставил людишек своих приглядывать. Не за ней, само собой, за деревенькой этой. Большие Гнили называлась... чтоб не пожгли, и вообще... хотя на редкость поганое, глухое место. Ее отыскать среди болот надо было постараться. Так вот... сказал ей, что ухажу деньков на семь, что надобно на другой край выбраться, встретиться... Тут-то она и начала со мною проситься, мол, засиделась и все такое... ластиться, спрашивать, с кем встречаюсь и когда...

— А ты?

— А я... я и глянул на нее... другим взглядом, знаешь? Просто почуял, что уже и сам взять ее хочу...

— Менталистка?

— Еще какая... прямого внушения береглась, понимала, что и у меня кровь хорошая, амулеты тоже не самого дрянного свойства. Если б я спокойный был, то и не заметил, а когда нервы что огонь... Сам понимаешь.

Да уж, хуже нет, чем воздействовать на человека, который в беспокойстве пребывает. И прямым-то нажимом не всегда заломать выходит, не говоря уже о слабом мягком влиянии. Этакое скатится, что вода с гусиных перьев.

— А она знай плетет себе. И такое спокойствие вдруг на душе наступило. Она шепчет, что там, на другом берегу, точно деревня есть, которая с храмом, что и священник быть должен, что поженимся. А если и не будет, то достаточно старшего по званию попросить. Мол, он право имеет связать двух влюбленных.

Больно ему было, видать, и боль эта не откипела, не отгорела, если кривится да за сердце свое хватается. Должно быть, после этакого предательства Стрежницкий и переменялся окончательно, переставши в женщинах людей видеть, потому и с легкостью соглашался на дела, которые иные полагали бесчестьем.

Димитрий вздохнул.

Придется ходатайствовать, чтобы отпустили его. Только куда он, к работе привыкший, что старый гончак к звуку трубы, денется? Запыет и сдохнет от тоски?

— И главное, я будто бы... знаешь, такое вот ощущение, что пополам разломило. Одна моя часть радовалась, а другая... прозрела, не иначе?

Вот и результат несвоевременного вмешательства.

— Я увидел вдруг, как она на меня смотрит. Этак снисходительно и с легкою брезгливостью. И еще с раздражением, небось полагала, что я сразу подчиниться должен. И бешенство меня накрыло такое, что и сказать страшно. Помню, взял ее за шею и потрянул... те люди... я ж их знал. Они ж не просто так... я своих берег, никогда не кидал в бой без особой нужды. И мы годами вместе шли... но тогда... понимаешь, если б она заплакала или стала говорить, что мол, ошибся, попутал, она бы могла вывернуться. Я ж с бабами не воевал... и своим обижать сильно не велел. Нет, лгать не стану, мои люди не монахи, всякого бывало, и насильничали, и грабили. Убивали порой... чаще сослепу, но чтоб измываться, как иные, того не было...

Может, в монастырь его какой отправить — на послушание?

Святозару вон помогло изрядно, глядишь, и Стрежницкий душой прозреет, проникнется светом Божиим да и простит себя, давешнего.

— А она зашипела и с ножом отбиваться. Мои-то люди ученые, мигом скрутили. Вот тут-то ее и прорвало... много о себе услышал.

И сомнительно, чтобы среди многого этого была хотя бы толика приятности.

— Вот я и велел ее вздернуть... погорячился, конечно, надо было бы переправить все ж Вышняте, пусть бы разбирались. Мне так и сказали после, мол, погорячился...

Он вздохнул и глаза открыл.

— Это верно... — Димитрий поднялся и подошел к кукле. Стало быть, не первая попавшаяся девица... стало быть, специально для Стрежницкого готовили. Надо будет велеть, чтобы мастера отыскали. Навряд ли подобных умельцев много, хотя в университете вон целое отделение юных живописцев со скульпторами вместе. Поднеси такому карточку, а с нею и десяток золотых, глядишь, и расстараются, вопросов лишних не задавая.

Вот пусть со скульпторов и начнут.

И дуэль эта... она и вправду неслучайна. Но... почему? Что в Стрежницком такого... или...

— Девку твою кто с ветки снимал?

Он задумался и плечом так дернул, признался:

— Я.

— Мертвая была?

— Мертвая.

— Точно?

Он губу пожевал.

— Два дня висела... ей вороны глаза выклевали.

То есть ожить вряд ли смогла. Но вот...

— Как, говоришь, звали-то?

ГЛАВА 44

Письмо от Соломона Вихстаховича Лизавета перечитала дважды. И трижды. И четырежды. И даже над свечкою подержала в тайной надежде, что буковки возьмут да исчезнут, а вместо их появятся другие, настоящие. Но ничегошеньки не добила, только бумага пожелтела слегка.

Погано получалось.

...Дорогая Лисавета, я вынужден в скором времени покинуть Арсею, что и тебе советую. К сожалению, климат здешний грозит переменами, которые рискуют пагубно сказаться на здоровье многих людей...

Вот как так можно?!

...Памятуя о нашей договоренности, я открыл в банке счет на две тысячи рублей. Полагаю, этого будет достаточно, чтобы компенсировать некоторые неудобства, причиненные тебе моим отъездом. Также я оставил поверенному вполне определенные инструкции на случай, если ты посчитаешь возможным и дальше выступать обозревателем.

Ага, обозревателем, мать его...

Лизавета выругалась, позабывши, что девицам приличным оно не пристало.

...Однако тебе стоит помнить, что в отличие от меня поверенный наверняка откажется иметь дело с посредниками, а потому ряд статей острых придется придержать.

Ничего.

Две тысячи... две тысячи — это не просто много, это много больше, чем Лизавета рассчитывала, ввязываясь в эту авантюру.

...А еще, дорогая Лисавета, позволь дать тебе совет, которому, конечно, ты вряд ли рискнешь последовать, однако все ж послушай человека, умудренного жизнью. Про Навойского многие говорят, однако никто из моих доверенных лиц не полагает его бесчестным. Потому с твоей стороны было бы разумным довериться ему, а еще передать, что «Сплетник» верен короне, что, впрочем, вряд ли повлияет на общественное мнение.

Властям не следует недооценивать силу слова.

И величину гнева, который намеренно разжигают в людях.

Дядюшка, как же...

И вот что ей делать?

— ...И третьего дня исчезла Марьяна Кобыльцова, девица подлого сословия, нанятая кухонною помощницей. — Докладчик замолчал и потянулся к стакану. — Кухарка сказала, что отправила ее за маслом, но та не вернулась, а вместе с нею исчезла и голова масла, три окорока и две фазаньи тушки...

— Кухарку потряси, — велел Димитрий, — небось сама и взяла.

Первцов кивнул.

Хороший паренек, старательный весьма. Еще пару лет, глядишь, и до чинов дослужится, приобретет должную степенность, без которой в империи чин не чин, но так, сотрясание воздуха. И говорить станет иначе, медленней и тише, тем самым важность собственную подчеркивая.

— Значит, без малого полторы дюжины? За последние две недели? И никто не всполошился? — Димитрий заложил руки за спину, ибо возникло нехорошее такое желание схватить Первцова за шиворот и тряхнуть от души.

Он же ж поставлен был слуг блюсти.

Неужели в журналы и не заглядывал? Так и есть, не заглядывал, небось с камер-фурьерами чаевничал, а те и рады, им лишнее внимание к делам внутренним без надобности. Вот и докладывали, что будто бы все в порядке...

Оно и в порядке.

Подумаешь, девка пропала. Может, сбегла с полюбовником. Девочек во дворце полно, одна ушла, другая придет. Главное, чтоб столовое серебро блестело, сияли решетки каминные с паркетам, да пыли на фарфоре не наблюдалось.

Остальное — мелочи.

Димитрий заставил себя разжать кулаки.

На Первцова злиться бессмысленно. Ему, как и прочим, задачу доводить надобно точно, полно, каждый момент оговаривая. А сейчас вон, уши оттопыренные горят и на чиновничьей лысинке, которая уже проглядывала сквозь кудри, предвещая карьеру солидную, пот проступил.

— И что было сделано?

Первцов стыдливо потупился, папочку со списком к груди прижимая.

— Хотя по домам отправили кого, выяснили? Может, и вправду ушли?

В том Димитрий сомневался. Попастъ во дворец непросто, сюда со стороны людей не берут, а коль попал, то и радуйся. Небось платят с душой и вовремя, на праздники одаривают, а захочешь уйти, так и рекомендацию выдадут, как положено, с печатью.

— Немедля распоряжусь! — бодро воскликнул Первцов и каблуками щелкнул.

Может, зря Димитрий понадеялся на толковость? Нет, прежде Первцов справлялся неплохо, но там дела простые были, понятные, не то что тут.

— Распорядись, — высочайше дозволил Димитрий. И поинтересовался: — А слуги чего говорят?

— Слуги? — Хлопнули белесые реснички, а на круглом личике возникло выраженьице пренедоуменное. — Какие?

— Разные.

— О чем?

— Обо всем.

Ибо быть того не может, чтобы пропажу такую да не заметили. А раз заметили, стало быть, обсудили. И как знать, может, средь многих сплетен и полезное чего сыщется.

— Так... — Первцов замешкался. — Чернь же ж... глупости одни...

— Какие? — Димитрий сам удивлялся собственному терпению.

— Так... глупые.

— Насколько глупые?

Первцов нахмурился, губенками пошевелил, будто молясь про себя. А после решительно произнес:

— Понятия не имею.

— Так возымейте уже! — Димитрий не выдержал. — Идите. И без нормального доклада не возвращайтесь. Мне не просто имена нужны. Мне нужно знать, как эти люди исчезли. При каких обстоятельствах. Кто их видел последними. И что про это говорят другие.

Друзья там, приятели. Ведь были же у них какие-то приятели?

Первцов нерешительно кивнул, предусмотрительно с начальством высоким соглашаясь. Оно-то погневаается и простит, а пока перетерпеть надобно.

— Идите уже. — Димитрий махнул рукой. Небось самому на кухню лезть придется, будто бы у него делов других нет. А ему еще рыжую к ужину отвести надобно...

При мысли об этом злость исчезла.

А на верхний этаж он заглянет. И в город пошлет кого... знать бы еще, кого слать, чтоб не вовсе безголовый... где ж взять такого-то?

Стрежницкий спал.

Заперся еще.

Авдотья фыркнула и достала отмычки. А что, народец на границе всякий, и потому лучше уж уметь, чем не уметь. Учил ее папенькин адъютант, приличный ныне Фома Игнатьевич, некогда, в годы буйные, молодые, звавшийся попросту Фомкой.

Руки у него были ловкие.

Науку помнили.

И не только эту.

— Ты, барышня, не гляди, что распрекрасная... — любил повторять он, раскладывая на столе тонюсенькие проволоочки, крючочки и монеты с обрезанным краем. — Небось папенька — это прехорошо, да надобно, чтобы и у тебя руки не из задницы росли.

Пойманный на деле прегорячем, он чудом избежал каторги, согласившись заместо нее на служение. И служил верно, и к папеньке прикипел всею душой, и Авдотье той любви досталось.

Вздыхнула.

Надо будет табаку послать местного, который на Калашных рядах продают, чтоб самый черный, горький, по двадцать копеек стакан. Дядька Фома только такой жаловал, правда, все одно вздыхал, что заразы купеческие хороший табак с травой мешают.

Она тенью проскользнула в покои, в которых пахло лекарствами. И запах был до того силен, что Авдотья поморщилась. А Стрежницкий проснулся.

— Я это, — сказала она на всякий случай. У него ж тоже жизнь тяжкая, мало ли, еще стрельнет с перепугу.

— И за какие грехи мне это? — поинтересовался Стрежницкий тихо. — А вот сейчас кликну кого, чтобы выставили...

— Кликни, кликни. — Авдотья полог сотворила. — Дурень ты... я уж и вправду испугалась, что помер.

— Почему?

— Так мне горничная моя по большому секрету сказала, что ты девицу какую-то задушил, а после над нею рыдал и волосья рвал. Рвал?

— Не рвал. И не душил. И вообще...

— Вот и я думаю, что как-то оно... непоследовательно. Сперва душить, потом волосья. — Она подошла к кровати и покачала головой. — А выглядишь поганенько.

— Спасибо.

— Не за что... на вот, выпей. — Она извлекла из ридикюля флягу. — А еще говорят, что нас всех тут собрали на погибель.

— Какую?

— Она точно не знает. Дура редкостная, ко всему внушаемая... не одна она внушаемая. Стоило чуть толкнуть, как распелась. И про то, что царица змеей оборачивается ночами. Рыщет по дворцу, ищет поживы. И что царь отравлен, того и гляди отойдет, а царевич — подменыш...

Она вытащила из миски тряпку, которую покрутила в пальцах, отжала и плюхнула на стол.

— Слушай, тебя, часом, извести не собираются? А то как ни приду, ты...

— Тут целителя обещали.

— Обещанного три года ждут, — фыркнула Авдотья. — Еще говорят, будто бы царица свой конец чувствует, а потому хочет забрать красоту и силу, вот девиц и собрала самых прекрасных, чтобы, значит, черным волшебством то, что им принадлежит, своим сделать.

Стрежницкий единственным глазом следил за гостьей. И выгнать бы ее, потому как совсем уж неприлично выходит, но тогда вновь придется остаться одному. А одиночество не то чтобы пугало — давно уж отрешился он от страхов всяких, скорее, он тянул время...

Минуту.

И еще одну.

Он в постели, а комната под пологом, и никто не услышит, не узнает.

— А еще говорят, что Навойский давно про все знает, но царицу слушает, потому как, во-первых, любовник...

Стрежницкий фыркнул, хоть от этого и стало больно. Мазь впиталась, а может, просто утратила чудесные свойства свои, главное, глазницу дергало и жгло.

И дерганье это передавалось в пальцы.

А еще мешалась подлюсенькая мыслишка, что теперь-то ни одна девица не взглянет на Стрежницкого не то чтобы с любовью, хотя бы с симпатией. Нет, женитьбе это не помешает — раз уж матушке обещался, надобно слово держать, — не такие уроды супруг себе покупали, однако...

Обидно, да.

— ...А во-вторых, сам замороженный. Вот и скрывает смерти...

Плохо.

Очень плохо.

Если слухи ходят, то кто-то их распускает.

— А еще что говорят?

Она подошла и присела на постель, положила холодную ладонь ему на лоб и покачала головой:

— Вы так себя и вправду умучите... у вас жар, знаете?

— Пройдет.

— А то... папенькин полковой целитель тоже говорил, мол, все проходит... особенно со смертью. Покойники, они вообще на редкость здоровый народец. И чего улыбаетесь?

— От вас цитронами пахнет.

— Это туалетная вода такая, — пояснила Авдотья. — Лежите, я мало что умею, но...

И сила ее холодная, с цитроновым ароматом.

— ...Скоро смуте быть. Я папеньке отписала, потому как местным у меня веры нет. И вы князю передайте, что Пружанские всегда короне верны были. И будут.

Сила уходила в тело, и то отзывалось, молодецо, сердце треклятое, возмнившее себя вдруг пребольным, застучало веселей. А Авдотья уходить не спешила, сидела, разглядывала и хмурилась.

— Раньше вы меня не замечали, — пожаловалась вдруг она.

— Вам уехать надобно.

— Бросьте... — Она осторожно коснулась шрама. — Больно?

— Больно.

Признаваться в том было не стыдно. Почему-то...

— Отсюда... если все так, то смута зреет...

— Скорее уж зреют ее... Что? Вы ведь не папенька мой, который думает, будто у меня в голове шпильки и цветочки. Она еще кое-что любопытное сказала. Мол, скоро придет истинный царь... а главное, сама не знает, откуда эта мысль в голове взялась. Так что передай там...

Передаст.

Всенепременно.

ГЛАВА 45

В огромной парадной зале собралось народу презрительно. И Лизавета сполна ощутила на себе пристальное это внимание. Вот кто-то пялится через стеклышко лорнета, вот наклоняется, бросает слова, навряд ли добрые, кивает, кривится в улыбке. Кто-то, не скрывая ленивого любопытства, разглядывает конкурсанток, и одинаковые их наряды, вне сомнений, станут хорошим поводом для насмешек.

— Улыбайтесь, — велел князь, который вновь нацепил обличье человечка ничтожного и теперь, кажется, сполна наслаждался спектаклем. Он шел, слегка прихрамывая, сутулясь, то и дело спотыкаясь. И создавалось престранное впечатление, будто бы это Лизавета тянула за собой его, а не наоборот.

Князь передал Лизавету фрейлине, незнакомой, но с лицом одновременно строгим и усталым, а напоследок сказал:

— Не вздумайте разгуливать в одиночестве...

— Вы ведь навестите меня? — тихо поинтересовалась Лизавета, а фрейлина сделала вид, будто не слышит такого возмутительного предложения.

— Если приглашаете...

И усмехнулся этак, с пониманием. Вот что за человек! У нее щеки вспыхнули, наверняка сие не осталось незамеченным.

Стоило князю удалиться, как Марфа Залесская бросила:

— Могли бы кавалера поискать поприличней. — Она сама в синем платье с белым воротничком гляделась юной и прелестной и наверняка без труда сыскала бы кавалера, а то и двух или трех, и потому на девиц попроще, с запросами невеликими, взирала с искренним недоумением.

— Мне и такой сойдет, — примирительно отозвалась Лизавета. И поискала взглядом Одовецкую.

Или Таровицкую.

Или Авдотью... правда, та, похоже, запаздывала. И надобно будет предупредить, а то ведь... Нехорошее предчувствие шевельнулось в груди и притихло, когда Авдотья решительным широким шагом вошла в зал.

— Боже, до чего груба... — прошептала Марфа. — Как она вообще сюда попала?

— Призраки говорят, — Снежка возникла за спиной и коснулась золотых волос девицы, — что красота скоротечна...

Та побелела и...

— Призраки? — шепотом поинтересовалась Лизавета.

— Они и вправду говорят. Иногда. И бывает, что даже со мной. — Снежка по-прежнему глядела мимо людей, будто задумавшись о своем, важном. — Но люди говорят больше. И часто — пустое... Ты знаешь, здесь стало больше призраков. Я их чувствую, но они прячутся.

— И что делать?

Та пожала плечами.

— Искать... сегодня... им плохо, я слышу. Они зывают о помощи, но я не уверена... — Она покусала губу. — Мне, наверное, нужно кому-то рассказать.

Ага, и Лизавета даже знала, кому именно.

Однако затрубили трубы, золоченые двери распахнулись, пропуская ее императорское

величество.

— Кто-то хочет нарушить правильность мира, — голос Снежки был едва слышен. — А у меня от этого голова болит.

Его императорское высочество спустился в подземелья.

Не в те, которые были знакомы и дворцовой челяди, почитай, обжиты, заполнены что винными бочками, что копчениями, что иным каким хламом, который люди полагали нужным. И даже не в те, что находились под опекою особого ведомства, использовавшего оные подземелья для собственных, порой не самого приятного свойства надобностей. И даже не в те, что находились ниже, словно бы отделяя мир людской от иного.

Лешек потянул воздух, сыроватый, отчего-то пропахший колбасами и еще копченою рыбой, но все равно затхлый, гниловатый.

Остановился.

Сила позвала. Она, древняя, пропитавшая стены дворца, волновалась. И это волнение Лешек ощутил наверху. Оно мешало сосредоточиться на делах нынешних, заставляя прислушиваться к себе и к этой самой силе.

Что-то было не так.

Крепко не так.

Но где?

— Показывай, — велел Лешек, приложивши ладонь к скале. Поморщился лишь, когда отозвалась она тяжелым гулом да и куснула за руку. Кровь вошла в камень и камнем же стала.

А он...

Он теперь видел эти подземелья. Версты коридоров, перепутанных, перевитых. Каверны пещер. Подземные озера и серые глубины льда, лежавшие там, верно, от сотворения мира.

Лед Лешека интересовал постольку поскольку, а вот то, другое, нарушившее равновесие, весьма даже. Он потянулся следом за нитью железной жилы, что пролежала в камне, порой ныряя в глубину, порой проступая на поверхности.

Вилась.

Кружила.

Лешек следовал, подспудно отмечая, что путь весьма даже знаком.

— Вот же ж, — сказал он сам себе, останавливаясь на пороге ритуального зала, — и на тебе... чтоб тебя.

Огонек на Лешековой ладони перекачивался, то и дело меняя форму. И сполохи рыжие ложились на неровные стены. Темный камень вздыхал.

Жаловался.

Он помнил многое, и то, как вгрызались в него кирки обреченных, и как раздирали заклатья, как уродовали, ровняли, пробивали один коридор за другим. Пойдешь налево — выйдешь к сокровищнице, снизу аккурат, но потолок и сама она защищена плотным коконом сторожевых заклятий. Пойдешь направо — окажешься на берегу реки, и там, в неприметном грязном домишке, сыщутся и одежда попроще, и документы, и деньги.

На всякий случай.

Пойдешь прямо...

Лучше не идти, ибо и те, кто примерял шапку Мономахову, были людьми не самых чистых душ. В полукруглой зале с оплывшим, будто оплавленным неведомою силой потолком огонек почти погас. Но Лешек поднес его к факелу, и тот вспыхнул, а следом и другие, из вечных.

Сила загудела, отзываясь.

Здесь еще висело эхо самых первых заклятий, усмиривших и землю, и людей. Здесь некогда, из крови и камня, создавалась Мономахова шапка, а после крепилась, причем не единожды. И черный пол навсегда пропитался кровью.

Лешек стоял на границе бережного круга, чувствуя себя еще более неловко, чем наверху. Нелепый костюм раздражал, а сила, позвавшая в подземелья, шептала, уговаривала.

Он ведь имеет право.

И ступить.

И воззвать к ней... и даже приказать. Всего-то и надо, что пожелать, и сила исполнит желание... Он хочет изменить мир? Изменит. Главное, не бояться... главное...

Не будет больных.

И бедных.

Несчастных...

Живых? Выходит, что так. Силе верить нельзя, и Лешек отступает. А ведь тот, кто разбудил ее, всерьез полагал, что сумеет справиться?

Лешек отступил. И головой тряхнул, будто избавляясь от паутины наваждения.

— Он убивал их здесь, — от звука голоса темнота волновалась. Лешек pokrutil головой, прищурился — факелы подсвечивали гладкую каменную площадку, но стены пещеры оставались в тени. — И души заключал в круг.

Они были рядом, смятенные, несчастные.

Разве Лешек не желает помочь им? Выпустить на волю.

— И тела...

Тела нашлись в боковом коридорчике, одном из многих, которые появлялись здесь сами собой, чтобы после так же исчезнуть. Место сие, переполненное силой, было исключительно нестабильно даже в лучшие времена. Ныне же сила пришла в движение, и Лешек старался не думать, чем это обернется.

Дворец просядет?

Или весь город уйдет в болота?

О городе он побеспокоится позже. А пока Лешек осмотрел тела. Холодные. Пустые. Но не тронутые разложением. Нагие девицы не вызывали в нем иных чувств, кроме, пожалуй, некоторой брезгливости.

— Надо будет Митьке показать... их задушили, верно? Верно.

Разговаривать с собою глупо, а вот молчать страшно, хотя и Лешек не желал признаваться в том.

На шеях некоторых виднелись синие полосы.

Но руки были чисты.

И не похоже, чтобы девицы сопротивлялись. Сами сюда шли? Почему? Впрочем, если ему, кем бы он ни был, удалось заморочить казаков, обвешанных амулетами, что уж говорить про девчонок. Внушил, вот и пошли... одежда лежала здесь же, в уголке, сложенная, к слову, преаккуратнейше.

Лешек вздохнул.

Вот уж не было беды...

Лизавете вручили грамоту, подписанную собственноручно ее императорским величеством. К грамоте прилагалось золоченое перо в коробочке и ежедневник вида весьма солидного.

Вручили не только ей.

И наверное, все это для иных людей было обыкновенно, а вот у Лизаветы сердце из груди выпрыгивало. И так ей было...

Радостно?

Горделиво? Будто и вправду сделала она что-то да важное. И радость эту не способно было омрачить чужое горе. Да и, если разобраться, какое Лизавете дело до других...

С благодарностью освободить от дальнейшего участия в конкурсе...

Наградить листом...

И признать заслуги перед короной, однако...

Эти слова ничего не значили... И вот рыженькая девица оседает на руки маменьке, а ее подружка стискивает кулачки, топает ножкой, будто грозит кому-то. Лицо ее меняет гримаса, и оно становится столь невообразимо уродливо, что Лизавета не удерживается, делает снимок.

Кто-то рыдает на радость толпе.

Кто-то...

— Мне сказали, что нас переселят. — Таровицкая оказалась рядом. — Надеюсь, ты не будешь возражать, если мы и дальше станем держаться вместе? Ты хотя бы адекватна.

Это, пожалуй, можно было счесть за похвалу.

— Да и не позволишь Аглае меня подушкой удавить... — и вроде улыбается, только улыбка этакая печальная.

— Думаешь, ей подушка понадобится? — уточнила Лизавета. — Она ж целительница, пальчиком ткнет, и наутро сердце остановится...

— Почему наутро? — поинтересовалась Одовецкая, коробочку с пером к груди прижимая.

— Чтоб подозрений не возникло.

Она фыркнула и, призадумавшись, сказала:

— Лучше уж заставить сосудик в голове лопнуть. Можно сделать так, что стеночка истончится... правда, тут со временем не угадаешь, но зато любой другой целитель скажет, что смерть эта обыкновенна.

Таровицкая закатила очи:

— И с кем я жить собираюсь?

— А ты не живи, — предложила Аглая.

— Другие еще хуже... слышала? Бульчарова подружке стекла битого в туфли подсыпала, потому что у той колени круглее.

— Веский повод...

— Вот ей и отставку дали, хотя по конкурсу она с проектом неплохо справилась. Как по мне, лучше уж сосуд, чем стекло в туфлях.

Лизавета покачала головой: до чего невозможные люди. Разве ж можно со смертью шутики шутить?

— Стало быть, в монастырь ты все-таки не едешь?

— Я решила, что там и без меня неплохо управятся.

— А бабка твоя?

Одовецкая пожала плечами.

— Недовольна. Но... у нас не принято неволить. Просила передать твоему деду, что в его годах надобно в постели лежать, а не по пустырям прыгать.

— Ага... передам... всенепременно. Только он не сильно твоей старше... слушай, может, поженим их? Пусть друг другу душу мотают, а нас оставят в покое?

— Думаешь?

— Думаю, мой отец зря молчит, хотя... я ему это говорила, и не раз. — Таровицкая стала серьезна как никогда. — Пусть она прямо спросит. Думаю, теперь он уже готов. Во всяком случае, в глаза врать не осмелится. Только, прежде чем спрашивать, пусть хорошо подумает, готова ли она в самом деле правду услышать.

На окраине города в ночлежке, устроенной милостью ее императорского величества, народу летом было немного. Это уже позже, когда зарядят дожди и лужи по утрам будут схватываться тончайшим ледком, сюда потянутся нищие и убогие, кривые, хромые и блаженные, чтобы получить чашку горячей похлебки, одеяло, при везении не сильно драное, и доброе напутствие.

Сейчас же здесь было тихо.

Относительно.

— А я тебе грю, сам от видел! — Хромой Кшытня, прибившийся к ночлежке во времена незапамятные, сидел на гнилой бочке, которую взялся за ломоть прогорклого сала со двора выкатить. Кухарка, с которой, собственно, и случился договор, стояла туточки, сложивши руки под массивной грудью. — От прям как тебя! Я стою и, стало быть, слышу, шебуршится чего...

— Пацюки?

— Сама ты пацук! Змеюка. Преогроменная! Вот прям оттакенная. — Кшытня развел руки, раскорячился. — Ползеть...

— Ой, да придумаешь тоже... — Кухарка махнула полотенцем, едва не попавши Кшытне по голове. — Лишь бы языком трепать...

— Языком, стало быть? — Тот от полотенца увернулся. — Не веришь? Так подумай сама. Куда Хнырь подевался? Он небось летом завсегда приходит, знает, когда каша жирнее. Или вот дамочки из комитета давече одежи привозили. Неужто пропустил бы?

Кухарка нахмурилась.

Хныря она знала, человечка низкого, дрянного и склочного. Все норовил кусок урвать получше, пожирней, при этом не стесняясь хаять тех, кто этот самый кусок ему ложил. Хныря и свои-то колотили не раз, только он, отлежавшись, за старое брался.

— Или вот Журку? Где она? А я тебе скажу как есть... сгинула. И не она одна! Небось и Лютая, и Маська исчезли, будто их и не было...

— Ваша братия...

— Не скажи. — Кшытня поерзал и заговорил тише: — Оно-то верно, жизнь у нас нелегкая, сегодня есть, а завтра Боженька предобрый к себе забрал. Только не бывало еще, чтобы всех и сразу... девки гуляющие шепчутся, что исчезают люди. На улицы идти боятся. Сходи к паперти, поспрошай нищих, так и они тебе скажут, что опасно ныне стало на улицах ночевать.

Кухарка хмурилась, и тело ее обильное приходило в волнение. Шевелились плечи, колыхались грудь и массивный живот. А ведь и вправду как-то оно потише стало. На рынке, бывало, с утра не протолкнуться, вечно кто-то то за подол ухватит, милостыньку испрошая, то в корзину залезет, а давеча вышла, так сама подивилась, до чего тихо.

— Чего сюда не идут? — спросила она, выдвигая единственный надежный, как ей мнилось, аргумент.

— Сюда? — Кшытня сплюнул. — А сама подумай, чей это приют? Вот-вот... вдруг да зайвится... говорят, в Бальчинцевой балке сиротский дом стоял... стоял себе и стоял, пока в одну ночь с него все живые не сгинули. А было там сироток без малого сотня...

Кухарка ойкнула и за щеки схватилась. Кшытня же усмехнулся, собою предовольный: бабу эту он знал, глуповата, заполошна, но не злая. И воровала по-людски, и куском, когда настрой был, жаловала, и договориться с нею завсегда можно было на работенку нетяжкую. А еще была она говорлива и глуповата, самое оно, чтобы сплетню свежую пустить.

С другой стороны, люди-то в самом деле пропадают.

Куда?

Не Кшытни то дело, ему пять рубликов целых заплатили, стало быть, хватит на пару дней развеселой жизни, а там... там что-нибудь да придумается.

На торговых рядах по утреннему времени было довольно-такилюдно. Впрочем, здесь жизнь и ночью не останавливалась. Пахли на солнце мясные ряды. Срывали голоса зазывалы, и приказчики с намасленными волосенками прохаживались друг перед другом, что петухи, только знай по сторонам поглядывая, не идет ли какая дама из благородных.

Или не очень.

— А моя-то, — шепотом произнесла девица, раскатывая по прилавку тугую рульку кружева. — Моя-то давеча так и сказала... мол, надобно со столицы съезжать, потому как во дворец неладно...

— И что?

Вторая девица щупала сукно, ибо поручено было ей выбрать какое получше, но не слишком дорого: хозяйка намеревалась самолично справить прислуге платье одинаковое, чтоб дом ее выглядел не хуже иных. А то ходят комнатные девки каждая в своем, что уж о горничных говорить.

— И ничего... сынок ейный, сама понимаешь, не больно радый. Невесту себе все искал, примерялся... только кому он нужен. — Девица сморщила носик. — Тоже мне, благородный, а сопли рукавом вытирает.

— Разве ж в этом дело?

Шерстяное сукно было отменного качества, тонкое, легкое и цвета красивого, темно-синего, правда, и стоило изрядно: на такое хозяйка точно не согласится.

— Не в этом... только и денег у них кот наплакал. Поместье старое, земля худая, народишко по войне разбежался. Сидят в долгах. Думали, женитьбой дело поправить, да на такого жениха никто и не глядит. — Девка взялась за следующую рульку. Кружево ей нравилось, а приказчик, лукаво подмигивавший, и того больше. Правда, не настолько, чтоб о приличиях забыть. — Небось нам уж сколько не платили...

Она дернула плечиком.

— Вчерась маменьку уговаривал погодить, а она ему, что никак погодить нельзя, что вот-вот смута будет, потому как невозможно честным людям змею терпеть.

Приказчик крутанул тугой ус и достал еще кружева.

Купить, может, и не купят, но девка была очень хороша, миловидна, собой кругла... отчего б не порадовать?

— Он у ней все в гусары рвался. Сам махонький, кривенький, а туда же, воевать... так и сказал ей, мол, жизнь отдам за царя-батюшку...

— А она?

— А она его клюкой по хребтине, мол, разве ж это царь, когда он замороченный? Вот придет время, поднимут змеиную кровь на колья, и тогда-то...

Приказчик нахмурился.

Этакие разговоры были... неправильными, более того, отчетливо несло от них крамолой, которая ему в лавке была совершенно без надобности.

Трактир «Три пескаря» славился своею кухней на всю слободу. Умели здесь готовить и пирожки из тонкого полупрозрачного теста, которое на зубах хрустело, а начинка во рту таяла, будто не мясная. И тонкие лепешки с сырной начинкой. И баранину на огне да с травами, и рыбу всякую-разную. Вот и заглядывал люд степенный, купеческий попробовать ущицы осетровой да белорыбицы, запеченной на огне открытом. Заодно за едою и разговоры велись.

И дела сами собой ладились.

Не иначе, волшебством.

Вот и ныне почтеннейший Кельм Смудсон, которому в Арсиноре случалось бывать не в первый раз, а потому порядки местные были ему распрекрасно знакомы, изволил вкушать горячую разваристую рыблю похлебку. К ней подавали пироги с зайчатинной и кислую капусту, в которой виднелись бубины алой ягоды. Кельм ел и, казалось, всецело был занят исключительно этим преважнейшим делом. А потому на человечка, скользнувшего за стол, он глянул пренеообрительно.

В «Трех пескарях», конечно, не то что в цивилизованной траттории, и местечковый люд порой вел себя куда как вольно, однако и подобного принято не было.

— Многоуважаемый Кельм Тадеушевич, — гость незванный был невысок, сутуловат и наряжен пусть в новое, но не самого хорошего качества платье, впрочем, держался он с поразительною наглостью, — у меня к вам наивыгоднейшее предложение.

Пожалуй, если бы не похлебка с пирогами, Кельм качнул бы пальчиком, подзывая вышибалу, да и велел бы избавить себя от ненужного знакомства. В выгодные предложения, поступающие от лиц вида пресомнительного, он не верил. Однако лишь веки смежил, позволяя говорить.

— В скором времени в Арсиноре беспокойно станет, а потому многие мои знакомые ищут человека достойного, однако смелого, способного рискнуть ради немалой выгоды...

Человечек губы облизал и оглянулся.

В «Трех пескарях» было не то чтобы пусто — заведение по-настоящему пустовало

редко, — но вот посетители держались друг от друга в стороне, оттого создавалось ощущение уединенности, за которое «Три пескаря» ценили едва ли не больше, нежели за кухню.

— И я слышал про вас много хорошего...

— А я про вас — ничего.

Человечек захихикал подобострастненько и, прижавши мятый картузик к груди, поклонился.

— Антип я, Вирсюков, безгильдийный пока, но увидите...

Безгильдийный, стало быть, почитай ничейный. Дел серьезных не ведет, а до денег, видать, охоч, только вот коль исчезнет он с деньгами, гильдия купеческая почтеннейшая лишь руками разведет: мол, не наш, стало быть, и спросу с нас никакого.

Кельм убедился, что дел с господином иметь не желает, однако тот по странности не спешил убираться, принявши молчание за интерес. Потянул с миски пирога и, разломивши пополам, клюнул начинку.

— Понимаете, туточки все еще Смуту крепко помнят. Коль полыхнет, подымется народишко бунтовать, то и люди, кто послабше, побегут, что крысы из клятого дома. А уж как побегут, тут-то и ловить надобно. Небось барахлишко свое с собою не потянут.

Кельм нахмурился.

Про себя.

А собеседнику улыбнулся ласково, рученькой махнул, подзывая полового.

— Водочки нам, — велел он, глядя, как блестят Антипкины глазенки. — И к ней чего-нибудь... для беседы... да чтоб беседовалось хорошо.

Половой лишь кивнул.

И минуты не прошло, как на столе возник графинчик синего стекла — никак, на Неманской мануфактуре новое попридумали, надо будет заглянуть, проверить, чего там учиняют, — и блюда с пирогами и с жареными колбасками, посыпанными алою поречкой. Принесли и шанежки, и миски с грибами лесными, что печеными, что солеными.

Антипка лишь сглатывал.

А потому внимания не обратил, что хозяин полез в кошель и долго в нем копался. Мало ли, вдруг да деньгу проверяет. Кельм сдвинул бока кристалла, надеясь, что емкости хватит, дабы беседу записать.

Смута, стало быть.

Грядет.

Погано... оно-то, конечно, кому война, кому и мать родна, только большей части люда торгового она во вред идет. А Кельм полагал себя человеком не только и не столько рисковым — все ж в Арсинор не всякий норманн торговать решится, — но и разумным. Да, со смуты можно неплохо заработать, скупая за бесценок чужое имущество, но дальше-то что?

Разоренные города?

Люд, которому иноземный товар без надобности, ибо кто будет гребней черепаховых искать, с голоду помирая?

Мануфактуры разоренные?

Нет, даром, что ли, он годами связи налаживал? Сыновей воспитывал, с детьми гильдейных знакомил? Даром, что ли, из шкуры вон лез, чтобы своим если не стать, то

хотя бы значиться? Вон и старшему невестушку просватал, за которой поместье дадут, а с ним и долю в новой царской затее, прибыли немалые сулящей? Нет, смута новая Кельму без надобности.

А вот разговоры пригодятся.

И он своею ручкой наполнил граненую стопку.

— Так что вы там, милейший, предлагаете, если всерьез?

— Да поверь, — приказчик ткнул тоненьким пальчиком седовласого мужика, видом мрачного, строгого, — еще немного, и за твое зерно никто и копейки не даст...

Мужик хмурился, мял картуз, но на цену соглашаться не спешил.

— Разве не знаешь, что в городе творится? Тут скоро не до зерна будет... — Приказчик смахнул пот со лба. — Небось как пойдут воевать...

Мужик махнул рукой и картуз нацепил, попятился, потянул за повод мохнатую лошаденку.

— Куда?! — взвился приказчик.

— Туда... коль воевать... то это, самим того... надобно будет...

Задержать его не пытались. И только удивился Пахомка, завидевши в воротах еще с десяток обозов. Удивился и уверился, что правильно поступил: оно-то как еще повернется, неведомо. А зерно... что зерно, оно в селе обузой не станет.

Надо будет только проверить батькины захоронки, а то, и вправду, коль воевать пойдут, то и грабить станут.

ГЛАВА 46

Переселили в комнаты преогромные, но не сказать чтобы уютные. Вытянутое помещение с одним окном и стенами, обтянутыми бледно-лиловой дама, которая, правда, гляделась более серой, нежели лиловой. Вдоль стен стояли скрипучие кровати с пыльноватыми матрасами.

Одовецкая села на ближайшую и подпрыгнула несколько раз, прислушалась.

— Ничего, — сказала она, чихнувши, — жить можно...

Таровицкая покрывало пальчиком тронула, будто проверяя на крепость. Вздохнула:

— Я вот как-то...

— В монастыре похуже было. Тут хотя бы не дует. — Одовецкая подошла к окну и взобралась на низкий подоконник, уселась, положивши рядышком и еженедельник, и перо дареное. — Надеюсь, никто не храпит.

Лизавета почему-то покраснела.

Она не храпит.

Честно.

Сестры бы сказали, и... и вообще ей делить спальню с другими приходилось, пусть в нынешней и с полдюжины кроватей стояло, но одну уже заняла Снежка, которая просто вошла в комнату, огляделась и поставила ридикуль на пол.

Следом и Авдотья явилась.

С ящиком.

В ящике обнаружилась пара револьверов, которые донельзя заинтересовали Таровицкую.

— На заказ?

— А то! — Авдотья достала один и протянула. — Папенька выбирал... на редкость удачные вышли.

Револьвер гляделся махоньким и совершенно несерьезным, этакою игрушкой с перламутровыми щечками.

Лизавета же распахнула шкаф.

В комнате стояло их два, оба преогромные, глубокие и темные, показалось даже, что в таком не то что прятаться, жить можно. Лизавета постучала по стенке, прислушалась...

— Тут тайных ходов нет, — заметила Таровицкая.

— А где есть?

Она пожала плечами и ответила:

— Где-то точно есть... дворец — место такое.

— Непокойно. — Снежка закружилась, руки расправив.

— Вот только здесь нам призраков и не хватало... — пробурчала Одовецкая, повернувшись к стеклу.

— За тобой стоят... — голос Снежкин звучал тихо, и кружилась она с закрытыми глазами. — Идут вереницей, кровью связанные, вьется дорога мертвых, зовет, а уйти не позволяет. Она говорит, что не хотела зла... она говорит, что все должно было быть иначе...

— Кто? — Одовецкая стиснула кулачки.

— Не знаю... у нее твое лицо, а у него глаза пустые... он злой-злой... странно так... такие, как вы, злыми редко бывают. — Снежка остановилась, разглядывая Одовецкую с немалым интересом. — Он их всех и держит... а еще другой, который души собирать умеет. Мне их не дозваться, сила не та...

— А что вы тут делаете? — поинтересовалась бледненькая девица, заглядывая в комнату. Она вошла бочком, к стеночке прижимаясь, будто не до конца уверенная, туда ли попала и надобно ли ей было вовсе попадать в место столь подозрительное.

Девица была... знакома?

Пожалуй.

Лизавета вглядывалась в круглое это личико с остреньким подбородком, с глазами преогромными, синющими, пытаясь вспомнить, была ли она среди конкурсанток. Конечно, была, иначе откуда было бы взяться ей здесь? И платье это, и ежедневник знакомый, один в один Лизаветин, и даже коробка с пером такая же, как у других.

Однако...

На память Лизавета не жаловалась, более того, память ее была цепка и крепка, а уж лица-то она и вовсе срисовывала мгновенно, но этого... и какой из Лизаветы тогда газетчик?

— Кто знает, — ответила Авдотья, убирая револьвер под юбки. — Что? Думаете, нас тут друг к другу за просто так приставили? С револьвером, оно всяко удобней, чем без револьвера... а я тебя не помню.

— Дарья я. — Девица стояла, прижавшись к стеночке, и дрожала. И была такою жалкой, что... — Из Меньшуковых...

— Меньшуковы... — Одовецкая сползла с подоконника. — Слышала... хороший род. А вот тебя я не помню.

Она нахмурилась.

— Меня никто не помнит, — вздохнула Дарья и пожаловалась: — Это дар родовой такой... я с ним... не очень хорошо управляюсь, особенно когда нервничаю. Мне целитель капли прописал. Успокоительные. И еще масло мятное, чтобы шею мазать.

— Выкинь, — фыркнула Одовецкая, — только кожу пожжешь, давно уже доказано, что мятное масло на нервы никакого влияния не оказывает.

Дарья робко кивнула и, сделав шаг к ближайшей к ней кровати, спросила:

— А можно я тут буду... а то... я туда ходила... сказали, что занято все, и вообще...

Вещи, как и было обещано, доставили вечером, а вот князь... то ли позабыл, что обещался навестить, то ли дела, то ли просто понял, что с Лизаветой у них ничего-то общего быть не может.

Димитрий в подземелья спускался не без опаски.

Нет, Лешеку он доверял всецело, однако же само это место с красноватыми неровными стенами, с полом гладким, будто слюдяным, внушало безотчетный страх.

Здесь было...

Иначе?

Димитрий чуял силу, заключенную в камне, и та пугала, тревожила. Она была велика и неподвластна воле человеческой, а потому он прекрасно понимал, что стоит этой силе вырваться, как не станет не то что двorca, но и города с его рекой, каналами и мостами.

— Чужой сюда не пришел бы, — сказал Лешек очевидное, явно и самому ему было здесь неуютно. Вон на щеках вновь чешуя поползла, на шею скатилась, обвила ожерельем драгоценным. В нем и каменья поблескивали, темно-красные, нехорошо напоминающие кровь. — А своих... я думал, что никого не осталось.

И не только он.

В конце концов, не подозревать же в самом деле Лешека или батюшку его в том, что заговор против себя устроили. А все одно к одному вяжется, и стало быть, кровь позволит шапку заветную примерить. И народец царя нового примет, смуты опасаясь, и...

Кто смолчит.

Кто клятву принесет, ибо кровь есть кровь. А недовольные... всегда они были, но что они смогут, когда альтернативы не будет?

Нехорошо.

Настолько нехорошо, что волосы дыбом встают.

— Я тебя позвал, чтоб ты на них глянул. И перенести надо будет...

— Матушка...

— Рассказал.

— А отец?

— И ему... он думает. Вспоминать пытается, но... — Лешек развел руками.

— А если...

Посадить внизу кого, чтоб пригляделся к месту этому... хотя кого? Первцова? Не та натура... Стрежницкий бы смог, он отчаянный до дури, однако слабый ныне, и опять же в деле завязан, а как — поди-ка пойми...

Лешек покачал головой:

— Почует... и уже знает, что мы тут были. Здешняя сила на редкость своевольна, тем более кровь почуявшая.

— Стало быть, беспокоится. — Дмитрий решительно заставил себя не обращать внимания на препоганейшее ощущение чужого взгляда. Тот прямо давил, причем со всех сторон, будто сама гора присматривалась, не зная, схлопнуться ли стенам или пощадить дурака, который сунулся в место запретное. — Тех девиц он нам подкидывал, дразнясь, силу свою показывая, а вот этих спрятал. Только ты их все одно отыскал.

А как именно, спрашивать не стоило.

И Дмитрий благоразумно не спрашивал: все ж у каждого человека свои тайны имеются. Лешек же вздохнул и, поведя носом, вдруг сорвался с места.

— Стой! — Дмитрий бросился следом, матерясь про себя. Вот же ж неугомонный! А если там засада, если не одному князю пришла в голову светлая мысль ловушку устроить? Запахло паленым, и не просто паленым, запахок был еще тот, весьма характерный. Так пахнет мясо, на костре жаренное... паленое... и дым черный появился.

Полыхнуло.

Громыхнуло. Толкнуло силой, с ног сбивая. И спиной по камням протащило, а те знай себе выступили, вытянулись иглами, зубами попытались ухватить. Дмитрий попытался перевернуться, но камень врезался в голову — и стало темно.

А еще обидно.

К рыжей так и не заглянул и...

Если выживет, то заглянет. Позовет на прогулку в какое-нибудь совершенно неподходящее для гуляний место. И будет стихи читать. Да, даже выучит пару для этакого-то дела...

Лешек почти успел.

Он почувствовал, как вздулся пузырь силы, того и гляди рванет, раздирая каменную подошву дворца, а с ним и сам дворец, слабый, будто бумажный. Он почти увидел, как по стенам расползаются трещинки, как становится их больше и больше, и дрожат, осыпаясь, золоченые потолки. Медленно падают хрустальные шары люстр, проламывая пол.

Кричат люди.

И кровь их лишь будоражит древнюю силу.

— Стой, — велел Лешек, переступив границу круга. И сила, почти вырвавшаяся на свободу, взвыла. Она, дурная, ярая, закружила, ошетибилась тысячей игл, приникла горячими ртами, желая лишь одного — выпить глупца, которому вздумалось играть в запретные игры.

Что он умеет?

Ничего.

Батюшка... он ведь не был наследником, и даже вторым в очереди, и третьим... ему открыли лишь малую часть, а после все сгорело...

Сожгли.

Потому-то, примеривши шапку треклятую, батюшка снял ее и велел убрать с глаз долой, не чувствуя за собою должной силы. И Лешек слаб.

Слаб, слаб, слаб.

Голоса кружили. А кровь текла по щекам, укрытым чешуей. И сила пила ее жадно.

— Стоять! — Лешек стиснул руку, в которой чувствовал повод. Вот его не было, а вот он есть, и сила подчиняется, играясь, превращаясь в жеребца с кроваво красной гривой. Она взлетает, стегает по лицу, и на коже вспыхивают огнем полосы.

Врешь.

Не уйдешь.

Конь пытается встать на дыбы, визжит так, что пещеры трясутся...

О чем только думал тот, который...

Конь хрипит и дергает головой, пятится, тянет за собой Лешека, посверкивает алыми бешеными глазами. Ну же, отпусти и сам жив останешься. Он бьет копытом, оставляя в камне огненные вмятины, и вдруг сам вспыхивает пламенем белым.

Обжигающим.

Тронь такое, и пепла не останется. Что, человек, сдюжишь?

— Хрен тебе, — просипел Лешек, подтягивая силу-коня поближе. — Сивка-Бурка... вещая...

Конь закричал, и в ушах что-то лопнуло, потекло мокрое по шее, заставляя отвлечься, правда, ненадолго. Звон в голове мешал, однако...

— ...Каурка, встань передо мной...

Он подступал медленно, не способный сопротивляться, но еще не желающий признавать за Лешекком право командовать собою.

— ...Как лист перед травой. — Лешек отпустил повод и схватился голыми руками за пылающую гриву. Конь тряхнул головой, и Лешек оказался на узкой спине. Он как-то отстраненно отметил, что заалела, вспыхнула одежда. И огонь пополз по рукавам, коснулся волос. Тело мигом покрылось змеиной чешуей, и жар стал не то чтобы невыносим, скорее уж вполне терпим.

А сила заплясала, пошла боком, зад подкидывая, норовя скинуть неудобного наездника. Лешек намотал на руки огненную гриву, стиснул скользкие бока и дернул:

— Пошла, волчья сыть... н-но!

И сила закрутилась, взвилась свечой. Содрогнулся камень, раскололся, принимая обоих. Они падали, и сила билась. Взметнулись огненные крылья, забили, норовя расцечь острыми перьями лицо. Лешек потянул гриву на себя. Привстал слегка, высвободил руку и уцепился за острое конское ухо.

— Дурить вздумала? — Он крутанул его, заставляя силу присесть. — Я тебе...

Она рванула, полетела сквозь землю и камень, потянула за собой, и Лешек знал, что если не удержится, то не спасет его кровь Полозова, так и останется камнем в камне, ни живой, ни мертвый.

Гремели копыта.

Высекали черные искры. Дымился гранит, и становилось жарче. Жар проникал внутрь тела, и кажется, оно само уже плавилось изнутри. Наполнялись кровью легкие, и Лешек кашлял, выплевывая темные сгустки, которые становились камнями.

А конь летел.

Он вырвался на волю, закружил, поднявшись на крыло, понесся уже по небесам. И черные ноздреватые тучи проламывались под тяжестью его. А Лешек, дотянувшись до головы, ударил что было силы.

— Не шали! — велел строго и, за второе ухо ухватив, потянул на себя. Конь затряс головой, но бег успокоил и пошел ровно, гладко, будто признавая за Лешекком право. — Вот так... хорошая моя... застоялась? Давно тебя не выводили.

И почуял — отвечает.

Давно.

Сила не знает времени, только... был договор, а про него забыли. И копилась она, стекалась под дворец каплями пролитой крови, обидами чужими, горем и смертями. Полнилась, пока не наполнила до краев бездонные колодцы.

Ей бы лететь.

Вот так, под небесами, чтоб со звездами наперегонки, а то ишь, поблескивают, просят в гриву согреться. Пусть ночи летние, но зима скоро. Зимой бури, и сила любит их, она помнит, как подымала к небесам человечков, как летала, носила и...

— Еще будет. — Лешек отпустил ухо и похлопал чудо-коня по шее. — Будет зима, летаем... я тебя теперь не оставляю...

Сила вздохнула.

И поднялась выше.

Снежка вдруг застыла, уставившись в шкаф, будто в глубинах его, которые ныне приняли три чемодана — еще три ушли во второй шкаф, — узрела нечто донельзя тревожное. Лизавета тоже заглянула, но не увидела ничего, кроме дерева, плечиков, на

которые развешивали наряды, и еще полоч, пожалуй.

— Там, — Снежка моргнула и схватила Лизавету за руку, — надо идти... надо... творится плохо-плохо...

— Вот же ж... — Авдотья встала и коробку свою открыла, развернула к Таровицкой. — На, а то на этих надежды мало, цивилизные все...

И Таровицкая отказываться не стала.

А Снежка всплеснула руками, развела, и стена вдруг по дернулась дымкой.

— Мапочки, — прошептала Дарья, рот рукой зажимая. И хрупкая фигурка ее задрожала, истончилась, а Лизавета вдруг подумала, что уже не помнит Дарьиного лица.

Надо же, до чего жуткий дар.

— Сиди тут. — Лизавета коснулась бледного марева. — И... будет кто спрашивать, скажи, что мы в парк вышли. Погулять.

— Ага, — Одовецкая подхватила черный кофр, — вот что-то мне подсказывает, что нагуляемся мы...

И решительно шагнула за черту.

А Лизавета за ней.

— Куда поперлись, дуры?! — раздался возмущенный голос Авдотьи. — Без оружия... без...

Она вдруг оказалась рядом и схватила Лизавету за руку.

— ...Безголовые... папенька бы вас...

Где они?

Темно.

И пахнет паленым, а еще в воздухе такое... непонятное, то ли сила, то ли... грязь? Сам воздух будто бы липкий, густой. Дышать тяжело, а Лизавета все одно дышит.

Ртом.

— Где мы? — поинтересовалась Одовецкая, зажигая на ладони огонек. Тот вышел махоньким и слабым, он плясал, то вытягиваясь в нитку, то расплываясь по всей ладони, стало быть, нестабилен.

— В чертовой заднице, чувствую... — Авдотья руку опустила и огляделась. — Я пойду первой...

— Почему?

— Потому что хотя бы стрельнуть смогу, если что. Светка, ты закрываешь.

Таровицкая спорить не стала. А Снежка будто и не услышала, она стояла, слегка покачиваясь, и хрупкая фигурка ее слабо светилась. Вот по телу пробежала дрожь, и рукава платья расплылись, стали шире... крылья, не рукава... белоснежные лебяжьи крылья...

— Идти куда, дева ты наша? — с непонятной нежностью спросила Авдотья, и Снежка сделала шаг. Сперва один, нерешительный, точно сама не была уверена, правильно ли она идет. Потом второй и...

Лизавета держалась рядом.

Сзади шла Одовецкая. А за ней и Таровицкая... молчали... место было... было недобрым.

Определенно.

Ухало сердце. И живот скрутило самым неприличным образом, не иначе со страху. А страху хватало. Огонек у Одовецкой погас, и она мрачно заметила:

— От нашей магии здесь толку нет...

Зато свяга стала светиться ярче, и коридор ширился, стены расходились, точно опасаясь прикоснуться к белому этому пламени. Потолок делался выше, а воздух оставался все таким же липким. И вилось в нем что-то, то ли пепел, то ли пыль...

Снежка остановилась.

— Здесь, — сказала она, опускаясь на колени, и только тогда Лизавета заметила человека, лежащего поперек коридора.

И сердце ухнуло.

Почему-то она сразу его узнала, хотя было темно и в наряде сером человек почти сливался со стенами. Узнала и...

Не закричала.

Она не умела кричать и плакать почти разучилась, тетушка пеняла, что Лизавета совсем уж окаменела сердцем. А оно, оказывается, живое и...

— Боюсь, — Одовецкая оттеснила ее к стене и присела рядом с князем. Белая ручка коснулась шеи. — Я не могу ему помочь.

Нет?

Лизавете показалось, что она ослышалась. Разве возможно так? Она же целительница! Сильная! Древнего рода к тому же... она вон в одиночку едва ль не сотню человек исцелила, а... тут один. И крови не видно! Не видно крови!

Лизавета вдруг обнаружила, что сидит на полу, а голова князя устроена на ее коленях. И что эта голова тяжелая невероятно, а лицо бледное, острое... и она гладит по лбу, по щекам, уговаривая вернуться.

— Что? У него височная кость проломлена... и я могу, конечно, накачать его силой, но... — Одовецкая словно оправдывалась.

— Так накачай! — буркнула Таровицкая, озираясь по сторонам. Она выглядела настороженной, и, пожалуй, для того имелись причины. — И сделай что-нибудь... ты ж это... целительница.

— Без тебя знаю. Погоди, — это уже Лизавете. — Поверни его голову набок... я постараюсь, но... эти ранения почти всегда смертельны. Извини...

— Вот уж за что не люблю целителей, — Авдотья тянула шею, пытаясь разглядеть что-то во тьме, — так это за их привычку всех хоронить раньше времени.

— Я просто предпочитаю быть честной.

Пальцы ее тонкие касались белой кожи, и сквозь нее уходили капли силы, но легче не становилось. Нет, князь еще дышал...

— Проклятье! — Одовецкая добавила пару слов, заставивших Лизавету покраснеть. — Что? Сестра Епифания порой... гм, была неводержанна на язык. Но обладала весьма обширными познаниями в некоторых вещах и образной речью. Шанс небольшой. Держи его крепко... хотя погоди, поверни в сторону.

Черный кофр раскрылся, и в руках Одовецкой появилась тонкая, ужасающего вида игла. Она вошла в шею, и Лизавета зажмурилась.

— Зато теперь, если вдруг очнется, не сможет пошевелиться... так, теперь держи на боку... вида крови не боишься?

— Не боюсь.

— Отлично... Снежка, сможешь посветить сюда, ничего не вижу.

Руки-крылья распахнулись и сомкнулись над головой Одовецкой светящимся пологом. И теперь стало видно, что кожа князя не бела, а желтовата, и сам он дышит, но едва-едва, а на шее бьется, надувшись, темная жилка.

— Смотри... я срежу лоскут кожи... — Тонкий ножичек в руках Одовецкой гляделся изящно, по-дамски. Он вспорол кожу, выпуская алые капельки крови, которые Одовецкая смахнула куском полотна и, задумавшись, велела: — Кто-нибудь должен помочь... кровь вытирать.

— Я могу, — предложила Лизавета.

— Нет. Его держи. И... говори... оно, конечно, считается, что это все не доказано, но... те, кого ждут, чаще возвращаются.

Говорить?

О чем? И... ее же будет слушать не только князь.

— Давай я. — Авдотья села рядом. — Мне случалось в госпитале помогать, хотя, честно, целитель из меня, что из коровы скакун.

— А перенести его нельзя? — тихо спросила Таровицкая, слегка ежась. — Здесь как-то... не так...

— Не уверена, что он выдержит...

— А если...

— И магию. — Одовецкая стиснула свой крохотный ножичек. — Я постараюсь быстро.

— На вот. — Авдотья протянула второй револьвер, но взяла его не Таровицкая.

— Я тоже... умею... — прошепестел голосок Дарьи. — Извините... просто... мне там было... так страшно... и я пошла... за вами пошла... а потом вот... здесь... извините.

Ее полупрозрачная фигурка почти растворилась во тьме.

— Твою ж... — Таровицкая сплюнула, опуская револьвер. — Ты так больше не пугай, а то ж я едва... и успокойся уже, невидимка...

Дарья вздохнула.

А Лизавета заговорила. Она знала о чем... о Севере, где ночи порой белы, как дни, а дни серы и солнца не видать. Оно появляется изредка, окрашивая все в болезненно-желтые цвета, и местные морщатся, потому как привыкли к сумраку.

Она тоже привыкла.

И после, в городе, куда их перевели, долго не могла поверить, что солнце бывает каждый день. Она запирала ставни и зажигала свечу, пряталась, а матушка причитала, что так оно вовсе не возможно, что Лизавета на Севере одичала...

Там снега. Холодны и ледяны. Они появляются вдруг. Вот просто просыпаешься однажды и видишь, что вокруг белым бело.

И белизна эта ослепляет.

Правда, когда слепота проходит, появляются краски — алые капли рябины и алые же грудки снегирей, которые слетаются со всей округи, зелень елей и рыжие лисьи хвосты, огонь и сажка. Люди... местные украшают одежду бисером, алым и желтым, и еще зеленым, но он почему-то особенно дорог, дороже всех других цветов.

Если говорить, рассказывать, то можно не думать о плохом.

И не смотреть.

Хотя не смотреть не получалось. Вот откинулся в сторону лоскут кожи, обнажая мясо и белую какую-то кость, в которой Одовецкая ковырялась тонюсенькими щипчиками. При этом лицо ее было мрачно, сосредоточенно. Она закусила губу и...

Белые ночи догорали к середине зимы, сменяясь вдруг непроглядною темнотой. Ее не способны были разогнать ни костры, ни огни в смотровых башнях. Зато эту темноту любили волки. Они сбивались в стаи, а стаи подходили к человеческому жилью. И местные развешивали на дверях белесые черепа, расписанные тайными знаками.

Князь дернулся.

И затих.

И...

— Дыши, — велела Одовецкая, и голос ее был строг, сух. Лизавета сама задышала, быстро и ровно, и почти отпустила его. — Дыши, чтоб тебя!

Узкие ладони легли на грудь, и показалось, — вот-вот проломают.

— Я...

Сила заклубилась.

Чистая.

Ясная.

Как вода в ключах. Они открывались по весне, проламывая остатки ледяной шубы. И тогда в полыньях прорастали первоцветы. Тонкие стебелечки, лиловые цветы. Запах весны. Весной нельзя умирать. Летом, впрочем, тоже... нельзя умирать.

Просто нельзя.

Умирать.

В груди жгло, но это не слезы. С чего бы Лизавете плакать над чужим по сути своей человеком? Она просто... просто несправедливо.

А крылья задрожали.

— Хорошо думаешь, — сказала Снежка.

Снег.

Метель.

Лизавете случилось попасть однажды. Вьюжит-кружит, того и гляди заведет, не найдешь ни конца, ни края... Она и не ищет, она просто зовет. Матушка колыбельные пела... Лизавета помнит. Дом. И свечу под стеклянным колпаком. Почему-то там только свечи и приживались. Их держали в старой шляпной коробке, перевязывая ленточками. И Лизавете позволялось самой доставать и закреплять на стареньком канделябре. Она же и нагар снимала особыми щипчиками.

Колыбельная.

Ветер воет, а отец где-то там, в белом этом крошечке, которое липнет к окнам, норовит заглянуть в дом. Буре тоже охота согреться.

Отец не идет.

Надо ждать... надо слушать... сестры не спят. Ульянка на лавку залезла и ноет, то ли зубы у нее режутся, то ли просто чувствует сердцем неладное, и Лизавета обнимает ее, накидывает меховое одеяло. Вдвоем не так страшно.

— Волки воют?

— Нет, милая, не волки... просто ветер... сама подумай, какой порядочный волк в такую непогоду нос из лесу высунет? — голос мамы весел, но веселье это притворное, и Ульянка всхлипывает, а Лизавета сует ей в руку горбушку хлеба. Это Ульянку утешает надежнее слов.

Ветер, ветер...

Огни на сторожевых башнях горят ярко, за этим следят, однако попробуй разгляди их в снеговерти.

Нынешний снег горячий, что слезы.

Он ложится на щеки и тает, отчего становится невыносимо жарко. И нет, Лизавета не плачет. Не будет она плакать... Не будет, и все тут. На папенькиных похоронах отрыдалась, а...

— А что вы тут делаете? — сипло поинтересовался князь, глаза открывши.

И исчезла метель.

Сгинула, будто ее и не было, только еще дрожали, не спеша исчезать, гнутые лебяжьи крылья. И вспомнилось вдруг, что в Арсийской империи охота на лебедей запрещена...

Это правильно.

Примечания

Коллежский асессор — с 1717 по 1917 г. гражданский чин в Русском царстве и в Российской империи, соответствовавший с 24 января 1722 г. 8-му классу Табели о рангах, также давал право на личное дворянство и неплохие перспективы для карьеры. — *Здесь и далее прим. авт.*

Низшая категория проституток, имевших вместо паспорта санитарный билет, в котором проставлялись отметки о посещении врача.

Несмотря на то что в царской России проституция была легализована и курировалась несколькими ведомствами, существовал довольно жесткий возрастной ценз.

По сути, личная охрана государя и государыни. В их обязанности входила круглосуточная охрана императрицы, сопровождение ее во время пеших прогулок, вояжей и выездов.

Санитарный билет получали проститутки, он служил им и удостоверением личности, и санитарной книжкой, в которой должны были проставляться отметки о посещении врача. Получить паспорт обратно на руки было практически невозможно.

Придворная дама, которой позволялось носить на груди портрет императрицы как знак принадлежности к ее двору.